

АЛЕКСАНДР
РОМАНОВ





АЛЕКСАНДР
РОМАНОВ

И
СКРЫ
ПАМЯТИ

ВОЛОГДА
1995

Художник Э. В. Фролов
Редактор В. В. Коротаев

Издательская фирма «Вестник» благодарит Администрацию Вологодской области и Комитет по культуре, искусству и печати за финансирование настоящего издания.



ДИОНИСИЙ В ФЕРАПОНТОВЕ

БЕЗЛЮБИЕ

Лермонтов и мы

«В МИНУТЕ ГРОЗЫ — НА СТОЛЕТЬЕ БЕДЫ...»

Алексей Ганин и его лучшее творение «Былинное поле»

«К ТЕБЕ ПРИШЕЛ Я, КРАЙ РОДИМЫЙ...»

АЛЕКСАНДР ЯШИН В НАШИХ СУДЬБАХ

ДУМА О СЕРГЕЕ ОРЛОВЕ

ВДОВИЙ ПОКЛОН

ОТКРОВЕНИЯ ФЕДОРА АБРАМОВА

«ЖУРАВЛИ, ЗАСТИГНУТЫЕ ВЬЮГОЙ»

Неизвестное стихотворение Николая Клюева

ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ РУБЦОВЫМ

ДУМА ОБ УХСАЕ

И СВЕТ ЖИВОТВОРИЛИ!..

Наставник юношества Н. И. Янусов

ПУТЕМ ЦАРЯ БЕРЕНДЕЯ

Мастер сцены Л. С. Державин

СВЕТ — СЛЕВА, А ЖИЗНЬ — СПРАВА...

ДИОНИСИЙ В ФЕРАПОНТОВЕ

*«...И написаша чудно вельми»
(глас летописи XV века)*

Дионисий! Уже более двадцати поколений русских людей прошло-про-текло в тихой радости его икон и фресок. Благочестие обретало в них силу подвига, невежество отрешалось от смятения духа, а безверие задумывалось, изумленное красотой христианской веры. И по сию пору в имени и творениях Дионисия светится эта чарующая неотразимость. Синодики не упоминают ни года, ни места его рождения и кончины, словно бы даруя ему изначальную вечность. Лишь древние летописи, да редкие иконы, да еще стены собора Рождества Богородицы в Ферапонтове, чудом уцелевшие от гибели в большевистское безвременье, хранят деяния великого художника. Да в Кирилло-Белозерском художественном заповеднике есть еще туманный синодик, из которого ясно лишь одно, что Дионисий был знатного происхождения.

У каждого человека, радеющего за Россию, своя встреча с Дионисием. Каждый волен представить и понять его по-своему. Я же впервые пришел в Ферапонтово ранней весной лет тридцать назад, и храм открыл мне тяжелым амбарным ключом инвалид Отечественной войны Валентин Иванович Вьюшин. Надо поклониться памяти этого сурового подвижника, жившего на нищенской зарплате, но спасшего храм от окончательного разора. В его смуглой худобе, в огненности темного взора, в стуке деревянной ноги по камням монастырского двора — во всем непреклонном облике Вьюшина просквозили для меня благородные мужицкие черты из времен Дионисиевых. И он открыл туда тяжелые врата.

Лишь ступил я под своды, как храм объял меня со всех сторон такими живыми взорами, что я смутился от прямоты и близости их. И дивным показалось, что и опустошенный храм не был пуст: в нем длилось безмолвное таинство и моление скорбящего Духа. Вглядываясь в лики святых, я присмирившей душой осознавал,

что вот и я, пришелец из безбожного мира, не чужд им, и на меня нисходит их тихое благословение. И было необъяснимо радостно оттого, что в холодном этом храме от Дионисиевых росписей исходили золотистые веяния, ощущаемые мною как прикосновение тепла. Откуда же бралось это тепло, если стены — лишь тронь — были так студены? Но эти чуть уловимые токи, возникавшие словно бы от незримых крыл, и впрямь касались моих надбровий, когда я вглядывался в проливной свет летевших надо мной ликов.

Я вскинул взгляд в надвратное пространство алтаря и замер на месте от пронзившего меня взора Богородицы. Огромные глаза, таившие счастье и муку материнства, казалось, вопрошали с высоты, понимаю ли я жертвенную благодать жизни? И неотступно ширясь передо мной и во мне, эти глаза видели всю мою потайную сущность, и я, может, впервые так тревожно оцепенел стоя перед неотвратимым ясновидением. Право же, в тот миг я вовсе позабыл, что это — всего лишь огромная фреска, творение рук человеческих, а не разверстые божественной силой небеса.

И белые блики, все более и более сиявшие из глубины темных зрачков, и задумчивая молитвенность лица, обрамленного лиловым хитомом и склоненного с живым участием ко мне, как и к любому, входящему в храм — вся озаренность Богоматери с младенцем Иисусом на руках была прямо-таки пронизана каким-то таинственным магнетизмом, который я ощущал как теплые круги восходившей во мне радости. И давнее, первоначальное это видение Богоматери потом уже постоянно всплывало во мне в минуты горьких житейских неурядиц. И много раз возвращался я в Ферапонтово, чтобы прикоснуться к этой живописной тайне Дионисия.

Подобное же впечатление живой яви исходило на меня и от образа Николая Чудотворца. Я с детства помнил его, старичка с белой бородкой, затрапезно жившего у нас в кухонном уголку, на тусклой иконке. А здесь, в храме, он возник в золотистом нимбе и глянул в меня оберегающе, и повеяло в душу покоем, а белизна седины его коснулась ресниц моих ласковой святостью. И сразу вспомнилось мне свое детство, и увидел я там, как дед с бабушкой жарко крестятся перед кухонной иконкой и просят заступничества у него, святого Николая-угодника.

Моление на Руси — очистительное таинство человеческого духа. Оно не только испрошение помощи у Бога, покаяние перед ним или благодарение его, а первой всего соби́рание в себе личных сил, всей мого́ты своей перед трудным делом или опасной дорогой. Это и светлое напряжение собственного ума-разума, и беспощадное осуждение в себе дурных слабостей, и жаркое — в слезах — поименное поминание умерших или убиенных на войнах родных чуть ли не до третьего колена. Да, моление на Руси — это выявление в себе духовной жизнестойкости. Но народ наш не так-то прост, не зря же изрек: «На бога наде́йся, да сам не плошай». Однако, народом же и замечено, что даже самое тяжкое усилие все же легче дается верующему человеку, ибо оно, сопряженное с молитвой, вдвойне и жарче, и плодотворней в своем свершении, нежели то же самое усилие для человека сугубо высокомерного, с выстуженным сознанием атеиста. Ведь атеизм — это наукообразный гололёд: редкие безумцы проходят по нему, не заморозив души или не свихнув головы. Но атеизм еще и злобный оборотень: сживая со света православную религию, сам же и утверждает на место ее как религия уже политических догм, а может, и ересей, сродственных с теми, какие яростно внедряла на Руси в XV веке тайная община еретиков во главе с неким Сахари́ем.

И Диониси́ю в ту пору была, конечно, ведома их пагуба, творимая в кругах Московского и Новгородского духовенства, их соблазны и искушения телесностью, питием и златорадением при дворе царя Ивана III Великого и среди полоротых мирян. И не оттого ли он, Дионисий, самый именитый на Руси изограф, по первому же зову бывшего ростовского архиепископа Иосафа кинулся из развращенной Москвы в далекую и безвестную Ферапонтову обитель, чтобы изукрасить в ней «чудно вельми» собор Рождества Богородицы. И укрепить душу и волю свою сокровенной близостью с теми старцами Кирилло-Белозерского монастыря, которые призывали мирян и братию к нравственному самоусовершенствованию и указывали им путь к нестяжательству и духовному самоочищению «через умное и сердечное делание».

Среди них мудрейшим был Нил Сорский. Он втап-кивал в пошатнувшиеся от ересей умы, что «съсуди злати и сребрени и самые священные не подобает имети

для алчбы, тако же и прочая украшения излишня». И ушел, непримиримый, из обогащавшегося землями и золотом монастыря, чтобы со своими единоверцами Гурием Тушиным и Вассианом Патрикеевым обустроить в двадцати верстах от Ферапонтовской обители на речке Соре свои «нестяжательские» скиты. Нил Сорский был терпеливым наставником людей в их слабостях и скорбях мирских. Он не видел греха в том, что если человеку не по силам указанный путь, то надо, как он советовал, «преложить помыслы на иную некую вещь Божественную или человеческую» и заключил: «но горе нам, яко не познаем душ наших, ни уразумеем, в кое жительство звани быхом...»

Каким суровым упреком нам, и впрямь не разумеющим, «в какое жительство мы званы были», доносится из XV века голос, увы, незнаемого нами по невежеству своему великого соотечественника. И неведомо нам, что когда-то на Руси жизнь людскую утверждали «через умное и сердечное делание». И не расписывали ее по пятилеткам, а вседневно и всеучастливо вкладывали свои труды в неделимость времен и в будущее шли, как в подвиг. Вот Нил Сорский. Вот Дионисий... А мы-то, нынешние, до того испоганились, измельчали, предали свое великое прошлое, что ни о каком духовном самоусовершенствовании и думать не желаем. Лишь по рабской привычке опять надеемся, что жизнь на Руси наладится кем-то и без нашего «умного и сердечного делания»...

Вот пишу это и, право же, чувствую на себе чей-то пристально укоризненный взгляд, наплывающий издалека, из-за вологодских лесов, может, из времен Дионисьевых. И силюсь уловить и понять его, но исстает он, чтобы возникнуть заново с еще большей тревогой. Уж не зов ли это в дорогу? Туда, опять туда, где Дионисий «со чадами», сыновьями Феодосием и Владимиром с 6 августа по 8 сентября 1502 года свершал главный свой подвиг — великопразднично расписал новый храм Рождества Богородицы. Он так озарил его своей кистью, привнес под каменные своды столько мягкого света, нежной лазури, ангельского простора, что новый храм в Ферапонтовской обители предстал перед прихожанами и монастырской братией воистину Собором Великого Материнства. И это деяние исполнено было за дивно короткий срок — всего за 34 вдохновенных дня. Вот взлет гения!

И бродим мы здесь с художником Евгением Соколовым. Он здесь давножитель. В деревеньке Леушкино на Цыпиной горе гостеприимно гнездится в яблоневом саду дом его крепкий, старопрежний, а в доме холсты с зорями и закатами, с куполами и озерами Ферапонтовской Руси. Он, кажется, первый из вологодских художников дерзнул испробовать Дионисиев опыт: писать местными красками. В его мастерской собрано тысячи камушек — и всяк со своим тоном и вызовом. Растирай да пробуй! Но дело это трудное, дается не всякому. Евгений Соколов сумел его понять, освоить, и потому так свежо запечатлел на своих полотнах «Прощальная пора», «Бородаевское озеро», «Ферапонтово», «Ольгина роща» очарование тишиной и задумчивостью о минувшей жизни.

Николай Рубцов, любивший гостить у художников на Цыпиной горе, зримо и тонко выразил это духовное состояние природы.

*В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте...*

Цыпина гора, исхоженная в XV веке великим Дионисием — ныне задушевное пристанище вологодских художников, их потайной Олимп, скрытый в лесах от черного сглаза. Там на самом солнечном взъеме, в деревеньке Гора, у столетнего дуба, рассеченного молнией, но воспрявшего уже двумя стволами ввысь, притих дом другого художника — Владислава Сергеева. Он известен как тончайший график, заставляющий всякую свою линию светиться и петь. Его знаменитые листы «Воспоминание о Ферапонтове», «Озеро», «На качелях» овеяны летучей красотой и неизъяснимым трепетом русской жизни. Право же, в них что-то от фресок Дионисия — вот эта округлость и стремительность линий, таящая в себе энергию чуда...

Но чу! Из-за Ильинского озера, из-за Бородаевского, с Ферапонтова холма плывет по всей округе колокольный звон. Люди выбегают из домов и затихают в радостном изумлении. Леса, поля, холмы древние и воды тростниковые — вся земля окрест внимает этому торжественному благовесту, случившемуся впервые за последние глухих полвека. И мы торопимся туда, в Ферапонтово.

И узнаем, что на звоннице Собора Богоматери установлены колокола, отлитые в Воронеже кооперативом, и завершены приготовления к пуску старинных церковных часов, изготовленных русскими кузнецами в 1635 году. Они старше Кремлевских курантов и древнее их в России ныне уже нет. Восстановил же их талантливый инженер из института ядерной физики Юрий Петрович Платонов. Приехал он однажды в Ферапонтово, увидел на часовне полюбившегося ему Дионисьева Собора разбитые древние часы и загорелся упорством восстановить их. И восстановил, и связал их механизм с колоколами — и все это сделал совестливо и бескорыстно. Вот оно, «умное и сердечное делание»!

Звон новых колоколов и ход старинных часов — это ли не радость Ферапонтова! Но она горько омрачена нравственной глухотой властей, отказавшим наотрез здешней общине верующих молиться хоть в какой-нибудь из четырех ферапонтовских церквей. Будто монастырь этот строился и созидался на протяжении веков не для духовных служб и нравственного оздоровления народа, а лишь для музейного поглядения. И любые резоны в защиту «чистой» культуры и отчуждения верующих от этого искони церковского места святотатственны и противонародны.

Вот тут, пожалуй, и задумаешься о том, что Дионисий — великий художник не столько нашего прошлого, сколько нашего будущего, ибо его божественная светочность может оказаться необходимей, чем прежде, в предстоящие годы для одичавшего в безверии и погибающего в нравственных язвах русского народа.

БЕЗЛЮБИЕ

Лермонтов и мы

*Люблю Отчизну я, но странною любовью.
Не победит ее рассудок мой...*

Э то признание вырвалось из мятежной души Лермонтова, когда он ехал в ямщицкой коляске день, второй, третий, а Русь все наплывала в его зоркие прищур, тревожила думы, навевала ему исповедальные строки. И он вышептывал их.

*Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...*

Поэт называет свою любовь к родине странной. А чем она странная? Да тем, что «не победит ее рассудок»... Даже могучий ум Лермонтова споткнулся о тайну горького очарования Родиной. Ясно было одно, что уму не все подвластно в мире, что есть в человеке и более вещая сила — это его душа.

Спустя двадцать пять лет, в 1866 году, эта истина проросла в строках уже другого нашего гения — Тютчева:

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.*

Верить! Значит, любить, ибо никакая вера на свете долго не стоит и не держится без любви. Если бы люди не полюбили Христа, то и христианская вера не ширилась бы по Вселенной столь непобедимо! Это вам не марксизм-ленинизм...

А мы, сегодняшние люди, любим ли мы свою Россию? Каждый ли из нас, не колеблясь, сможет повторить вслед за великим поэтом «Люблю Отчизну я»? Сможет ли сказать это не принародно, не бия в грудь, а самому себе тихо и по всей правде? Вот то-то и оно...

Если любили бы мы Россию — нашу землю, культуру, историческую память, — то берегли бы ее, а значит, дорожили бы и своим национальным достоинством.

И ничье словоблудие не пошатнуло бы нас в своих убеждениях. С первых же слов мы различали бы, кто перед нами: наглые фарисеи-лжецы или бесстрашные праведники?.. А мы зачастую только уши вострим да рты палим то на тех, то на этих и не видим, не осознаем, что Россия вновь продается, разворовывается и унижается прямо на наших глазах.

Отчего же в нас такая «куриная слепота»? А она — от тоски и от злобы. То есть от собственного безлюбия. Ведь безлюбие — не только усталое равнодушие, а еще и кичливая самоустраненность от насущной жизни. Безлюбие — это замыкание себя на ненависть. Вот это и есть въяви то классовое озверение, которое более семидесяти лет вбивалось в нас, лишенных национального и религиозного самосознания. Вот это и есть въяви возможное отмщение за такую долгую антинародную, антирусскую политику.

Большевики, презиравшие Россию, столкнули ее после 1917 года в бездну двоемыслия и двуличия: кого в горе по великому прошлому, кого в обман о кумачовом будущем. А настоящее время изъяли из личных жизней и разбили на производственные пятилетки. И стало принадлежать оно только Политике. Для отдельного же человека это текущее, то есть самое сущее для него время бесследно исчезало в многомиллионной повторяемости и одинаковости таких же рабских судеб.

И людей постепенно охватывало страшное наваждение — безлюбие. Стало нелюбо и отвратно многое в жизни: и семейное терпение, и упорное трудолюбие, и мужественное служение истине. И растеряли мы исторические заслуги предков, и распнули свои родословия, потому что ослепли от марксистского обмана и наущения. Где памятники былой русской славы и красоты? Где священные места национальной гордости и скорби? Они взорваны и залиты асфальтом!.. Ибо в безлюбии мы готовы отречься уже сами от себя.

Безлюбие — это нравственное и духовное опустошение личности и всего народа, то есть утрата патриотизма. Откроем на минуту словарь и задумаемся в объяснения.

Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (1882 г.): «Патриотизм — любовь к Отчизне; патриот — ревнитель о благе Отечества».

Не случайно сегодняшние демократы, близкие к космополитизму, так быстро и ловко сменили вылинявшую вывеску «социалистического интернационализма» на новую всемирность, которая якобы уже вне партийности,— на мондеализм («Ле Монде» — фр.— «весь мир»). Мондеализм отрицает историческую и культурную самобытность наций и народов и подминает их под власть мирового капитала.

И наши демократы суют всякому, кто проговорится о любви к своей родине, ссылку на Льва Толстого, который отрицал патриотизм и считал его рабством. А вот Гоголь и Достоевский утверждали обратное. Что ж, и между гениями, случалось, змеились расхождения.

Каждый волен в своем выборе. Но можно ли теперь, когда «великая перестройка», как великая бедность и беда, накатывается на большинство народа, разве можно теперь оставаться равнодушным к судьбе нашей многострадальной России? Или мы уже свыклись со смирением да с нуждой, страшимся повыше приподнять свои горемычные головы да пошире оглядеться, что же происходит в мире и кто же топчется вокруг нас? Разве не видно, что нас нагло заталкивают на обочину мирового развития.

Да, безлюбие наше — это полная утрата нами духовной зоркости. И своего обережения, своей наследуемой государственной ответственности перед внуками и правнуками. Как ни странно покажется, безлюбие — это вовсе не отрицание любви к чему-то, а перевернутая подмена ее сущности самыми разными и затаенными страстями. Некоторые люди даже и не замечают такой происходящей в них подмены. Им кажется, что они действительно любят Россию, а на самом деле любят лишь свою тоску, свою боль о ней. Им даже нравится, что Россия, словно град Китеж, скрылась от вражеского бесовства в озерах нашей памяти и мерцает оттуда былой красотой, сладко бередя обессиленные души. Такое созерцание родины, конечно, трогательно, да только бездейтельно.

Есть много людей, которые — наоборот — ломают свою работу из всех сил, чтобы прокормить семью и удержаться на плаву бешено вздорожавшей жизни. Они не думают о России (некогда, не до того!) — они заняты своим делом. В простоте душевной полагают, что

думать о России должны не они, а высокие начальники, ну, еще и поэты-патриоты. Мол, им виднее, «куда идет Россия, что сделать ей дано». Упрекать людей за такую самоотстраненность бесполезно: для них Россия — не икона в углу, не карта на стене, а зажиток в доме, в гараже, на сберкнижке.

И все бы, ладно, да жаль, что из таких трудолюбивых и сметливых людей почему-то не выявляются деятели общероссийского размаха. Где же молодые отечественные умы, талантливые предприниматели и верные заступники России? Иль так и будут наши богатства течь золотом на чужие счета в мировые банки?

Ведь многие любят вовсе не Россию, а лишь свою корысть в ней. Лишь свою выгоду на нашей дурацкой простоте. Эти лицедеи красно говорят, да черно думают о стране, ставшей волей судьбы для них родиной. Такие видят лишь самих себя в России, а не Ее насущные нужды.

Немало и таких «доброхотов», кои свою утробную ненависть к России лелеют, как сладострастие. Это единственный источник их разрушительных вожделений. Отними у таких Россию — и угаснет их сатанинская энергия, сморщатся они, завянут в своей заурядности. Их ненависть к России — это их стратегическая любовь к своему самоутверждению в мире. Такие пуще всего страшатся патриотов, готовых положить свои жизни за возрождение самобытной и сильной России.

Я уж не говорю о тех, кто верность родине, давшей им жизнь, считает атавизмом, то есть уродством. По ним — жить следует лишь там, где сытно и весело. И никакие родины не нужны, и весь мир — скотский загон, а они в нем — пастухи... И горько сознавать, что множится-таки число недоумков, охотно внимающих этим хриstopродавцам и желающих кинуться в мир, чтобы бесследно раствориться в нем, как растворяются в горе напрасные материнские слезы. И каково ныне матерям рожать, знающим, что дети их могут очутиться вот так без роду-племени, без земли отеческой, без памяти многовековой?..

Вот какие последствия таит наше нынешнее безлюбие к России. Если что нас и погубит, так именно оно — это коммунистическое проклятие двадцатого века. Я еще раз повторю: безлюбие — это замыкание себя на ненависть, на безбожие, на полную личностную саморас-

трату. Если хотим выжить как народ, надо каждому взглянуть вглубь самого себя, пробудить совесть, честь и тревогу. И, наконец, понять, что любовь к родине — это отзывчивость твоей души и зоркость твоего разума. И дело! Каждодневное дело! Лишь оно, практическое дело, поможет нам почувствовать всю благодать любви к родине, к Жизни, к Богу. И укрепить на трудных путях в наше будущее.

...А Лермонтов все едет и едет по России. Видны ему уже отроги Кавказа. Уже слышна оттуда, как и полтора века назад, братоубийственная стрельба. И поэт, мрачней лицом, оглядывается назад, туда, где остается его родина, где «дрожашие огни печальных деревень». И записывает в путевую тетрадку сокровенные строки о своей верности России.

*Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.*

«В МИНУТЕ ГРОЗЫ — НА СТОЛЕТЬЕ БЕДЫ...»

Поэт Алексей Ганин
и его лучшее творение
«Былинное поле»

Эта поэма вскипела первыми строками, словно горячими бороздами, в 1917 году, когда по мятежной Руси прокатился наконец-то Декрет: «Земля — крестьянам!».

Алексей Ганин в ту пору только что вернулся из-под Питера, из прифронтового лазарета, в родное Присухонье. Он вздохнул дышал суровой мужицкой волей. И небывалые события, казалось, уже невозможно было выразить речью обыденной, что дедовская стружка — она хоть и запашиста, а выше верстака не вьется. Требовалась речь прямо-таки поднебесная, озвученная эхом древнеславянских времен, когда Микула Селянинович впервые расчищал нашу землю своей богатырской сошкой. Вот так высоко Алексей Ганин ухватился за Декрет о земле! И в огромное поле своей поэзии гулко вывел внука Микулова для великого праздника — для свободного хлебопашества.

...А в думе у парня:

*«Вспахать бы все поле,
Вспахать бы все горы,
Доехать до края земли,
Где синие рощи в туман прилегли,
Где вольная воля
И Лады кольцо золотое...»*

Это вековая дума не одного Микулова внука, а и самой Земли, уставшей от людских междоусобиц. Именно поэтому «Былинное поле» так широко распахнуто в космос, так яростно гудит противоборством вселенских сил добра и зла. Но Алексей Ганин, в отличие от пролетарских поэтов двадцатых годов, вздымавших молоты и маузеры до звезд, свой космизм «выпахал» в поле русской мифологии, в том поле народных верований, по которому впереди него шли Сергей Есенин, Николай Клюев и Сергей Клычков.

не сундуки с золотом, а именно земля — для просторного труда, а небо — для высокого благовеста.

*...Кипит говорливая пахота
Не от той ли силы немеренной,
Что оставили деды на пахоте
До поры, до урочного времени...*

И продлись такое обнимание с землей, Россия, нищая от войн и революций, скоро обрела бы спасительный взъем жизни. Но вот тут-то на мужицкую волю и навалилась тайная воля тех, кто думал о России всего лишь как о запале для мировой революции.

Мужики еще не видят, не чувят, что над мокрыми их вихрами уже запokaчивались тучи ненависти.

*...Набежали из-за моря черные,
Завелъ хороводы по заполю,
Карманы с громами повыворотили,
Нависли над селами — тяжельше гор,
Гаркнули голосом во все стороны:
— Гей вы, други-вихори,
ветры буйные,
С каких это пор
Лапотники тучам не молятся?
Али каждый лапотъ боярином стал?
Али пых из вас, выхори, выдохся?
Вскиньте поле, как скатерть немытую
Мужицье тут и само рассыплется,
Будто крохи от хлеба вчерашнего...*

Вот она, мстительная директива на погромы крестьянства! «Былинное поле» Алексея Ганина — трагическое прозрение великого обмана. Поэт недолго радовался Декрету о земле: тяжкие стоны присухонских деревень, обложенных непосильной продразверсткой, и волчьи налеты на них продотрядов вологодского губернского комиссара Элиавы, этих баскаков нового ига, — все то, происходившее на глазах поэта, настолько обострило его видение, что за разорением крестьянства открывалась ему и более глубокая подноготная: лишение русского народа национальной самобытности и будущности. Именно ради этой давно вожаделенной цели сперва была пущена в ход теоретическая мысль об извечной мелкобуржуазности крестьянства, а затем спущена и директива о физическом уничтожении под видом «кулачества» его самых лучших, самых производительных слоев. Ни одно государство в мире

при любых превратностях судьбы не уничтожало своего кормильца — крестьянство. Это сделано лишь в России для ее самоуничтожения. Но многие люди и поныне не догадываются об этом — вот насколько мы отупели умом и оскудели предчувствием, что даже вблизи не различаем того, что Алексей Ганин видел и понимал уже в 1917—1923 годах.

Но ведь не зря говорят, глупые в работе трижды святы. Еще не ведают мужики, что Декрет — обман, что власть пролетарская — гибель крестьянская, еще горят их руки от сошек, однако вокруг уже что-то переменялось.

*Поле древнее вдруг призадумалось,
По буграм, по морщинистой пахоте
Прокатились, под горками замерли
Думы грустные — тени широкие.*

Какой всеохватный образ! Это уже озноб беды. Уже рывок к схватке. И пахари дерзко отвечают тучам: уж не захмелели ли они от кровавой испарины, уж не от пота ли мужичьего их распучило? Ох, русые головы, еще верят, что вот-вот встретят свою надежду — Ладу-Зарю. И исполнится их мечтание о счастье.

Вот еще когда — с самых первых лет революции — огромная страна, в основном деревенская, уже была опалена скрытой ненавистью к ее верованиям и ее народу. Так и не дали народу прийти к «трудолюбному завтрию», так и не сумели мы по сию пору наладить жизнь, «чтобы наши дороги не хлябали». Удивительно: каким предчувствием будущего обладал молодой поэт Алексей Ганин!

Так и не смогли пахари устоять на своей просто-душной правде: тучи «выпили свет», заслонили им солнышко. Но страшней всего то, что тучи заточили их мечтание о счастье — Ладу-Зарю — в темную клетку (догадывайся: в тюремную!), а вокруг нее поставили черных свих да глазастых сов.

И небо поэмы озаряется воображаемой сказкой: вот Месяц на серебряном лосе, вот тучи — свахи с кринками золота и терем ночи, в котором Лада-Заря прядет взаперти лучистый лен и тоскует о своем суженом. А вот и сам правнук Микулы летит на своем Сивке-Бурке к Солнцу-прадеду на поклон, чтобы вызволить Ладу-Зарю из полона. И песня его о сварбе, как о всеземельном празднике, раскатится в небе поэмы:

...Сварбу мы справили у синего бора,
Косы твои — золотые озера
Я — а не ветер — тебе заплету,
Дал: тебе ленты — межи в цвету.
Дам тебе реки — звенящий бурнус,
Чтоб в красном веселье
воспрянула Русь...

И вдруг — обрыв всему: и песне Микулыча, и сказке неба! Разверзлась пропасть обмана, и ухнула в нее крестьянская вера. Злодейство выползло поперек всех мужицких надежд. Россия почернела.

*...Ой, да не тучи, только тучами
Нечисть хапучая прикинулась,
К древнему полю надвинулась...
Теснится с востока,
 теснится с заката,
За правнуком Микулы гоняется,
Огненные плечи раскидывает...*

Страшен образ врага, явленный Алексеем Ганиным! Поэт разглядел еще в зародыше то, чего не сумели понять многие и по сию пору. Зоркость прямо-таки провидческая, а мужество — отчаянное!

...Тут разбойные вихри присвистнули
 Кинулись к пахарям в запыхе злом:
 — Гей, сиволапые, шапки долой!
 Кинулись к Микулычу:
 — Гей, берегись!
 Много задумал — не рано ли?
 Кости да погосты — приданое
 Будет тебе с этими харями...

Вот вам, мужики, и Декрет о земле... Кладбищенской! Поэма раскаляется от черных сил. Подзуживается ими, выползла и вся нежить лесная, рогатая, подводная, болотная, сухорукая, что от века завистью давилась, а теперь эта неработь красной морокой заплавала.

А вот и второй секрет, как овладеть крестьянской силой: сперва потрафить простодушью и думе о мирском счастье, а потом скрутить в бараний рог. Даже по прошествии более шестидесяти лет, как написана поэма, даже при нашей уже затяжной бесчувственности и поныне стужей чудовишной демагогии дует от такого Декрета.

*...В думах мужичьих просторно,
как в поле:
Гуляй, кому надо, что хочешь топчи,
Только про счастье мужичье шепчи
Да жалобней вякай про горькую долю,
Будут покорны тогда силачи.
Красные речи замажутся сажей,
Сами друг другу могилу укажут,
Сами себе панихиду споют...*

Вообще, даже безотносительно к ганинской поэме, лишь поглубже задумаешься о доле нашего крестьянства, то, ей-богу, можешь свихнуться от сатанинской толчеи и несуразности, при которых в страшном притеснении и разграблении пребывала у нас именно эта сила, кормящая державу. За какой аграрный факт ни ухватись — всякий шетинится против крестьянства! И Декрет о земле всего через год уже заменился декретом о ее социализации.

Голая политика так ознобила нашу жизнь, что не только закоченела вся мудрость хозяйствования, но и Россия уже перестала существовать как государство. И нас называют всего лишь русским населением, а не народом.

Алексей Ганин и раскрыл в своем «Былинном поле» именно эту зловещую «премудрость» раскрестьянивания. Вот и затянули мужиков в хомуты красных речей. И погасили в них думы о сварбе великой Микулича с Ладой-Зарей, как пустую сказку. В том и состоит третий секрет такой политики.

*Думы погаснут — бессилен Микулич,
Ладу забудут — погибнет и конь.*

А в покорности дальше своего шага не видно:

*...Загукал пенек о пенек:
«Эй, паренек,
Кумачовый умок,
Где ж твоя Лада,
Ситцы и сахар?»
Сами без хлеба, сохи скрипят,
Потом промокло все поле —
Вот вам и красная воля!..*

Безбоязненность поэта поразительна. Предчувствие борьбы безошибочно. Поэтому и вспыхивает в поэме, как афоризм, пророческое двустиише:

*Грозу да напасть
не столетьем считать,
Да в минуте грозы —
на столетье беды.*

Искрами сыплются эти слова в прожитые нами годовщины. Да, уж к веку подбивает, как борозды наши ползут вкривь да вкось, как спутался с толку народ, как злобой да ленью загажено Древнее поле.

...Да, скоро запрягали, да не туда правили! Теперь-то это хорошо видно, но как из 1923 года еще не сбывшееся можно было увидеть? И не ошибиться в предсказаниях? И не утрашиться за себя от такой отваги? Вот что значительно для нас в поэте Алексее Ганине!

«К ТЕБЕ ПРИШЕЛ Я, КРАЙ РОДИМЫЙ...»

Алексей Ганин! Вот произнес я это имя, и печаль охватила душу: забываем мы его. А ведь к нему в Вологду и в деревню Коншино приезжал Сергей Есенин. Значит, сродственна была рязановскому гению та распахнутая талантливость, та тревога за мужицкую Русь, которая кипела в Алексее Ганине — в истинном поэте и правдолюбце. Уже одного этого свидетельства их дружбы, пожалуй, достаточно, чтобы оглянуться нам на имя и поэзию Алексея Ганина с запоздалым, но гордым уважением.

Ныне его Коншина уже нету. За Соколом, где горюнится купол Архангельской церкви, пасутся в поле лишь две-три черемухи да белая береза, под которой покоится памятный камень с именем Алексея Ганина. Вот все, что осталось от его деревни.

Но тогда, в 1918 году, Коншино крепко держалось за землю. Семья Алексея Степановича и Евлампии Семеновны Ганиных была многодетной и староукладной. И смерть деда Степана — большака их крестьянского рода — не то чтобы потрясла семью, а как бы пролила задумчивый свет в притихшие души.

Чудо поэмы «Памяти деда» именно в утверждении того, что смерть крестьянина — вовсе не кончина, а лишь всепрощающий переход в иное бытие, измеряемое отныне долготой людской памяти и оставленных на земле добрых дел. И тайна этого движения души в «вечное безветрие» передана так тонко, что, читая, замираешь от удивления.

Сквозь голубые глаза
и небу,
и высокому Солнцу,
и каждой былинке,
и птахе
тысячи дней улыбалось Дедово сердце...
А сегодня, на грех, задремал на широкой скамье
под божницей
и чувствует, что все уже проснулось,
а сам приподняться не может...
Хочет глаза распахнуть
и, будто созревшая рожь,
заплелись ресницы.
Вязнет в забвение душа,
как олень златорогий в трясине.
Хочется деду внучонка позвать
и не родится слово...
А день широко разгулялся
под небом глубоким и синим,
и Сивку впрягли уж другие
распахивать вешние новы.
Все на селе, как и прежде,
лишь по-новому гвозди,
чувется, где-то вбивают
и пилят сосновые доски...
Кому-то неладное ладят...
А рядом ворчливые куры кудахчут,
что бабы опять
обокрали все гнезда...
И по-новому Солнышко
сидит у окна
и ласково Дедову бороду гладит.

Как щемяще бережно сказано о тяжело прожитой мужицкой жизни: «у всех на губах красовита!» И какая в поэме густота и ярь красок! Ее любил читать и сам поэт, выступая в Москве вместе с Сергеем Есениным на разных литературных вечерах. Но недолго радовались они своей дружбой. 12 декабря 1923 года в газете «Правда» появилось сообщение.

«СУД НАД ПОЭТАМИ

«В понедельник, 10 декабря, в Доме печати под председательством тов. Новицкого состоялся товарищеский суд по делу четырех поэтов: С. Есенина, П. Орешина, С. Клычкова и Ганина, обвиненных тов. Сосновским в черносотенных и антисемитских выходках.

В составе суда были т. т. Новицкий, Аросев, Керженцев, Нарбут, Касаткин, Иванов-Грамен и Плетнев».

А в начале 1925 года в Москве, в Бутырках, тридцатидвухлетнего Алексея Ганина расстреляли. За что? А за любовь к Родине. Ведь в те годы хлынувшие к власти темные силы лишили Россию даже имени своего — называли просто Республикой. Вот в каком унижении оказалось достоинство русского народа. Мог ли Алексей Ганин вытерпеть такое? Нет! И расстреляли его, без могилы оставили, имя затоптали кровавыми сапогами...

А в конце этого же, 1925 года, в Ленинграде, в гостинице «Англетер», был убит, а затем повешен Сергей Есенин. Позднее расстреляли Николая Клюева, Сергея Клычкова и Петра Орешина. Так сталинско-троцкистские насильники расправились с лучшими поэтами России...

Но истинную Поэзию расстрелять невозможно. И подтверждением тому — поэтическое наследие мучеников большевистской диктатуры. В этом наследии святое место занимает и лучшая поэма Алексея Ганина «Былинное поле».

АЛЕКСАНДР ЯШИН В НАШИХ СУДЬБАХ

НА ЛАВРУШИНСКОМ

Более сорока лет минуло, а я все помню, как в первый раз пришел на квартиру к Александру Яковлевичу Яшину. Рукопись стихов, радовавшая меня в Вологде, в Москве уже казалась слабой. И я мучился, надо ли к нему заходить. Покружась по Лаврушинскому переулку, все же решаюсь подняться к нему на высокий этаж и нажимаю кнопку звонка.

Открывает дверь сам. Высокий, зоркий. И узнает, подает крепкую руку. — «А, земляк! Заходи, заходи!» Я как-то по-глупому извиняюсь за беспокойство, а он, не слушая, тянет меня за собой.

Дело было осенью, прохладным днем. И меня поразило настежь распахнутое окно в его кабинете. Ветер шевелил бумаги на большом столе. Сам Александр Яковлевич — только тут я разглядел — был в шубе и валенках. Заметив мое удивление, сказал: «Люблю так работать, с открытым окном, да и курю много».

За окном, в чистой синеве, золотились купола кремлевских соборов, над ними плыли белые облака. И ветерок восьмого этажа — кто знает — может, напоминал Александру Яковлевичу дыхание осенних Никольских далей. Он накинул на меня теплый халат, а сам в распахнутой шубе по-медвежьи бухнулся в кресло, и в глазах под густыми бровями вспыхнуло пристальное любопытство. И мне стало как-то не по себе. Я смутился, не зная, с чего начать.

Откинувшись в кресле, он закурил и сказал: «Ну, давай рассказывай!..» «О чем рассказывать?..» Молчит, смотрит на меня и ждет. И вот я начинаю говорить о своем отпуске, проведенном в Петряеве, о сенокосе, о хлебоуборке... Но только не о стихах. И с лица его схлынула хитринка любопытства, и осветилось оно хмурой озабоченностью. Тут начались расспросы: какие заработки в нашей деревне (про свое-то Блудново наверняка знал), запасли ли мужики сена для своих коров, чем торгуют в сельповской лавке, каков колхоз-

ный председатель?.. Обо всем этом расспрашивал, думаю, ради того, чтобы понять мое личное отношение к рассказываемому, то есть хотел убедиться, насколько сострадательно вхожу я сам в народную жизнь.

Только после такой исповеди он взял рукопись моих стихов и начал читать с карандашом в руке. Хмуро. Молча... Я затаился в тишине. Не трудно представить, что я испытывал в эти минуты. А потом вдруг спросил: «Ты читаешь матери свои стихи?» Я смущенно признался, что не читаю. Он укоризненно качнул головой: «А надо бы читать — ведь стихи-то о деревне». Помолчал и опять глянул в меня. — «Мать почуяла бы, где сущая правда, а где твое притворство... Надо, Саша, выходить на полную откровенность и с матерями, и с читателями. Вот так, как сейчас я говорю с тобой. Не обижайся!»...

И я — ей Богу — нисколько не пообиделся на такую прямоту Александра Яковлевича. Он тогда отобрал стихи для центральных журналов «Смена» и «Молодой колхозник». И они с добрым напутствием вскоре были опубликованы.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Иногда мне кажется, что Яшин в моей судьбе был изначально. Пусть в ранние годы я ничего не знал, не слышал о нем, а он уже размашисто шагал по той дороге, по которой предстояло лет через двадцать идти и другим деревенским парнишкам. Имя Яшина впервые прилетело в наши деревни с газетой «Красный Север». Это случилось после войны. А потом, будучи в Вологодском педучилище, я купил только что изданную в Москве книгу Александра Яковлевича «Земляки». Сколько родного, тороватого и красноузорного открылось в ней!.. И навсегда запало в душу вот это певучее, свежее, вологодское...

*Что-то есть в тебе очень хорошее,
На цветной сарафан гляжу —
Словно в юности по некошеным,
По заречным лугам хожу...*

А первая встреча с самим поэтом произошла в Вологодском пединституте. Это случилось в 1948 или 1949 году. И мы, студенты, смотрели на знаменитого гостя, затаив дыхание. Да и преподаватели кучно теснились в зале.

Яшин встал перед всеми, высокий, взглядчивый, с лукавым озорством, и позвал к себе в помощь начинающих поэтов-студентов. Потом мы привыкнем к тому, что он в Москве или в Вологде никогда не красовался на литературных вечерах один — всегда тащил за собой кого-нибудь из молодых, подающих надежды земляков. Но тогда нам-то хотелось слушать только его! И что же? Настоял-таки на своем, окружил себя институтскими литкружковцами. Впервые так близко соприкоснулся с ним и я, еле уняв в себе волнение...

Речь его — что раздумье вслух, на миру, а паузы меж слов — что зацепки за умы и души. Он добивался внимания не красноречием, а зоркомыслием. А потом стал читать стихи. Так же просто, как только что размышлял. Среди того, что тогда прочитал, было стихотворение «Конюх». Как услышал, изумился я от своего поэтического совпадения с Яшиным в этой «лошадиной» теме: у меня тоже было стихотворение «Конюх». И когда очередь дошла до меня, я, страшно волнуясь, прочитал своего «Конюха». В зале вспыхнуло веселое оживление, а Александр Яковлевич встал и обнял меня с каким-то, теперь уж не помню, смешным присловием. Можно сказать, именно с этой минуты, когда его «Конюх» встретился с моим «Конюхом», и началась наша задушевная и верная взаимность до конца его дней.

Уехав в Москву, Яшин напечатал в «Известиях» статью (видимо, самую первую и самую значительную тогда в центральной печати) о молодых вологодских поэтах и прозаиках, о больших творческих возможностях всего русского Севера.

А потом, когда у меня еще и первой книги не было, Александр Яковлевич, приехав в Вологду, сказал, что готовится Всесоюзное совещание молодых писателей, и что он постарается провести меня в число его участников. Но для этого нужны крепкие стихи. Я в глубоком смущении показал ему рукопись готовящейся первой книги «Признание друзьям». Он отобрал из нее стихи и увез в Москву. Вскоре они были напечатаны в журналах «Новый мир» и «Молодой колхозник». И мне выписали делегатский билет на Всесоюзное совещание, где

я вблизи увидел и услышал Шолохова, Твардовского, Леонова — да всех самых знаменитых писателей и поэтов нашей страны... Такая яшинская забота — память на всю жизнь!

НА ВЫСШИХ КУРСАХ

Э то было тридцать с лишним лет назад. Ярослав Смеляков открывает в Ярославле съезд молодых поэтов Северо-Запада России. Говорит он кратко, но выразительно. Юмор его беспощаден.

— Вот,— говорит,— из Вологды вчера прибыли настоящие поэты: четверо сами идут, а пятого на руках несут. Вот это дружеская спайка!.. И зал взрывается смехом и аплодисментами, выискивая глазами нашу делегацию. Конечно, Ярослав Васильевич не пожалел нас ради красного словца, но мы не пообиделись. Мы помнили его грандиозные стихи:

*Если я заболею,
К врачам обращаться не стану.
Обращаясь к друзьям
(Не сочтите, что это в бреду):
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Ночную звезду...*

Тогда он прочитал вторую мою книгу стихов «Утренние дороги» и подробно рассуждал о ней на общем заседании съезда. А вечером в гостинице «Медведь» Ярослав Васильевич позвал нас, вологжан, к себе в номер. Располагался он вместе с Николаем Старшиновым — со своим другом и напарником по делам поэзии...

Как много времени уже протекло с той самой первой встречи, а помнится она, как вчерашняя. Склоненное на левую ладонь продолговатое лицо с мудрой зоркостью. И с тем пятнистым загаром, что не сходит годами с лиц людей, прошедших советские лагеря. А Ярослав Смеляков — вот какая чертовщина! — может быть, самый наисоветский из больших русских поэтов — дважды (если не трижды) отбывал каторгу за правду своих слов.

— Вологодские мне очень нравятся! Талантливые, самобытные мужики! Батюшков, Яшин, Орлов...— так он говорил тогда, в ярославской гостинице, и смотрел на нас, сидевших напротив него и Николая Старшина...

И через год я был зачислен на Высшие литературные курсы в Москве, в семинар, в котором руководил он вместе с замечательным критиком Александром Николаевичем Макаровым.

На этих двухгодичных курсах преподавалось много общеобразовательных и специальных дисциплин. Лекции читали именитые ученые Москвы, а слушателями нашего набора в 1960—1962 годах оказались — надо же было случиться такому богатому стечению обстоятельств — Сергей Викулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Борис Можжевель... Ну, и мы, что помладше. Кроме общих занятий, раз в неделю шумно вскипали отдельные — по жанрам — семинары. На них горячо обсуждались наши новые сочинения.

У нас начиналось с того, что мы «по кругу» читали по одному — два новых стихотворения, а Ярослав Васильевич хмуро выслушивал каждого и что-то черкал карандашиком то на сигаретной пачке, то на какой-нибудь бумажной четвертушке. Он был краток в своих суждениях и оценках. И если бы не сидевший с ним рядом критик Александр Николаевич Макаров, обладавший зоркостью увидеть в каждом из нас свою самобытность, пожалуй, и растерялся бы кое-кто перед такой суровостью Смелякова. Он, выслушивая наши стихи, видимо, выжидал таких строк, чтобы изумиться и вскинуть в восторге руку, сжатую в кулак. Но ведь не во всякую же неделю пишутся взрывные стихи!..

Вот читает Владимир Туркин. Он москвич, фронтовик.

В песке лицо...

Лопатка...

Я...

И никого живого кроме.

Но вижу, как на муравья

С виски упала капля крови.

Солдаты мстят. А я — солдат.

И если я до мести дожил,

Мне нужно двигаться.

Я должен!

За мной убитые следят.

И Смеляков вскидывает руку. Тепло, исподлобья, глядит на статного — в сажень ростом — своего семинариста.

— Спасибо за правду! — и поворачивается лицом к нам. — Владимира Павловича надо бы избрать старостой нашей группы. С его высоты широко видно, — улыбается он. И мы охотно соглашаемся с Ярославом Васильевичем — избираем Туркина своим старостой.

Очередь доходит до Новеллы Матвеевой. Она, розовая лицом, вдохновенно читает новое стихотворение.

*Так низко было небо,
Так близко от земли!
Рискуя наколоться
На журавель колодца,
Летели журавли.
Так низко было небо!
Так близко от земли!
Казалось, даже куры
(Не будь такие дуры)
Летать бы в нем могли.
Ты счастлив там, где небо
Касается земли...
Берешь его рукою...
А я хочу такое,
Которое вдали.*

Смеляков вскидывает голову и руку. Он доволен! И мы радуемся, что Новелла Николаевна так сжато и ярко смогла выразить две разные человеческие судьбы. Она уже сидела, склонившись над столом, и слушала наши суждения, и было видно, как под прядами волос, завязанными разноцветными ленточками — голубой и зеленой — настораживались раковинками ее ладони, неплотно прижатые к ушам.

На том семинаре и я прочитал недавно написанное стихотворение «Тетерев». Оно о том, как одинокий человек спас подстреленного кем-то тетерева. Привез на лыжах из леса, и всю зиму жили они, два одиночества, вместе. А по весне отпустил он окрепнувшего тетерева на волю... Это был подлинный случай, услышанный мной в одной дальней деревне... Прочитал я, волнуясь, своего «Тетерева» и увидел вскинутую руку Смелякова...

НЕОСТОРОЖНАЯ «РАЗГАДКА»

Осенью 1961 года, когда мы, слушатели Высших литературных курсов, вновь собрались в Москве, Александр Яшин предложил обсудить на совместном заседании свою новую книгу стихов «Совесть». И раздал в обеих группах по несколько экземпляров. Вернувшись под вечер в общежитие, я закрылся в своей комнате и прильнул к подаренной яшинской книге. Тут и припомнились слова, сказанные Александром Яковлевичем по радио о том, что «хочется, чтобы душа, как и Луна, была увидена со всех сторон...»

Книга «Совесть» меня потрясла. Такой правды и зоркой глубины в современной русской поэзии еще не было.

*Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла...
Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.*

Коварный людской мир, окинутый орлом с предсмертной высоты,— вот трагический образ этой Яшинской книги. В ней гнев на окаян-показуху и призыв к милосердию, угрызения совести и исповедь в любви к Родине. И такой порыв к духовному самоочищению, что многие строки и впрямь воспламенялись в поэтических подтекстах. Это острия правды, спрятанные в строках, что в ножнах. Обнажи их своим умом и поразишься страшным истинам.

Обсуждение Яшинской книги начал Виктор Астафьев. Его страстную похвальную речь, в коей всякое слово увесисто и занозисто, спокойно и мудро уравновесил Евгений Носов. Два Петра — Макаль из Минска и Борисков из Петрозаводска развернулись в размышлениях о природе поэтической правды.

Вслед им и я кинулся в откровенность. Раскрыл книгу и выразительно прочитал вот эти строки:

*...Да, горой встает за обиженных,
Добивается невозможного.
Из какой-то заморской хижины
Вздых дойдет —
Уж она встревожена.
Бескорысть ее широкое
Всеми встречными прославляется;
Выручает чужого, далекого...
И не видит, что тут же, около,
Свой родной человек терзается.
По ночам себя травит махоркою,
От душевных мук не отвяжется...
Может, ей простодушно кажется:
Никакое, мол, горе-горькое
Рядом с нею жить не отважится?..*

— О ком это? — обратился я к затихшим сокурсникам. — Кто же у нас она, такая заботница? Выручает далекого, а не видит ближнего, помогает чужому и забывает о своем, родном?

Мой риторический вопрос повис в напряженной тишине. И пошел я напролом. Может, в отчаяньи.

— Ведь такова наша интернациональная политика. Оглянитесь, как скудно мы живем, но как щедро помогаем пролетариям всех стран...

Человек из парткома подал свой голос: — Эка хватил куда! Из двадцати лирических строчек сделал вселенский вывод...

— А что такого? — приподнял поседевшую голову и с хмурой усмешкой оглядел всех Ярослав Смеляков. — У нас и лирика — что политика. На том стоим...

И я благодарно кивнул Ярославу Васильевичу, оградившему меня от возможных бесед по поводу такой неосторожной «разгадки».

ОЧАРОВАННЫЙ ЯШИН

Однажды Александр Яковлевич приехал проводить нас с Василием Беловым в общежитие Литературного института. Спрашивал, как живется-пишется. Попросил прочитать что-нибудь новое. Я прочитал самое свежее стихотворение «Дождь» о страданиях колхозного председателя.

*...«Ничего,— говорил он льнам,
Ну, а может, себе опять,—
Ничего, приходилось нам
После всяких дождей вставать!»
Темнота и морось кругом...
И машина шла напролом,
Светом фар в полях мельтеша,
Словно там металась огнем
Человеческая душа.*

Я смолк и жду, что скажет. А он привстал и меня обнял. Молча похвалил и Белов. Но поразговаривать нам не пришлось: в коридоре крикнули, что в зале выступает Новелла Матвеева. И мы, конечно, ринулись туда. С Новеллой Матвеевой я учился в одном семинаре на Высших курсах. Но песен ее еще не слышал.

В студенческом зале негде яблоку упасть. Все места заняты. Но, заметив Яшина, устроители концерта притащили стулья и для нас. Мы утеснились и замерли.

Новелла Николаевна стояла с гитарой, ожидая тишины. В лице ее, полном и круглом, в темно-русых завитках, прикрывавших лоб, в глазах, задумчиво-великодушных,— во всем ее скромном облике сквозила самобытность и некая тайна. И вот — тишина. Новелла, сев на стул, склонилась над звуками, и они щемящим ветерком хлынули в зал. И вслед им возник голос, чистый и теплый. Русский голос, полный нерусского простора.

*Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали
хребты туманной сьерры...*

Неожиданно для себя почувствовал и я, будто бы открылось во мне некое второе зрение, увидел ущелья, водопады... А голос все ворожил, а гитара все зазывала в горы...

*Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется
в бездну камень серый...*

Смотрю: Яшин улыбочиво вскинул лицо. Белов нахмурился.

*Тишина. Лишь только песню
О любви поет погонщик,
Только песню о любви
поет погонщик...*

И до меня донеслось горное эхо той песни, щипнуло за сердце, и передо мною и во мне просиял далекий тоскующий взгляд жены.

*Ну, скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул:
Ну поспешим — застанем
дома дорожую!..*

Гитара звуковым вихрем отозвалась в руках Новеллы, взбудоражила зал ожидаемой радостью.

*Ты напьешься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя,
и в морду поцелую.*

Зал взорвался веселыми аплодисментами. Александр Яковлевич хлопал, кажется, жарче всех. Он был очарован этой песенкой о горной Испании.

С таким же успехом Новелла Матвеева спела свои песни о Киплинге, о Роберте Бернсе, о караване, шагавшем через пустыню... Яшин сиял!.. Да, красота поэтического воображения — это единственная возможность спастись от жестокой действительности. Но только на время, на малое время...

«ВОСПОМИНАНИЯМИ БУДУ ГЛЯДЕТЬ...»

Однажды приехал я в Дом творчества, в подмосковное Переделкино, и решил навестить Яшиных. Дача их была на краю поселка, почти в самом лесу. Волновался и сомневался: надо ли беспокоить? — но все-таки шел и шел. Александр Яковлевич, к моей радости, оказался на даче. Тепло просияла его усталая задумчивость. Ничего, кроме чая, мы не пили, а разговор охмелил обоих.

— Пойдем к Сельвинскому! — вдруг загорелся он. — Ты хоть что-нибудь о нем знаешь?

— В институте читал «Улялаевщину» и «Пушторг», — припомнил с трудом я.

Яшин встряхнул головой и вскинул руку.

*Если захочешь меня проклясть,
Буду униженной всех людей,
Если ослепнет влюбленный глаз,*

*Воспоминаньями буду глядеть.
Сколько отмучено мук с тобой,
Сколько иссмеяно смеха вдвоем!..*

— Это «Белый песец», — сказал он. — А еще у Сельвинского люблю «Охоту на тигра». Пойдем к нему.

Я — из любопытных. Тянет понять инородное. Сопоставить с родным, заветным. Зренье твое освежить, углубить...

Дача Сельвинского была помаститей Яшинской. В два этажа, с резной лестницей наверх, в кабинет хозяина. Таких писательских кабинетов я еще не видал: стены — из книг, а пол — из медвежьих шкур... Илья Львович крепко обнял Яшина, мне приветливо подал руку.

У Александра Яковлевича есть два стихотворения, посвященные Сельвинскому.

*Для чего нам сила дана?
Мы затворниками живем —
Дым столбом,
И ночи без сна...
А еще говорят: поем!..*

Эти строки и вспомнились мне, когда за огромным столом, заваленным рукописями, заулыбался и забасил Илья Сельвинский.

— Тржусь над Иваном Грозным. Не дается пока. Ух, какая глыба!.. — он смахнул огромной ладонью уже поседевшую гриву волос слева направо, и в его крупном лице проступила хмурь озабоченности.

— Стихи ведь — речь неестественная. Борьба со словом, что борьба укротителя с тигром. Две строки из чегырех мы пишем так, как хочется, третья строка приходит от нашего дарования, а четвертая — от нашей бездарности. Вот эту-то четвертую и трудно спрятать так, чтобы из нее не вылезали уши...

Тут уж и во мне вскипел интерес к старому мастеру. Да и Яшин заострил боевой взгляд: — Так пишете белым стихом...

— А с ним легко впасть в раешник...

Теоретические рассуждения о стихотворстве, о поэзии любопытны лишь поначалу, но вскоре они утомляют. И сама Поэзия не любит рассуждений о ней. Теоретикам, пишущим стихи, она мстит сухостью слова...

ПО ШЕКСНЕ-РЕКЕ...

Белый теплоход плывет по большой воде. Позади холмы Шексны, а впереди, как призрак, восстает со дна затопленная церковь. Из пустых глазниц выпархивают черные галки... Яшин встряхивает головой, протирает глаза: не мерещится ли? Нет, не мерещится. Это всплывает страшная правда из нашей затопленной жизни... Ему больно, горько, нездоровится что-то...

В каюте, расположенной наверху теплохода, вблизи от капитанской рубки, он один. Друзья-товарищи, вологодские и приезжие писатели, размещены пониже, в многоместных отсеках. А наверху он один. Эта каюта лучшая на теплоходе — тихая и светлая. И в ней он — старейшина, будто капитан всей писательской бригады. А плывут они в древние грады — Кириллов и Белозерск, а затем в Липин Бор и Вытегру. На встречи с народом...

Бывают события будничные и значительные. Но мы зачастую не различаем и путаем их. Вот и тогда, в августе 1967 года, мы думать не думали, что этот заплыв по Волго-Балту окажется знаменательным в жизни каждого из нас. Даже более того: он предстанет потом во времени, как событие символическое. Но кто из нас видит, где светится перст Божий?..

Мы просто радовались тогда, что с нами Яшин, что мы все вместе и что впереди нас ждут шумные встречи и добрые застолья. Мы были молоды! А Яшин, которому исполнилось только всего 54 года, казался нам не то чтобы старым, а уже многопрожившим мудрецом. Да так и было на самом деле.

Он молодел от радости, что рядом с ним Василий Белов и Николай Рубцов, Виктор Коротаев и Борис Чулков, Сережа Чухин и Леня Беляев... Он глядел на каждого из них с пристальной любовью и надеждой. Мы поднимались к нему в каюту, словно в гнездо орла, и он весело распахивал руки, принимая всех под свое крыло.

И опять жаркие разговоры, и опять испытующий нас зоркий взгляд. Один Белов был бесспорен для него и в своем творческом могуществе. И резкие суждения он иной раз поверял по нему: скажет и ждет, как отзовется Василий Иванович. И Рубцов сильно притя-

гивал к себе еще неразгаданной, но уже опалявшей тайной своего стиха. И плыли мы так несколько дней, и ломились дома культуры и клубы в городах и селах от народа. И было это торжеством вологодской талантливости и единения со своим народом.

Теперь, когда вспоминаю эту поездку, сразу укрупняются во мне все незабываемые моменты тех уже далеких дней. И слышится оттуда яшинский голос...

И вижу я, как белый теплоход плывет по большой воде, затопившей древнюю русскую землю, и вижу ту высокую, похожую на орлиное гнездо, каюту, и в ней Яшина — с рыжеватым вихрем волос и с орлиным подчерком гордого профиля.

От тех дней остались фотографии, где-то хранится документальный фильм, но самым вечным свидетельством оказались стихи Николая Рубцова «Последний пароход».

*...В леса глухие, в самый
древний гра^д
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?*

ВЕРНОСТЬ ВОЛОГДЕ

*...Это — как верность Вологде.
Жил я там в холоде, голоде,
Спал на газетах в редакции
С «Красным Севером» в изголовии...*

В 1966—1967 годы Александр Яковлевич очень много работал. И часто приезжал из Москвы в Вологду. Еще на вокзале, при встрече, говорил мне: «Привез ворох стихов!» и весело сгребал меня в охапку. Я тревожно радовался его радостью, видя, как он похудел, словно выше стал, а усы будто повыгорели. В гостинице, чуть отхлебнув горячего чая, уже распахивал чемодан и вытаскивал из недр его новые стихи. «На, выбирай для «Красного Севера» и для молодежи. Верю твоему слову!..»

Брать в руки новые стихи Яшина, видя, как задумчиво склоняется он над стаканом чая и ждет твоего слова — суровое испытание на честность и правди-

вость. Взгляд его был настолько пронизателен, что спрятаться от него ни в каком умствовании было невозможно. Чуть заикнись фальшиво — тут же тебя опалит горькая яшинская усмешка... Так обжегшись и раз, и два, и три, я почувствовал, что и с моей души сметают тепи лицемерия. Оказывается, что и самому легче так жить-быть. И открывается во мне второе зрение, и жизнь наша предстает во всей беспощадной правде. И все яснее проступает зыбкая черта между истиной и ложью... Вот что значило для меня брать в руки новые стихи Яшина и тут же высказывать ему, великому земляку, свое мнение о них.

А потом мы бродили вдвоем по Вологде. Ведь тысячи раз за минувшие годы пройдено по этим улицам и набережным, а все равно таилась в них для нас неутолимая отрада. Мы шли медленно и часто молча, а было так хорошо обоим! Я видел, что в Александре Яковлевиче уже зреют, уже тревожат его новые строки...

Из чего рождались стихи? А из удивления, что прожитая жизнь никуда, оказывается, не исчезла, она все тут, где и мы, только как будто переместилась на другой берег Вологды. Да, она уже на противоположном берегу этой милой, осененной белыми храмами реки — реченьки наших судеб. И голоса оттуда долетают до нас. И руками оттуда машут...

*Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось...*

Александр Яковлевич часто останавливался, светлел или мрачнел лицом, чуть ли не забывая, что я рядом. А потом вновь возвращались мы на правый берег Вологды, в жизнь, обступавшую нас тревожными предчувствиями и страданиями...

**«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА!»**

Александр Яшин еще не до конца нами прочитан и понят, хотя о творчестве его написаны многие исследования.

*...А в чем моя вера!
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать —
Снова Толстого!..*

С такими вопросами, «конечно, проклятыми, конечно, немодными, давно — бородатыми, и все — переходными», он подходил к завершению своей жизни. Она оказалась короткой — в 55 лет, но воистину трехмерной. Яшин обладал таким божьим даром, который позволял ему слитно жить и текущим, и минувшим, и будущим — всеми тремя временами сразу. Такова эта духовная сущность. Она означает верность народной памяти и долговому родству. Правду слова и мужество поступка. И поверку дел своих совестью.

В последние годы свои он шел в творчестве и в раздумьях по крайней мере лет на тридцать впереди самой жизни. И предугадал потому многие социальные явления, открывшиеся явно лишь ныне. Один образ Павла Мамыкина из повести «Сирота» — этого мирского захребетника, этого негодяя-дельца, каких ныне уже тьматмущая — чего стоит!.. До Яшина никто из писателей не разглядел страшную сущность таких «новых» людей.

«Ложь во спасение — смерть для души», — пометил он для себя в 1965 году. Он уже прошел искушение ложью — как ее ни называй — святой или дьявольской, но он прошел сквозь нее. В пятидесятые годы создал огромную поэму «Алену Фомину», за которую был удостоен Государственной премии СССР. И он понял — премия дана за сокрытие трагизма жизни, за подмену правды вымыслом. И вспылал в нем жгучий стыд за свою потачку лжи. И ринулся он напролом к правде!

*Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел свободно
Не в силах изменить...*

И вот в 1955 году публикует бесхитростный рассказ «Рычаги». Он «взрывается», что бомба. Такого не бывало: Яшин посмел показать, как сердечные и откровенные в своих суждениях люди под партийным руководством превращаются в рычаги железных директив. И подступили к Яшину годы мученические. Но устоял, не пошел на попятную!

Через семь лет печатает «Вологодскую свадьбу». Эта повесть сразу становится знаменитой. Москва гудит. Вологда кипит от негодования, а Ленинград — от удивления. Наш земляк — писатель Константин Коничев тогда телеграфировал: «Питер потрясен яшинской правдой»... Эта удивительно яркая и многоголосая повесть заканчивается авторским признанием о том, какие деревенские подарки привез он в Москву после этой свадьбы... «Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике. Сажу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: «хорошо поют!».

Пожалуй, опрометчиво Александр Яковлевич сделал такое простодушное признание: на жарком обсуждении его «Вологодской свадьбы» в самой Вологде, в городском Доме культуры, набитом тогда злобой и ненавистью, чаще всего ораторов, собранных из Никольска и остальных райцентров, как раз и бесило такое признание. Кричали с трибуны: «Вот этими колокольцами, вот этими воркунами — да по шее бы его, по шее!» Отвратительно было слышать и видеть, что кричали-то так наши же вологодские мужики, правда, в галстуках и с заранее написанными бумажками. Ведь они не хуже Яшина знали о порядках и обычаях загубленной крестьянской жизни. А кричали и клеветали на своего же земляка ради служебной карьеры. Вот такая злоба и вскинула меня ринуться тогда на трибуну в обход всех препон и защитить Яшина.

Александр Яковлевич потом напишет мне: «Ржа ест железо, лжа — душу. Человек, проявивший слабость единожды, может на всю жизнь остаться с переломленным хребтом. А для того, чтобы честно и плодотворно работать в литературе и служить народу, надо иметь хорошее здоровье и прямую спину!...»

В 1965 году Яшин обрадовал читателей прекрасным рассказом «Угощаю рябиной», переведенным на многие языки мира. Он опять хотел этим рассказом достучаться до всех сердец, докричаться до всех властей, как необходимо поднимать из великого разора измученную Россию. Но кто его услышал?...

«Я тутошний, из Блуднова, и это моя судьба», — признавался он ответственно, даже не оглядываясь на свою уже всесоюзную (а, может, и мировую) тогда известность. Он поклялся на верность родине. И дом

построил на Бобришном Угоре, под боком у материнской деревни. И страдал, и сжигал себя в трудах, но отступного шага не сделал.

Искры памяти! Они летят из прожитых лет и обжигают нас то стыдом за содеянное, то раскаянием в грехах своих, то порывом творить, наконец-то, добро. Слышите ли вы, люди, этот живой, тревожный и страстный голос Александра Яшина: «Спешите делать добрые дела!».

Сергей Орлов по краткой монументальности своих строк, по выстраданному прямоту и глубине лирических прозрений — талант огромной русской мощи. Из всей большой плеяды фронтовых поэтов он, конечно, самый огневой, передисциплинированный. В его судьбе и поэзии много схожего с судьбой и поэзией молодого Константина Николаевича Батюшкова — мужественного офицера первой Отечественной войны 1812 года.

Батюшков и Орлов! Да, кавалерист и танкист. Да, это пламенные стихи, записываемые между боями первым — на луке седла, а вторым — на танковой броне. Все тот же патриотизм, все та же готовность самопожертвования ради России. Батюшков был ранен в жарком сражении. Орлов дважды горел в танке. Осколок пробил комсомольский билет, и от смерти спасла танкиста медаль «За оборону Ленинграда». Другой стихотворец на месте Орлова непременно возжег бы поэму о своем пробитом комсомольском билете, а наш земляк только после войны рассказал об этом действительно страшном случае своим друзьям Сергею Викулову да Валерию Дементьеву. И лишь по их настоянию отдал в музей свой пробитый комсомольский билет.

А написал Орлов тогда о себе, погибавшем в огне, не поэму, а только восемь пронзительных строк.

Вот человек.

Он искалечен.

Лицо в рубцах,

но ты гляди.

И взгляд испуганно

при встрече

С его лица не отводи.

Он шел к победе,

задыхаясь.

Не думал о себе в пути,

Чтобы она была такая:

Взглянуть — и глаз

не отвести!

Эти строки и сейчас опаляют своим трагизмом. Когда я произношу их, всякий раз сбиваюсь с дыхания. О Сергее Сергеевиче уже написаны книги, исследо-

вания, статьи... Кажется, уже и добавить нечего. Однако время само или укрупняет дела и образ ушедшего из жизни человека, или мельчит их до полного забвения. Само время понуждает нас или говорить о нем или молчать. Тут уже не наша воля и прихоть. Тут, видимо, действует один из законов вечности, о котором мы ничего не знаем.

Личность же и творчество Сергея Орлова, думаю, из того значительного ряда явлений, в котором копится духовная энергия для будущего, для наших потомков.

*Россия есть
у каждого своя:
Свои леса в ней
и свои поляны,
Свои враги в ней
и свои друзья,
Свои у всех
на будущее планы.
Но черный хлеб ее
у всех один —
Насущный хлеб,
что Правдою зовется.
Не все им сыты.
Только все едим.
Его хватает нам
и остается...*

Эти строки записаны в 1970 году. Но как свежо и мудро звучат они сегодня! Да, стихи Сергея Орлова, как сигнальные ракеты с полей сражений и с полей жизни, озаряя искрами тревог, все летят и летят над нами туда — в будущее, в вечность.

Мысль его всегда возникала как удивление каждодневной новизны мира. Ничего для него не повторялось и ничего не терялось — все копилось в памяти, в совести и оборачивалось задумчивой печалью. Очень точно сказал о таком состоянии души Максимилиан Волошин: «Нет радости светлее, чем печаль». Это все шло у Сергея Орлова от полноты восприятия мироздания, от требовательности к себе, от ясного чувствования краткости человеческой жизни.

*Учила жизнь сама меня.
Она сказала мне,
Когда в огне была броня
И я горел в огне,—*

Держись,— сказала

мне она,—

И верь в свою звезду.

Я на земле всего одна,

И я не подведу.

Держись, сказала, за меня.

И люк откинув, сам

Я вырвался из тьмы огня

И вновь приполз к друзьям.

«Тьма огня» — какой дьявольской грандиозности образ! Это не метафора даже, а видение поэтом всечеловеческой гибели.

Это — голос Сергея Орлова с войны.

...Стучит старательно Иуда,

Летит серебреник на стол.

Ах, если бы случилось чудо

И все-таки Христос пришел.

Пришел не так,

как приходили

Все возвращенные с креста,

А в здоровой памяти и в силе

Ко всем, в ком совесть

нечиста.

Написано это в 1976 году. Он тогда еще заметил: «Стал невыносимо дешев порохов, а насущный хлеб подорожал». О многом печалился и многое предвидел он из того, что теперь ужасает нас.

Ах, эти притчи во языцех!

Гудит от них двадцатый век:

Быть, зацепиться,

утвердиться

И переплюнуть имярек.

Тысячелетие второе

Кончается, а что за ним?

Какие там грядут герои?...

Не ведаем, что сотворим...

Да, не ведаем! Обвыкли бросаться, словно слепые, из ошибки в ошибку, из беды в беду. А может, для кого-то именно такая наша саморастрата и надобна?.. Видимо, уж когда жизнь станет совсем неведомой, «хуже некуда», вот только тогда мы и опомнимся, и начнется тогда наше горькое искупление. Оно еще впереди. И это — не пустые слова. Ох, как мы напугались в словах! Даже о таких понятиях, как Родина, Россия, Держава мыслим уже так криво и отызываемся так невнятно,

что не понять уже, кто мы: проходимцы ли по рынку жизни, рабы ли чужих экспериментов или наследники тысячелетнего Отечества?

Чувство национального достоинства, утраченного многими из нас, всегда было в благородной степени присуще Сергею Орлову. И то интеллигентное подвижничество, издавна сиявшее на Руси и которому служили его родители, светло отразилось в миропонимании будущего поэта. В нем горела отзывчивость на товарищество со всеми людьми Родины и мира. И потому он сам всю жизнь был в кругу широкой дружбы. Ни перед кем не угодничал и не мельчил себя — везде был значительным русским поэтом и человеком.

Перед Сергеем Орловым в багровых шрамах, страшноватых с внезапного погляда, но с такими озерными, теплыми и всепонимающими глазами, перед ним, приветливым, возникавший испуг от столь обоженного войной лица мгновенно спадал во встречах людях. Орловские глаза, почти безбровные, небольшие, с белозерской синью, смотрели в людей, в их жизнь, в себя, в небо, во все божье мироздание с пытливой мудростью. Сиял его огромный лоб, и пылали рыжиной, словно незатухавшим пламенем войны, его волосы. В нем, коренном и сильном, виделся мне тот белозер, тот русич, что ходил на поле Куликово под стяги великого князя Дмитрия. И словно бы в нем самом или где-то вблизи него — чудилось мне — всегда таилась северная Русь.

*...Там, где кончаются озими
В дальней дали и леса,
Синее Белое озеро
Встало стеной в небеса.
Нимбом, светящимся*

*издали,
Встало над краем навек
Неотразимо и искренне,
Будто бы взгляд*

из-под век...

Сергей Орлов беззаветно любил Белозерье, Шексну и Вологду, и я помню, как счастливо вспыхивали его глаза, когда он, приехав из Ленинграда или Москвы, вновь оказывался возле торжественно белой вологодской Софии и на задумчивой, на облачной Соборной горке. Вообще в нем, как в поэте с обостренным чувством национальной чести, с врожденным ощущением

космических сил во всем, даже в слове, в образе, в поэтической паузе, было еще и какое-то особое видение великого пространства России — и вдаль, и вширь, и в глубь веков. Он чуял ветры и слышал, как живые, голоса из минувшего. И я догадываюсь, что, стоя на Соборной горке, он всякий раз ощущал себя счастливым человеком с таким великим изначальным родством.

Теперь, думая о его драгоценном вкладе в русскую поэзию, я не могу умолчать и о том, что он единственный из поэтов, рожденных вологодской стороной, так трогательно живописал не деревню, а районную провинцию. Есть у него прекрасная книга «Городок», она, наверно, о родном Белозерске. А может, и о Тотьме (есть, есть у него звонкие стихи о ней!), или Великом Устюге. Любил он эти древние города, жалел, что по давнему небрежению запущены они и уронены в своей былой чести.

Ему, вышедшему «из тьмы огня», так хотелось видеть буйство красок мира и жизни, так мечталось заглянуть за край неба, где ангелы на звездах, что он напрягал свое слово до звона, до блеска, до самой высокой скорости. И он внес это свое мечтание в русскую философскую лирику.

А как бы вел себя Сергей Орлов в этой «перестройке», доживи до наших дней? Вопрос, конечно, риторический, и за поэта никто ответить не в силах. Однако найдутся люди, которые могут упрекнуть и его за то, что он тоже «служил системе», работая сперва в журнале «Нева», а затем секретарем Союза писателей РСФСР, что он тоже писал стихи о партии и о коммунизме. А кто из поэтов — назовите поименно — не писал тогда об этом? Оголтелым же ругателям особо скажу, что Сергею Орлову не было нужды перед партией выслуживаться, ибо он никогда и не состоял в ней. Да что говорить, Сергей Орлов не нуждается ни в чьей защите — его защищает созданная им поэзия.

Да и надо же, наконец, понимать, что высокое не существует без низкого, а великое не бывает без малого, как не полна и верста без последнего шага. Советская поэзия — по сути своей вовсе и не поэзия, а политическое и публицистическое стихотворство. Таких умельцев в ней много. Их еще Маяковский учил, как надо делать стихи. Делать! И делали... Выполняли социальный заказ. Будущее, конечно, стряхнет в небытие

такую советскую поэзию — останется из нее жить только то, что покоится на таланте и на родной почве.

Заканчивая эти горячие заметки, я не могу удержаться, чтобы не выписать еще одно — самое последнее в жизни — стихотворение Сергея Орлова.

Земля летит,
 зеленая, навстречу,
Звенит озер метелью
 голубой.
На ней березы белые,
 как свечи,
Свист пеночки и цветик
 полевой.
Я землю эту
 попирал ногами,
К ней под обстрелом
 припадал щекой,
Дышал ее дождями
 и снегами
И гладил обожженной
 рукой.
Прости, земля,
 что я тебя покину
Не по своей,
 так по чужой вине,
И не увижу никогда рябину
 Ни наяву,
 ни в непроглядном мне...

Вот такая исповедь перед родимой землей! Вот какая это честная и чистая поэзия! Ей на свете жить долго-долго, потому что она светится Судьбой и дышит Родиной.

ВДОВИЙ ПОКЛОН

Мать моя да соседка Павла всю войну на два дома держали одну коровушку. Не было мочи разойтись и после войны: как ни ломили в колхозе, а сена начислят — на одни дровни складешь. А без молока вдовам карачун — ребятишек не поднять.

Помню, как мать с Павлой поровну разливали удой в три посуды: в первую — государству, во вторую — Павле, а в третью — нам. А малые ребятишки толкуют около бедных матерей, зыркают голодными глазенками. Как вспомню об этом, так судорога вновь сожмет горло. До седых волос дожил, а ту давнюю горечь все сглотнуть не могу...

В ту пору я, подросток, оказался в семье вместо погибшего отца. Мать уже со мной делилась своими переживаниями. Лишь привалит сенокос, затоскует и осунется она: как бы опять изловчиться да снца подкосить для нашей кормилицы Мартинки? Заработанного в колхозе сена, конечно, не хватит — дадут всего десять процентов. Ну, из десяти копён — тебе лишь одну. Председатель врет, что даст больше...

— Потяпал бы ты в сохре меж кустиков, — скажет мама, жалеючи меня и боясь суровых властей: как бы не увидели да под суд не отдали. — Тут охалка да там другая, глядишь, и копна. Может, и стожок наскребется...

Скажет тихо, а сама что от озноба вздрогнет. А я радуюсь, что мама обращается ко мне, как на́большему в доме, и утешаю ее, чтоб не тосковала, вон как вся уже изнемогла да исхудала. Она обнимет меня, уткнется в плечо, молча поплачет — и станет ей легче.

Я смала научился косить и эту волю матери тут же кинулся исполнять. В сохре — в приречной низине, затянутой осокой да ольшаником — все же попадались веселые травяные взгорки. Работал азартно, ворочал болотную травушку изо всех сил. И все же не мог избавиться от противных оглядок в сторону деревни, будто бы эту траву я ворую. У кого? У колхоза? Ведь даже на прежних дедовских чишеньях не успевают бабы свалить и добрые травостон. А к сохре редко когда и под-

ступались. Но как ни успокаивал себя, а нет-нет да и оглянусь на деревенский склон: не следит ли кто?

В ту пору я, мальчишка, никак не мог разгадать эту дьявольскую несуразицу: трава растет, а ее не тронь, колхозным коровам коси, а своим — не смей! Эта несправедливость затуманивала меня недоумением, еще более горьким и тяжелым, чем чуялось в сетованиях и оглядках матери. Будто живем мы не в родных, а в каких-то чужих и опасных местах. Мучаясь, так и спотыкались мы годами о «десятипроцентные пороги» всяких колхозных расчетов. Люди помоложе, завербовавшись, бежали из своих обжитых пятистенков в щитовые домишки да бараки лесных дебрей. А мы, дети вдов, закончив семилетки, устремились учиться и жить в городах...

В ту пору я часто навещал постаревшую мать. Она вместе с Павлой упорно держалась за прежние крестьянские устои. И вот в очередной приезд выкладываю из рюкзака гостинцы, а мама в радости своей все-таки тихонько попрекает меня за такую, как ей кажется, чрезмерную трату денег. И в рюкзаке своем обнаруживаю засунутый второпях свежий январский номер журнала «Нева» за только что наступивший 1963 год. Почаевничали, пооткровенничали душевно, и я, радуясь, что мать рядом, прилег на старый отцовский диван полистать прихваченный в дорогу журнал. Листаю и вижу: Федор Абрамов, «Вокруг да около». А как вник — и оторваться не могу. Про колхоз. Ну, точно такой же, как наш — бедствующий. Про баб и мужиков таких же, как наши, петряевские. Только названия колхозов разные. У Федора Абрамова называется «Новой жизнью», а у нас в Петряеве — «Путем к коммунизму»! Да, собственно, и названия-то не разные, а одинаково нищенские.

Прочитал, не отрываясь, в горячем восторге, взхлеб. Какая бесстрашная правда! Она под стать лишь «Вологодской свадьбе» Александра Яшина, всколыхнувшей семь лет назад, в 1956 году, всю читающую страну. Вот второй такой же писательский подвиг!..

На ту пору прибрела к нам и Павла. Устеклила из окошка, что я приехал. Давненько ее не видал — поутопталась она, а какая была статная! Лицо, круглившееся румянцем и в голодную пору, поугасло, но взгляд по-прежнему лучился добрым соседским участием.

— Мама и Павла, послушайте, что я вам прочитаю! — Я весь пылал от абрамовского откровения. Они уселись напротив меня. И вот я читаю окончание повести «Вокруг да около». Про смелого председателя Анания Егоровича.

«...Он выбежал на пригорок, и вот что увидел: от полевых ворот с огромным возом сена ползет машина, а там, на лугу, за озеринкой, люди. Сплошь люди. С граблями, с вилами. Бегают, загребают сено, укладывают на телеги... Из кабины подъехавшей машины выскочил Васька Уледев — рожка в испарине, белозубый рот до ушей.

— Ну и дела, председатель. Осатанел народ! Меня бабешки из постели выволокли. Вот что значит тридцать процентов!

«Так вот в чем дело. Тридцать процентов... Да ведь за это голову снимут. Развезял собственническую стихию... Пошел на поводу у отсталых элементов»... Ананий Егорович помнит, как вчера зашел в чайную, помнит, кто там был: бригадиры Чугаев, Обросов, Вороницын... Васька Уледев... Целое заседание! Помнит разговор о бородатых коровках, то есть о козах, которые после войны вытеснили в деревне коров, помнит споры и крики о сене... Все было. Но чтобы он вот так и бухнул: кончайте волыннить. Тридцать процентов даю!.. Да что он, с ума сошел? Не посоветовавшись ни с правлением, ни с райкомом...

Лицо его было мокрое, но сам он был спокоен. Да, он принял решение. Принял! И как бы там ни было, что бы его ни ожидало, но никто теперь не может сказать, что он сболтнул это спьяна. В заулке залаял пес. С голубого крылечка, залитого солнцем, спускались секретарь райкома и парторг Исаков.

Ананий Егорович выпрямился и, твердо ступая по песчаной земле, пошел им навстречу...»

Я замолк, а слушательницы мои оторопели — глядят на меня, приоткрыв рты. И глазами не мигают.

— Тридцать процентов! — наконец, шевельнулась Павла. — Да я в ноги бы кинулась такому председателю! Как звать-то его?

— Ананий Егорович, — отвечаю я, любуясь недоверчивым восторгом милых моих и бедных колхозниц.

— А написал-то кто? — спрашивает мать.

— Федор Александрович Абрамов. — отвечаю. — Родом архангельский.

— Вот и видно, что пащ настрадавшийся человек. Надо же! Тридцать процентов! Да мы, петряевские бабы, за тридцать-то процентов ночи бы не спали — все бы чищенья выскребли.

— Скотиной бы обзавелись. От нужды спаслись бы, — добавляет Павла. — А я думала, что все писатели пишут, что им велят.

Она бережно берет со стола журнал, близоруко шурится и осторожно листает заглубевшими пальцами, будто бы и впрямь хочет ощупать всегда ускользавшую от нее правду жизни.

— А ты не знаешь его? — спрашивает мать о Федоре Александровиче.

— Знаю, но не близко, — отвечаю я.

— Ежели тебе доведется встретиться с ним, — добавляет Павла, — так передай, что бабы-петряшанки кланяются ему как заступнику за нас, несчастных...

И Павла с матерью крестятся перед иконами. Их наказ я пообещал исполнить. Но тут же горько подумал: а сможет ли председатель колхозный, выведенный в повести, устоять в своем решении? И что с ним случится? Ведь секретарь райкома уже поджидает его. У голубого крыльца...

ОТКРОВЕНИЯ ФЕДОРА АБРАМОВА

В те уже далекие семидесятые годы Вологодская писательская организация устраивала бурные одиссеи по рекам родного края. Я, работавший тогда ее ответственным секретарем, пригласил Федора Александровича Абрамова в наш очередной рейс. Он звонит из Питера и ставит условие — чтобы на борту теплохода были только единомышленники. Называю ему, кто дал согласие: Василий Белов, Сергей Викулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов да еще... Он прерывает мой большой список. «Согласен! — радостно кричит в телефонную трубку. — Записывай и меня! Завтра буду в Вологде!...»

1. В ТОТЬМЕ

И вот специальный теплоход «Буревестник», предназначенный, как говорилось тогда, для агитационных рейсов, белеет уже на плесах Сухоны. Позади осталось старинное село Шуйское, где выступали поэты, а впереди — древняя Тотьма. Она открывалась своими колокольнями, похожими на парусные фрегаты. Здесь в Доме культуры и выступил Федор Александрович.

— Дорогие тотьмичи, уж не обессудьте, вот о чем хочу сказать,— начал он сурово, и зал мгновенно затих.— По берегам Сухоны поля затоптаны мелкоколесьем. А срубленный лес гниет на сплавных откосах. Хороший лес гниет! Это похоже на то, как в коллективизацию согнали с земли крепких мужиков, а добрая их пахота попала в нерадивые руки. И кинулись в рост одни ивняки да ольшанники. Больно глядеть с палубы на ваши берега и низины...

В затихшем зале зашевелились активисты, возмущенно завывали, но большинство народа придавило их своей изумленной тишиной. В кои-то веки человек резанул правду с трибуны, а его сдернуть хотят!..

— Но не только поля у нас лесеют, а лесеем и мы сами,— распалился Федор Александрович.— Родовитость и семейственность теряем. Ведь что такое крестьянство? Это — основа всякого порядочного народа! Это — душа земли, жизни и культуры! Вон у вас в музее, в замечательном музее вся красота — из той, из минувшей поры! Тканые пояса да сарафаны радугами горят, а деревянная резьба — что дивное кружево, что солнечное сияние...

По залу пролетело оживление. Не похвала эта утешила тотьмичей — слышали не раз! — а сказанная правда о том, что мы, нынешние люди, могли бы, а вот не стремимся укрепиться на родной земле. И потому сами лесеем, то есть дичаем, в заботах мельчаем, погибели своей не замечаем... Коси нас косой — вот до чего дожили!...

Когда Федор Александрович закончил говорить, выскочил наперед один мужичок — на вид неражий, а сам отважный — «Спасибо за правду», — крикнул и поклонился Абрамову. И зал вскипел от рукоплесканий.

Затем прекрасно выступили Евгений Носов, Сергей Викулов, Василий Белов... Тотьма возбужденно гудела

и нарасхват брала автографы. Когда отчалили от тотемского берега, Федор Александрович был, по обыкновению, хмур, но доволен собой. Я — опять к нему: мол, впереди Нюксеница, надо бы и там слово молвить.

— Ох, Саша! — ответил он. — Подведешь меня под монастырь. Полуправды терпеть не могу, а от правды сам натерпишься. Уши-то у доносчиков лопухами растут... Нет, в Нюксенице ничего говорить не буду! А в Великом Устюге выступлю...

На том и порешили.

2. В НЮКСЕНИЦЕ

Когда же над Сухоной круто завозвышался левый берег и в вечереющем алом небе выплыли деревянные посадки, мы сгрудились на палубе. Нюксеница встретила писателей праздничным многолюдьем, гармошками, частушками и хлебом-солью на вышитом рушнике. Такое широкое радушие на Сухоне увидели впервые. И Федор Александрович повеселел.

— Что у нас на Пинеге в престольный праздник! — сиял он. — А бабы-то нюксенские — одна пригоже другой! А девки-то какие ядреные — краса да статья! Вот что значит жить на большой реке, на высоком берегу!..

— Так, может, передадите им привет с родной Пинеге? — подзадорил я.

— А что? И передам! И поговорю с таким славным народом! — вспыхнул он, забыв о недавнем своем отказе.

Зал был переполнен. Окна распахнуты. Люди теснились в проходах и на подоконниках. И вновь, что в Тотьме, нас охватил порыв откровенности. Мы одинаково с залом волновались от речей не писанных, а сказанных напрямую. Постыдно лгать и лукавить, глядя в доверчивые глаза и простодушные лица своего родного народа!.. За Федором Александровичем такого греха не водилось. Он мог, сокрушаясь в душе, вынужденно промолчать, но сказать ложь он никогда не мог. Вот и в Нюксенице, в большом зале, посреди людской тишины Федор Александрович оказался как на церковном амвоне.

— Я вижу вас впервые, как и вы меня, а кажется, будто я не на Сухоне, а на своей Пинеге. Кругом родные

лица! И разговор окаястый, схожий с пинежским. И в красоте здешней — девичьей да бабьей — светится русская порода. В мужиках ведь заметнее стирается русский человек, чем в женщинах-северянках.

— Пьют много! — крикнула бойкуша-молодица из зала.

— Да, пьют много, — соглашается Абрамов. — Беда еще и в том, что мы отвалились от мужицкого дела и от самой земли. Ведь в полях наших не хлеб растет, а трава. Надо бы целину-то распахать не в Казахстане, а у нас.

— Верно! — кричали из зала.

— Бытует старая мудрость, — опять вспыхнул Федор Александрович. — Живо крестьянство — жив народ. Нет крестьянства — сник народ. Мужик ушел — урвай пришел. Урваями на моей Пинеге обзывают всяких шаромыжников, воров и лиходеев. Помяните мое слово, вот такие урвай и растащат да разворуют Россию! Да заодно и пропьют ее!..

От такого неслыханного пророчества зал онемел, оторопел. В президиуме нервно зашевелился секретарь райкома. Но Федор Александрович уже сказал, что хотел сказать... Он уже отошел от трибуны, как зал, опомнившись, отозвался торопливым и шумным всплеском благодарности.

Затем выступил Виктор Петрович Астафьев. Он поддал еще жару — подкинул в зал своего юмора. Как бы смягчая абрамовскую откровенность, он, между тем, смешно и беспощадно усиливал ее. Астафьев словом своим — что рисовал. И зал хохотал то ли над глупой жизнью, то ли над заумной властью. И опять забеспокоился секретарь райкома, но все-таки сдержался и дал волю выговориться тороватым гостям...

Близилась белая ночь. И после успешного вечера нашу делегацию ждала уха из сухонской стерлядки. Как тут не порадоваться, не расслабиться, не удивиться размахом нюксенского гостеприимства!.. Кто-то громко вспомнил поэтический восторг Державина перед золотой шекснинской стерлядью, а нам довелось отведать сухонской стерлядки. Такой вкусной ухи, как в Нюксенице, многим из нас уже и не придется больше попробовать.

А Сухона звала вперед. Нюксенцы весело шумели на берегу. Помню, как женщины из самодеятельного хора окружили нас, а одна из них, та самая бойкуша,

первой сказавшаяся, когда выступал Абрамов, подошла к нему и в пояс поклонилась. Он, конечно, растроганно ответил ей поклоном и всей Нюксенице...

Отрываясь от берега, по которому отроком ходил Ерофей Хабаров — основатель славного города в Сибири, — мы долго не могли успокоиться. Именно здесь почувствовали, какой оздоравливающей силой обладает правдивое писательское слово... Завтра нас ждал Великий Устюг. И надо было отдыхать. Но разве уснешь в белую ночь на Сухоне! Берега высокие, обрывистые, в причудливых выступах древних пород, а на них, будто в небе, парят березы. И если бы не туманы, скопившиеся над плесами, то не успокоиться бы нам на палубе. Но вот наш «Буревестник» окутался туманом, а мы — спасительным сном...

3. В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

Уже издали, из-за речного поворота, завеличался-загордился своими соборами Великий Устюг. Гости восторженно вглядывались в город, забелевший в высоте речной излучины. Евгений Носов схватился за свой путевой художнический альбом, стал набрасывать певучие линии великоустюгских куполов. Виктор Астафьев как стоял, так и замер, взявшись за палубные поручни. Ветер трепал его волосы, а в лице, темном от загара, проступало тихое сияние восторга. Федор Александрович Абрамов, сняв с головы ситцевую кепчонку, молитвенно застыл перед ожившей небесной и земной красотой Северной Руси...

На пристани нас встретило руководство города и района. И тут узнаем, что первую встречу писателей с устюжанами решено провести... на стадионе. Об этом уже объявлено, и люди стекаются на стадион. Там для нас установлены микрофоны. А после этой многотысячной встречи, сказали нам, отправимся на товарищеский ужин в междуречье Сухоны и Малой Двины.

Федор Абрамов прямо заявил местному начальству, что не может выступать, когда не видит лиц слушающих людей. И вообще, стадион -- не писательская трибуна. И уговаривать его было напрасно. Согласились выступить Сергей Викулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Виктор Коротяев, художник Владимир Корбаков...

Начинать пришлось мне, как ответственному секретарю. Как глянул я в огромную чашу стадиона, доверху заполненную любопытными устюжанами, так и зашло сердце от волнения. Что же сказать этим тысячам людей? Каких откровений ждут они от нас, писателей?..

При нервном смятении хорошо выручают стихи. Сразу крепнет голос, выравнивается сердцебиение, и начинаешь чувствовать, как стихи накаляют людское внимание.

*...Еще поворот да еще поворот —
И город из белого камня встает.
В закате кресты изжигая дотла,
Торжественно блещут над ним купола,
А берег камнями веков замощен...
Прими, Устюг-батюшко, низкий поклон...*

И слышу — стадион отзывается на мои строки теплым ветром аплодисментов. И становится легче вести эту огромную словесную ярмарку. Теперь уже не припомню того, что говорили Викулов, Астафьев, Носов и остальные наши гости, но они славно взбудоражили Великий Устюг. Тогда писательское слово много значило в общественной жизни и в сокровенных думах народа...

А в междуречье Сухоны и Малой Двины, на высоком берегу, пылал костер здешнего гостеприимства. И прикатили мы туда в очарование белой ночи. Первым секретарем горкома партии был Жуков Виталий Александрович. В общительности его сквозила здешняя самобытность. И писатели почувствовали в нем достойного собеседника. Самые памятные слова, подняв кубки устюгского вина, сказали Абрамов и Астафьев.

Федор Александрович, оглядывая окрест райские просторы, тревожился о нравственном несоответствии нас, нынешних людей, великой красоте окружающей природы. Мы — говорил он — не достойны такой природы! В старые времена, войдя в лес или встав на речной откос, русские люди крестились Небу и кланялись Земле. А мы, нынешние, беспощадно кореем природу, с матами лезем в нее. Мы одичали... Ах! — заключил он, — кабы жизнь нравственную поднять до уровня природной красоты, как были бы счастливы и мы сами, и потомки наши!..

Виктор Петрович Астафьев сказал, что нас, нынешних людей, предающих и продающих родную природу, непременно настигает возмездие. И рассказал об одном

страшном случае из уральской жизни. Самим же устроителям этой встречи, конечно, хотелось услышать от нас более радужные речи, и они услышат их! — только попозже, к завершению такого широкого гостевания под росписки Сухоны и Малой Двины.

На другой день с утра заглянули мы на знаменитый пивоваренный завод — ах, как густо вспенилось свежее пиво — мартовское и жигулевское! А когда-то, сказали нам, варилось здесь и более знатное пиво «Северный олень»... И весь день любовались мы Великим Устюгом. Выступали в речном училище, на щетинно-щеточной фабрике, встречались с судостроителями и школьниками. Побывали и на знаменитой «Северной черни». И когда в краеведческом музее встретился с нами самый известный и уважаемый великоустюжец — Евстафий Павлович Шильниковский — великий мастер чернения по серебру, слушали и глядели на него с почти-тельным восторгом единомышленников. Он показывал чудо — работы «Северной черни», знаменитые на весь мир, и пленяло всех нас это дивное диво устюгской красоты, мерцавшей на золоте и серебре...

А на улицах было солнечно. А город, раскинувшийся по сухонскому левобережью, сиял соборами и церквями. Под ними и в стороне от них текла сама будничная жизнь. Она многолюдилась около магазинов, школ, автобусных стоянок и всяких учреждений. А храмы эти — хранители веков — веяли с куполов небесной памятью о минувших поколениях и предстоящих временах.

Федор Абрамов то и дело отставал от нашей группы и, задумываясь, вскидывал сияющее лицо под благословение древних православных крестов. Перед отъездом на аэродром (возвращались в Вологду на самолете) Федор Александрович так сказал о Великом Устюге: «Вот счастливый город! Он в своей самобытности устоял даже от большевистских погромов. Старина оказалась крепче и краше, чем новизна. Нет, это не провинциальный город. Великий Устюг — это сама чудом сохранившаяся Русь!»

4. В ВОЛОГДЕ

С той сухонской одиссеи в 1968 году минуло более десяти лет. Федор Абрамов завершал свою великую эпопею. Она сложилась из четырех романов: «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом». И была удостоена Государственной премии. Имя писателя обрело всенародную известность, но сам Федор Александрович оставался для нас неизменно добрым и мудрым земляком. Вот его письмо от 30 сентября 1979 года — отклик на мою книгу «Северные поэмы».

«Дорогой Александр Александрович!

Только что вернулся восвояси (по югам слонялся, по писательским лежбищам) и был рад получить от тебя подарок. Спасибо, друг! Как только распишаю неотложные дела, примусь за изучение Романова. Да, за изучение, ибо всегда много хорошего и нового пахожу в твоих книгах.

Будь здоров и удачлив в новых постройках, которые ты рубишь. А за добрые слова о моем «Доме» особое спасибо.

Обнимаю. Ф. Абрамов».

После этого письма Федор Александрович проездом в Архангельск задержался в Вологде в гостях у Василия Белова. Они позвали к себе и меня. Сидели втроем долго, а бутылка водки так и осталась недопитой. Абрамов рассказывал, как побывал в Америке.

Это ныне просто там побывать: выложь кучу денег — и поезжай да поглазей! А в ту пору, в сорокдцатые годы, — ох, как зорко жили! — сперва глянут в твоё родословие, а потом и в тебя самого. А за спиной Федора Абрамова что проверять? За ним, что высокий пинежский берег, встанет родовой мужицкий оберег да солдатская доля на Отечественной войне. А в нём самом открыто явствует великая сила — дар Божий на Слово, на Правду, на Мужество. И слетал Федор Александрович в образцовую страну житейского благополучия.

— В Америке побывать надо, — сказал он. — Очень полезно. Так умеют работать. Но жить там я бы не смог. Двух недель хватило, чтобы затосковать о России. Живут там всяк по себе и только для себя. Холодно там русскому человеку. При всей нужде и расхлябан-

ности в нас не угасла отзывчивость и доброта. А там один голый расчет... Америка богатеет лишь для себя, а Россия тратится для всех. Вот в чем огромная разница! Да, чтобы понять Россию, надо глянуть на нее издалека. Изнутри мы видим лишь одни свои скорби и беды...

Федор Александрович грустно улыбнулся и покачал головой. От взгляда его я почувствовал в себе тревогу. Не в первый раз я заметил эту особенность абрамовской зоркости: — из-под низких темных бровей вскинет пронизательный взгляд и тут же его опустит да принахмурится еще, словно что-то обдумывая. А затем вновь коснется тебя таким же острым взглядом и лишь тогда улыбнется или опечалится перед собеседником... Много еще о чем сокровенном толковали мы в тот вечер. Время летело незаметно, и до отхода архангельского поезда оставалось часа полтора. Василий Белов предложил Федору Александровичу прокатиться по вечерней Вологде на своем недавно купленном «уазике». Абрамов весело согласился. И мы поехали.

Вологда в вечерних огнях — что золотистая сказка. Липы вокруг старого театра, называвшегося когда-то Пушкинским домом, плывут в небе мерцающими хоровами. В их кронах гнездятся фонари. А в резных окнах дворянских особняков играют блики, словно в глубине их вновь зажигаются бальные свечи...

А вот и набережная реки, высоко белеющая домиком Петра Первого. Чуткое ухо услышит здесь и поныне решительные шаги Государя. А проспект широкий мчится дальше, к гостинице «Золотой якорь» и к пустой площади, на которой когда-то сияли три храма, три прекрасных храма, взорванные дикими большевиками...

А затем под золотым куполом звонницы взреет в небо и само очарование Вологды — седой Кремль и величественная София. Державны ее кресты, серебристо пятиглавие, певучи закомары и ослепительно белы ее стены с древними над входами фресками. Здесь даже у самого пропащего человека рука вскинется для перекрестия...

Федор Александрович распахнул машину и, замкнувшись в себе, пошел на тихое сияние Софии. В медленной поступи его виделась нам с Беловым его душевная чистота и очарованность духа. И в эти сокровенные минуты мы молча отстали от него...

На вокзал примчались вовремя. Получили багаж. И Федор Александрович надписал нам на своей новой книге «Дом» памятные автографы. Эта книга завершила его великий труд — мужественную и трагическую эпопею о северорусском крестьянстве, из которого и мы — трое — вышли, чтобы навсегда остаться в нем своими помыслами и делами. Крепко обнялись мы с Федором Александровичем Абрамовым, и он уже из тамбура уплывающего вагона успел нам крикнуть: «Приезжайте ко мне в Питер!»

«ЖУРАВЛИ,
ЗАСТИГНУТЫЕ ВЬЮГОЙ»
Неизвестное стихотворение
Николая Клюева

Василий Андреевич Соколов — поэт, родом из Вытегры — в начале 1991 года писал мне: — «Ты вправе упрекнуть меня в легкомудстве: «Шутить и век шутить! Как вас на это станет?». Но помнится и мамина поговорка: «Хвали горе, чтобы не плакало!» Вот я и пошучиваю, когда на душе горько. Может быть, поэтому я и выжил с 1937 по 1945 год, когда милые нквдешники засунули меня в лесоповальный лагерь, в «синь семеновских (родина Бориса Корнилова) лесов».

Интересно расшифровывалось НКВД — Неизвестно, Когда Вернусь Домой... И наоборот: Домой Вернешься — Кому Нужен... Вернулся я в Вытегру, а затем в Новгород, и лет десять мотался по разным промко-оперативным предприятиям и артелкам, никому не нужный. Не удавалось напечатать ни строчки. Конечно, много было потеряно силушки плечевой и мозговой, но что поделаешь — миллионы не вернулись вовсе... Я более четверти века работал в качестве журналиста, естественно, газета съела природный мой язык. Вот почему я и смеюсь над собой:

*Как я пишу? Могу признаться близким:
Я с вечера, как Лермонтов, пишу.
Поутру встав, я становлюсь Белинским
И Геростратом к печке подхожу...»*

Не менее беспощаден Василий Андреевич к себе и в другом письме: «...ты посоветовал мне налечь на прозу, тем более, что опыт у меня есть. И что же получилось? Как испанский бык я ринулся на красную тряпку, а пикадоры начали дружно колоть меня в бока и в холку,— журналы «Наш современник», «Аврора», «Октябрь», «Костер» да вот и «Север», не сговориваясь, возвратили мне рукописи с одинаковой мотивировкой: завалены рукописями, бумаги нет, горим синим пламенем... Возвращают, даже не читая, что я заметил, при-

стально вглядываясь в текст, где у меня хитро расставлены приметные знаки — ловушки.

А что говорить о поэтах? Среди них плач и рыдание. Я в утешение им и в свое оправдание написал некий экспромт:

*Не жизнь поэтам стала —
Пытка.
Издательства их насмерть бьют,—
Во избежание убытка
Обратно рукописи шлют.
А ведь сплести стишок — не лапоть!..
Давайте, раз бумаги нет,
На бересте стихи царапать,
Как новгородцы древних лет.
Их век нетленный будет долог,
Наш скорбный труд не пропадет:
Все наши рифмы архолог
В раскопе будущем найдет.*

Да, со стихами — и близко не подходит. Заявили: будем издавать только прибыльных! То есть Ахматову, Цветаеву... Даже Михаил Дудин ходит с опущенной головой, говорит мне:

— Крепись!

Креплюсь, какие мои годы! Только 83!..»

В следующий раз Василий Андреевич шлет мне приглашение навестить его: «Будешь в Ленинграде, звони (указывает телефонный номер) и приходи. Наш дом на Литейном — бывший дом князя Мурузи, где я имею честь жить после Лескова, Мережковского, Гиппиус, Гранина, Бродского... Это, увы, не прибавило мне ни таланта, ни пенсии. Живу более чем... то есть безгоно-рарно... Издано семь сборников стихов, прошли в театре несколько пьес за всю жизнь. 12 лет заведовал отделом культуры областной газеты, десять лет возглавлял Новгородскую писательскую организацию... И считаю себя неудачником.

Вот посылаю тебе (для «Красного Севера») рассказ «Наяда из Туломы». Ты прочтешь (да, надеюсь, и другие) с интересом, если скажу, что в рассказе этом — подлинный случай, произошедший с дядей Костей Коничевым (с писателем-вологжанinem Константином Ивановичем Коничевым — А. Р.) и с его незарегистрированной супругой — жизнью!..»

Среди открыток и писем есть и такое: «Вчера забежал в книжную лавку, смотрю: продают двухтом-

ник Пришвина. «Заверните!» Завернули. Дома обнаружил: двухтомник Аполлона Григорьева! Думаю: не прогадал все же. Издан приятно. Посылаю тебе — поэта поэту!.. И в заключение письма приведу по памяти одно из невключенных пока еще ни в какие сборники стихотворение Николая Клюева.

*На малиновом кусту
Сладки ягоды в росту.
Они зреют, половикут
На заманку, щипоту.
Парень кладочку долбил,
Долотешко притупил,
На точило девку милу
Ненароком залучил.
Я не ведала про то:
Вмоготу ли долото?
Заалело, зарудело
Камень — тело молодое...
У малинова куста
Нет плодного листа.
Во утробе по зазнобе
Зреет ягода густа...»*

Ах, какие стихи!..

Потом Василий Андреевич что-то замолчал. Я подумал: лето, дача. Но вот из «Литературной России» узнаю, что в конце июня 1991 года Василий Андреевич Соколов скончался. Горечь отяжелила меня. Нет, невозможно привыкнуть к дружеским утратам! И вспомнилась синяя приозерная Вытегра, где жили два русских поэта: первый ныне уже с мировой славой — Николай Алексеевич Клюев, а второй со скромным признанием лишь в своих местах — Василий Андреевич Соколов. Оба наши, родные. Один расстрелян за свой гений. Другой после лагерей так и не смог творчески развернуться, как хотелось. И клюевские стихи, возникнув «в памяти сердца», вновь коснулись души затаенным в них ветром вечности.

*...Мы свое отбавлял до срока,
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в ответ на родине далекой
Синий бор звенит своей кольчугой.*

ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ РУБЦОВЫМ

ПЕРВОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

Э то случилось глубокой осенью, когда обычно возвращаемся в город из своих деревень. Видимо, в 1964 году. И первым зашел ко мне на квартиру Николай Рубцов. Он, при всех своих страстях, был на удивление скромным и стеснительным человеком. Пройдет от дверей бочком, прямоугольно присядет на самый край старого дивана и на минутую другую, морщась, как бы замкнется в молчании. Зная его такую побыть, спокойно ожидаю, что скажет. От расспросов он раздражался. Если, к примеру, заходил попросить в долг трешник или пятерку (больше не брал!), то молча подавал записку: «Прошу выручить» и т. п. Поначалу я дивился: зачем записка, если мы стоим «глаза в глаза». Потом понял: да, легче черкнуть, чем выговорить такую окаянную просьбу.

Вот и в тот вечер, когда он зашел ко мне да присел на какой-то закраек, да приобнял ладонями свои острые коленки — весь тихое напряжение, я сразу же направился кипятить чайник и собирать закуску. Но он остановил меня и попросил послушать стихи.

Я сосредоточенно притулился над столом. И вот слышу...

*Тихая моя родина!
Ива, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...*

Захолонуло душу нежной болью, и я изумленно оцепенел от чистоты речи, не обремененной красотами. От голой правды сиротства. От концовки, обжегшей меня, что молния.

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

Я, не шевелясь, ждал, чт будет дальше. А дальше слышу: «Я буду скакать по холмам задремавшей от-

чизны», «Звезда полей во мгле заледенелой», «Русский огонек» с его единственной в мире такой самоотверженностью — «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью...».

Боже мой, какие стихи! Вспыхнули они вот в этом молодом, рано облысевшем человеке, и теперь, слетая с его размашистой ладони, будут вечно сиять в сумрачных далях России. Такого изумления я еще не испытывал при встречах ни с одним поэтом. И понял: Рубцов — огромный, редкий поэт!

И обрадовался я еще тому, что это открытие, слава Богу, не отозвалось во мне завистью. Лишь глубоко-глубоко под сердцем шевельнулось что-то жаркое — то ли еще не востребованная своя сила, то ли вспыхнувшая вдруг самоукоризна, то ли Божие озарение, что всякому — свой путь... И тут я высказал Николаю Рубцову свое высокое мнение о его новых стихах. Он, похоже, принял мой отзыв как должное. Сам уже знал, какую ношу может поднять.

«ЕСЕНИН, ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ВИЙОН...»

— Как ты пишешь? — спрашиваем Рубцова.

— Сперва ставлю свою фамилию, а остальное является само собой, — отвечает он и отпивает глоток красного вина.

Мы сидим в уютном ресторанчике Вологды, называемом попросту «Поплавком». Это зеленый двухэтажный дебаркадер, приткнувшийся не только к людной пристани, но и к литературной жизни тех лет. Мы сидим у раскрытого окна и слышим-видим, как плещется-зыблется милая река Вологда и как звонко вскипают на ней моторные лодки и катаера. Мы не пьянствуем, а вдохновенно беседуем и сдвигаем стаканы в честь поэзии и в знак дружбы. О, эти наши сидения в «Поплавке», так замечательно воспетые Николаем Рубцовым в «Вечерних стихах».

*...И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.*

И не было ничего самонадеянного, странного или дерзкого в таком приближении к своему застолью этих гениев — ведь мы тогда были молоды, как и они в свои лета. И на кого же было равняться нам, как не на них! «Вологодская кучка» поэтов и прозаиков той поры, как явление самобытное и могучее, была одержима творческим соперничеством друг с другом и поисками свежих путей в русскую литературу.

И если Есенин, так любимый вологжанами, казался нам уже близким и свойским человеком (ведь Сергей Александрович гулял-хаживал по Вологде и по деревням Кадниковского уезда, будучи в гостях у нашего талантливого поэта, своего друга Алексея Алексеевича Ганина, злодейски расстрелянного большевиками в 1925 году), то к именам Пушкина и Лермонтова мы прикасались со священным трепетом... Понимая недостижимость их высот, мы, однако, чувствовали, что наше матёрое мужичество, выпиравшее из стихов и повестей, сама Русь-матушка малопомалу сближает с их отважным дворянством. Нас, выходцев из разгромленного крестьянства, понижывало «силовое поле» их национального величия. Оттого и слово наше мужало быстрее, обретало свое лицо и достоинство.

Но как в такой русской компании оказался Вийон? Горькие мытарства этого француза отзывались сочувствием в бездомности самого Рубцова, и он запросто привел из XV века в наше застолье этого великого остроумца и гуляку...

*...Вещь дорога, пока мила,
Куплет хорош, пока поется,
Бутыль нужна, пока цела,
Осада до тех пор ведется,
Покуда крепость не сдаётся,
Теснят красоту до того,
Пока на страсть не отзовется...*

Так лихо сочинял неунывавший Вийон, а потом все же признавался: «Бедность нас преследовала по пятам», словно бы имея в виду не только одного себя, а всех честных поэтов мира. Вот и в Рубцове задел эту сокровенную боль. Ведь многим людям Николай Михайлович казался добровольно безработным и потерянным для оседлой жизни человеком. Он, конечно, чувствовал такое отчуждение даже среди родных и близких людей. А о молчаливом осуждении якобы праздного его существ-

ования уж и говорить нечего — люди не ведают, насколько лихорадочно изнурителен труд поэта.

...Рубцов сидит, подперев подбородок кулаком, и с любопытством поглядывает то на нас, то на ресторанных посетителей. По смуглой свежести лиц, по синеглазому простодушию, по певучему говору он узнает родных тотмичей. Они веют на него грустной памятью. Но вот возникает в растворе буфета официантка Катя, миловидная и бойкая молодуха. На крепкой ладони у нее сияет круглый, заставленный бутылками поднос. Она ветром пролетает меж столиков, останавливается перед нами и улыбается Рубцову. Она, может, единственная из женщин, знакомых с ним, чувствует его смятенную душу. Она ласково называет его Колей и ставит перед ним пару бутылок дешевого кадуйского (с ударением на втором слове для лихости) вина.

И наш разговор о жизни и поэзии течет дальше. Но, кажется, пора бы завершать свою вечерю. Да и средства наши исчерпаны. И поневоле припоминается моление Франсуа Вийона, только что гостившего здесь:

*Стихи мои, неситесь вскачь,
Как если б волки гнались сзади,
И растолкуйте, Бога ради,
Что без гроша сижу, хоть плачь.*

СОПЕРНИЧЕСТВО

Николай Рубцов знал французских поэтов и отзывался о них высоко, но опять-таки не взалхлеб, как это случается у наших дураков и космополитов, а с той степенью восторга, за которой молча предполагаются и другие, еще более значительные высоты. В нем кипела озабоченность русской честью. И он всеми силами стремился соответствовать ей.

Я припоминаю, с какой внимательностью листал он сборники европейской поэзии. У меня накопилась целая полка таких книг. И чаще всего он листал Франсуа Вийона, Артура Рембо, Шарля Бодлера, Пьера де Ронсара...

И Борис Чулков подтверждает ревнивое знание Рубцовым европейской поэзии. Всю зиму 1964 года они про-

жили бок о бок в чулковском старом доме, в котором было полно книг и поэтических преданий. Да, именно Борис Александрович в то тяжкое время приютил у себя бездомного Рубцова. Можно сказать, спас его от безысходности. Владея несколькими европейскими языками, Борис Александрович, помимо собственных стихов, занимался и переводами. Надо думать, ему с Рубцовым было о чем потолковать...

Я же слышал, сейчас не припомню от кого, якобы Рубцов говаривал, что у Поля Верлена лишь одно гениальное стихотворение — «Осенняя песня», но и оно все-таки слабее его, рубцовой «Осенней песни». Я спросил у Чулкова, знает ли он что-нибудь о подобном отзыве. Нет, он помнит другое. Он помнит, как Рубцов рассказывал, что в Литературном институте им, студентам, было дано учебное задание перевести с подстрочника «Осеннюю песню» Верлена, но он переводить не стал, а написал свою «Осеннюю песню».

Удивительно здесь то, что к моменту этого разговора с Рубцовым верленовская «Осенняя песня» уже была переведена Борисом Александровичем. И он прочитал ему этот свой перевод.

Поль ВЕРЛЕН

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

*Стенанья, всхлипы
Осенних скрипок
Так однозвучны,
Во тьме-тумане
Мне сердце ранят
Тоской докучной.*

*Я задыхаюсь,
В лице меняюсь,
Часам внимая,
А вспомню я
Весну былую —
И вот — рыдаю.*

*Открою двери —
И ветер зверем
Меня потащит,
Во мгле и мути
Завьет-закружит,
Как лист пропащий.*

Я спросил, как отнесся Рубцов к его переводу. Борис Александрович, по своему обычаю, долго подыскивал подходящие слова, да так и не нашел. Меня же его перевод Верлена тронул страшным одиночеством. Человек — по Верлену — настолько слаб, что не в силах управиться со стихией даже собственной судьбы. Его несет, «как лист пропащий»... Я предполагаю, что Рубцов, который слышал «печальные звуки, которых не слышит никто», вовсе не пренебрег Полем Верленом, а лишь оттолкнулся от знаменитого француза, чтобы посоперничать с ним. И вот его ответ.

Потонула во тьме отдаленная пристань.

По канаве помчался, эх, осенний поток!

По дороге неслись сумасшедшие листья,

И порой раздавался пароходный свисток.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!

Пусть на город нагрянет затаившийся снег!

На тревожной земле, в этом городе мглистом

Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

А последние листья вдоль по улице гулкой

Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.

На меня надвигалась темнота закоулков,

И архангельский дождик на меня моросил...

Вглядитесь в эти две «Осенние песни». В них по три строфы. В них одинаково бушуют листья, плачут ветры, гнетут одиночества. Но как разнó светятся две поэтические судьбы в потемках стихий! И насколько несхожа житейская устойчивость их на тревожной земле!

Поль Верлен во тьме-тумане слышит стоны скрипок. Они все больнее ранят его в беспутье жизни... Николай Рубцов в такой же мгле слышит отдаленную пристань. И чувство его так щемяще потому, что тревога в нем вовсе не за себя, как у Верлена, а за эту землю, тонущую в ненастье. В песне Верлена слышен он сам, но не слышна Франция, а в песне Рубцова, наоборот, более слышна Россия, нежели он сам.

Конечно, рискованно сравнивать перевод с оригинальным стихотворением и делать заключения, подобные моим, однако хочется, чтобы и читатель поразмышлял над сопоставлением этих двух замечательных поэтов разных эпох и народов.

ЯРОСТЬ И ВОСТОРГ

Я припоминаю два случая, когда глаза Рубцова поразили меня обжигавшей энергией. Был какой-то праздник. У меня на квартире собрались друзья-товарищи из местных газет. Позвал я в гости и Николая Рубцова, тогда одиноко скитавшегося по Вологде. Кое-кому это не поглянулось: чужак. Я представил его, сказал о нем добрые слова — и началось застолье. Тосты, тары-бары, песни — молодая жизнь плеснулась через край. Но как взгляну на Рубцова, так и обомлел: в бледности вытянутого лица презрительно вспыхивали его сузившиеся глазки. Подсел к нему, чтобы раскатать, втянуть в праздник, но страшный дух неприятия чужого веселья так забушевал в нем, что в прищурах глаз заострились два черных шила. Такой злой черноты глаз я еще не видал ни кого... Конечно, я понял, что Рубцову при его бездомности даже этот средний наш недостаток показался обидным и враждебным. Бог ему судья!..

Второй случай противоположен первому. Поехали вместе на пароходе (вернее, на теплоходе, но Рубцову больше нравилось «старое» слово). Он — в свою Ни-колу, к дочери, а я — в Тотьму, по газетным делам. Погода стояла славная, сенокосная. Вышли на палубу — под белые облака! С берегов тянуло сладостью подсыхающих трав, земляники и вольной воли. Речные изгибы открывали все новые дали, и всякий поворот уже загодя волновал своей тайной.

Мы принесли из буфета по кружке пива, устроились за столиком, на котором были рассыпаны шахматы, но играть в окружении такой просторной наплывающей красоты не могли. Мы поминутно озирались по сторонам. И я напрямую столкнулся со взглядом Рубцова. Черного прищура как не бывало! С переносья свеяна морщинка. В распахнутых глазах — смородиновый жар! И лицо — в небе, как в счастье!.. И я радостно замер от такого его преображения.

СТАРЫЕ ВАЛЕНКИ

Будто откинется пелена лет и озарится один миг из далекой весны. Снег еще не сошел, но уже вовсю каплет с крыш, звенит по водостокам. А Рубцов, привыкший за зиму к валенкам, все забывает сменить их на ботинки. Выйдет из дома еще по холодку да так и бродит до мокроты. Идет по Вологде, как по своей Николе.

Встречается у подъезда дома, в котором наша писательская комната. Он перехватывает и мой удивленный взгляд. — «Вышел-то по заморозку, — косится на свои разбухшие валенки, — а вон как распекло»... И щурится от солнечной капли.

В комнате нашей сумрачно и прохладно. Мы пока одни. Он мнетя, не раздевается. — «У меня бутылка красного. Может...» — глядит выжидательно. Я согласно киваю. Раздевшись, притыкается к журнальному столику. Вино он пил не жадно, а как бы ради беседы, ради вольных размышлений. В спорах бросался в разногласия. И был горяч, неуступчив...

Теперь уж не припомнить всего, о чем жарко толковали тогда. Но всякий раз — о поэзии. Николай Рубцов держался того мнения, что современность — это вечность. Не только нынешние черты быта и людских отношений, а прежде всего трагизм вообще всей жизни. В прошлом для нас — очарование, в настоящем — страдание, в будущем — искупление. Вот это и есть предмет поэзии, а не навязчивая социология и описательство трудовой героики... В те годы об этом говорили тихо, с оглядкой, ибо везде оказывались начеку защитники социалистического реализма — этого непреложного кодекса для литературы, идеологии и вообще всей жизни.

Я, признаться, долго метался на этих путях. Еще студентом писал поэму о знаменитой тогда Александре Евгеньевне Люсковой — свинарке из шуйского колхоза «Буденовец». Ездил к ней, мудрая и даровитая женщина принимала меня, как сына. Рассказывала, показывала, пирогами кормила, а поди-ка, не верила, что стихами возможно написать о тяжком труде свинарки. И хотя главы из моей рукописи печатались в газетах, и ТАСС (телеграфное агентство) известило страну, что в Вологде создается поэма о Герое Социалистического Труда, ничего у меня не получилось. Да, много и на-

прасно было растрчено в те годы сил для одоления совершенно косного материала и ложного метода. Мы топтали жизнь, инстинктивно уходящую из-под наших ног, разбухшими валенками схем и догм.

Николай Рубцов счастливо миновал все это. Перешагнув политическую конъюнктуру, он сразу очутился наедине с отзвуками родных преданий, с порывистым шумом природы, с горькими путями жизни. Кое-кому из маститых поэтов тогда показалось, что Рубцов ринулся вспять, к «старой» поэзии (по языку и интонации), а на самом деле он шагнул вперед — в свежий мир лирических откровений. Поэтому и в стихах у него так много ветра и неба. И России...

АВТОГРАФЫ

В те уже давние, а для нас молодые годы проводить литературные вечера и встречи с читателями было делом самым обыкновенным. В писательской организации денег на поездки хватало, приглашений присылалось много. И мы выступали перед тысячами земляков, соприкасались с тысячами судеб и тысячи автографов оставили людям на своих книжках.

Вот так однажды мартовской порой приехали втроем — Николай Рубцов, Сергей Чухин и я — в Харовск. Нам предстояло выступить в двух школах, в клубе местного Дома отдыха, а на афишах, расклеенных по городу, был объявлен большой литературный вечер в Доме культуры. Помнится, как молчаливо и хмуро поглядывал на эти афиши Рубцов и весело успокаивал его, поблескивая очками, добродушный Сережа Чухин. А утренний заморозок Харовска румяно бодрил нас, и шли мы туда, где должны быть, уже вдохновенно.

Николай Рубцов стихи читал прекрасно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и начнет вздымать слово за словом

Взбегу на холм

и упаду

в траву,

И древностью повеет вдруг из дола!...

Не раз слышал я из уст автора эти великие «Видения на холме», и всегда охватывала дрожь восторга от силы

слов и боль от мучений и невзгод Родины. А потом — «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий» — и воображение мое уносилось вместе с журавлиным клином в щемящую синеву родного горизонта. А затем — «Я уеду из этой деревни» — и мне приходилось прикрываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили моих невольных слез... Вот какими были выступления Николая Рубцова!

Хорошо выступал и Сергей Чухин. Помахивая ритмически рукой, он стихами своими, словно теплом, обвеивал людей. Если от Рубцова исходила тайна, то от Чухина — ясность русской души...

Тогда, в Харовске, после выступлений, мы, конечно, пошли в ресторанчик. Наутро в гостинице Николай Михайлович подает мне вчетверо сложенный листок. Разворачиваю, читаю.

*Романов понимающе глядит,
А мы коньяк заказываем
с кофе.
И вертится планета,
и летит
К своей неотвратимой
катастрофе.
С любовью Н. РУБЦОВ.*

Ну что тут скажешь? Приобнял его по-братски, а Сережа похвалил, и пошли мы перед отъездом из Харовска взбодрить себя...

Шло время. Однажды заходит ко мне на квартиру Сережа Чухин и говорит, что написал стихотворение, которое хотел бы посвятить мне, но не уверен, понравится ли такое. Я постоянно следил за его крепнувшим творчеством и видел, что он вырастает в значительного русского лирика, близкого по запеву к Рубцову, но самобытного по своей ласковой печали. И этот его дружеский порыв был мне дорог.

*...О чем над нами шепчутся
листы
И так согласно,
не по-человечьи!
О, как бы я хотел перевести
Все шорохи осенней темноты
На человечье косное наречье!
Как странен свет надмирного
огня!*

*Ночное дерево вдруг надо мной
вздыхает...
Не поняло ли старое меня?
Хочу я знать, чего никто
не знает.*

Сереза прочитал это стихотворение и тревожно взглянул на меня. А я, растроганный и благодарный, обнял его, как когда-то Николая Рубцова.

«И БЫЛО ВСЕ ПОЛНО ПЕЧАЛИ...»

Иду, бывало, в наше писательское пристанище, занимавшее сперва маленькую, а потом большую комнату в центре Вологды, а навстречу — Николай Рубцов. Так случалось часто, но всякий раз неожиданно. Возникнет то из липовой аллеи, то из-под речного подбережья, то из шумного многолюдья. Выступит вдруг бледный, замкнутый в себе, и как-то тревожно окликнет...

Наособицу запомнился вот этот момент. Окликнул он и заторопился навстречу мне: — «Скажи свое мнение. Вот только что сложилось»... Мы нашли в скверике тихую скамейку, засыпанную облетевшими листьями. Догорала осень 1967 года. И Коля прочитал только что возникшее стихотворение.

*Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде,
Шумит осенняя река.*

*Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой...*

Прочитал и, нахмурясь, часто-часто мигая, смотрит на меня, ждет, что скажу. А я в этот миг вспомнил стихотворение Некрасова «Влас». И некрасовский странник заслонил во мне новорожденного рубцовского странника.

*В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.*

*На груди икона медная:
Просит он на божий храм,—
Весь в веригах, обувь бедная.
На щеке глубокий шрам...*

Вот эта навязчивая память помешала мне взглянуть в новое стихотворение Николая. Я был немногословен. Посчитал, что сам образ странствующего старика не нов в русской поэзии. А из-за крайней простоты изображения он у Николая предстает вовсе заурядным.

*...Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч.
Идет себе в простой одежде
С душою светлую, как луч!*

Такая концовка показалась мне излишне красивой, преувеличенно обобщенной. Что-то в этом духе говорил я тогда. Рубцов слушал меня тихо и грустно...

Теперь же, по прошествии четверти века, я чувствую некую укоризну, как вспомню тот резкий разбор рубцовского «Старика». Образ «душа, как луч» теперь не кажется мне лишь метафорой, а ощущается уже въявь энергией жизни. Такие духовные лучи благотворны в сумраке житейского распада. Сколько ныне нищих и сирых людей бродит по Руси! Может, Рубцов еще тогда, когда мы сидели на скамейке, засыпанной багряной листвою, уже предчувствовал такое время, когда будет «все полно печали» над русской старостью? Может, он предвидел уже это через свою житейскую неустроенность?..

И если каждому из нас растеплить бы свою душу до ответного луча, пусть даже до малого лучика, то отступила бы от нас стужа бездуховности и беспутья. Но души наши — потемки...

РУБЦОВ И ВЛАСТЬ

Он был человек вольный. Нигде не служил, а работал в русской поэзии. В ту пору даже большие начальники (в простонародном представлении — самые умные люди) никак не могли понять, почему он все разгуливает по Вологде и нигде не работает. Все утром бегут на заводы и в учреждения, а он ищет, где бы опохмелиться. Меня (тогда я

был ответственным секретарем Вологодской писательской организации) однажды вызвали в обком партии и недоуменно спросили: почему Рубцов бездельничает?

Я объяснил, что его жизнь — не бездельничанье, а никому не видимый тяжкий труд. Конечно, в ответ я встретил ироническую улыбку.

— Может, полечить его от вина? — сочувственно предложили в обкоме.

— Да не алкоголик он! — защищался я, думая не только об одном Коле. — У поэтов бывают срывы. Ведь стихи пишутся кровью...

Меня выслушали, но не поверили, что столь трудно быть поэтом.

Может, и не стоило бы вспоминать эти случаи давно минувших лет. Однако истинная правда навсегда остается правдой. И не надо криво ухмыляться теперь, говоря о зависевших от партии взаимоотношениях с писателями. Я свидетельствую, что Вологодский обком партии оказывал нам большую помощь в трудоустройстве, в получении жилья и в иных немалых житейских нуждах.

Вот и о Рубцове забеспокоился. Конечно, властно забеспокоился. И вот мы, писатели, располагаемся за длинным столом в кабинете секретаря обкома по идеологии. Веселое оживление, как всегда, вносит Виктор Астафьев. Он чуть было не увлек разговор в совсем иную сторону, не предусмотренную секретарем обкома. Николай Рубцов скромно сидел у закрайка стола, поближе к дверному тамбуру. Я сделал краткий обзор творческих дел писательской организации и высказал наши неотложные просьбы. Писатели разговорились, в застолье потеплело.

И секретарь обкома, соглашаясь с нашими суждениями, помаленьку стал сворачивать разговор в сторону писательского пьянства. Василий Белов, воспользовавшись паузой в его мысли, вдруг встал, что клин, свою реплику: «А обкомовцы пьют не меньше нас». И с веселой дерзостью поглядел на секретаря обкома.

Тот не то чтобы смешался, а все-таки смутился.

— Обкомовцы не шатаются на улицах, Василий Иванович! — вдруг подтвердел его голос. — Как некоторые из писателей... — И поглядел на Рубцова.

Вот от этого взгляда секретарю обкома следовало бы воздержаться. Рубцов сразу помрачнел и, видимо,

догадался, зачем собрана здесь писательская организация. И когда разговор с обеих сторон взвинтился уже на прямую — пить надо меньше, а работать больше, а кое-кому следовало бы и полечиться,— Рубцов резко встал, сказал «Извините» и ринулся в дверной тамбур... Он был беспартийный. Он был человек вольный...

Второй случай произошел в здании горкома партии. Там, на первом этаже, располагалась тогда редакция областной молодежной газеты, в которой Коля какое-то время подрабатывал на жизнь. Здесь же была комната и Вологодской писательской организации. А в подвальной прохладе этого здания работала столовая. И в ней часто продавалось свежее пиво.

И вот однажды Рубцов с приятелями из редакции хорошо посидел за пивом и понял, что пора отсюда выбираться. Но только выступил в коридор, как тут же столкнулся с секретарем горкома партии. Он Рубцова в лицо не знал, а Рубцов в лицо его не видел. И столкнулись грудь в грудь!... Ну что, казалось бы, такого — столкнулись в столовском проходе — экая невидаль! А писательскую организацию вновь потрянуло от обвинений да объяснений.

Третий случай произошел в Архангельске. Туда съезжались прозаики, поэты, критики, литературоведы из Москвы, Ленинграда и со всего огромного Северо-Запада на первое столь расширенное совещание вдали от столицы. Туда же прибыл и весь секретариат Союза писателей России во главе с Сергеем Владимировичем Михалковым. Доклад о состоянии российской поэзии сделал Сергей Сергеевич Орлов. Кто выступал о прозе, теперь уже не вспомню. В тот день мне, как руководителю вологодской делегации, пришлось сильно понервничать.

Рано утром, до открытия совещания, вызвали к Михалкову. За многие годы секретарской работы еще не было случая, чтобы столь срочно потребовали меня ко главе Российского Союза писателей. Какая же необходимость? Белов, Астафьев, Фокина, Рубцов, Коротаев, Полуянов, Оботуров здесь. К выступлению я готов, речь написана... В тревоге и недоумении стучу в номер и слышу: «Входите».

Сергей Владимирович хмуро возвысился надо мной и протянул руку.

— Произошло ЧэПэ,— последнее слово от негодования повторил дважды.— Николай Рубцов нахулиганил...

— Что случилось?

— Он оскорбил женщину! Инструктора Центрального Комитета партии!

От такой неожиданности я смешался.

— Странно,— начал я защищать товарища,— к женщинам он добродушен. Это недоразумение, Сергей Владимирович. Не может быть...

Михалков прервал меня: — Рубцов оскорбил женщину! Он шатался пьяный в коридоре, она подошла и упрекнула, а он...— тут приступ нервного заикания охватил Сергея Владимировича,— а Рубцов послал ее, уважаемую женщину, работника ЦК...— снова замаялся и, округлив глаза, еле выговорил в раздраженном недоумении:

— Рубцов послал ее ... на х..!

Тут и у меня выкатились глаза на лоб.

— Да как же так? — опомнился я.— Может, оговорили его, Сергей Владимирович?

Михалков метнул суровый взгляд: — Если Рубцов сейчас же не извинится, мы лишим его делегатских полномочий!

Крыть было нечем. И я пошел в номер, где на смятой кровати понуро сидел Рубцов. Бледный и больной. Стало жаль его. Соседи по номеру уже, поди-ко, толкуются в буфете, а он мрачно припоминает, что было с ним вчера. Такая беспощадная самоказнь давно ведома мне. Состояние ужасное. И Коля обрадовался, увидев меня. Но я-то пришел к нему не с облегчением, не с радости, а со строгим приказом С. В. Михалкова. И кратко рассказал о только что состоявшейся встрече.

— Да я ведь,— растерянно и наивно развел руками Коля,— не знал, что она из ЦК. Я к ней и не подходил, это она меня задержала. Начала стыдить, укорять... Эх! — схватился он за голову.— Ну, выпил... С радости выпил. Я ведь Архангельск люблю. Давно в нем не был...

— Коля, Михалков велел тебе извиниться перед ней,— назвал я имя и отчество этой руководящей женщины.— Иначе лишат тебя командировочных денег, не пустят на совещание... Перебори себя, извинись...

Рубцов долго и хмуро молчал, глядя в архангельское окно. Потом встал, умылся и пошел извиняться. Он был вольным человеком в Поэзии и подневольным — в нищете.

РЫЖЕЕ ПЛАМЯ

Людмила Дербина попросила обсудить на писательском собрании ее книгу стихов «Сиверко», вышедшую в 1969 году в Воронеже. Там она жила и работала до переезда в Вологду. И вот наша большая комната полнится народом. Мне с председательского места всех хорошо видно. Белов хмурится на диване. Астафьев весело озирается, Коротаяев толкует с Чухиным, Фокина присаживается к ним сбоку. Сдвигают стулья Чулков, Полуянов, Гура. А Рубцов, как обычно, в углу за журнальным столиком.

В центре внимания — Людмила Дербина. Многие видят ее впервые. Что-то уже слышали о ней и вот любопытствуют, поглядывают. Она свободно сидит перед всеми. Молодая, смуглолицая, в рыжем пламени взвившихся по плечам волос. Короткое платье высоко вздернуто над ядрами колен. Вся — как вызов. Сжав в пальцах свое «Сиверко», вскидывает перед собой, и нам видно, как обложка книги белеет и синееет будто бы проступающей изморосью. А голос! Сперва — что сусло, а затем — что кипятки.

*...Когда-нибудь в пылу азарта
Взовьюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты
Твоей блистательной судьбы!
Вся боль твоя в тебе заплачет,
Когда рискнешь как бы врасплох
Взглянуть в глаза мои кошачьи —
Зеленые, как вешний мох...*

Все понимают, что это — умелые стихи, но смущает безудержность их дьявольской страсти. Дербина читает еще и еще, накаляя собрание.

К сожалению, мы не вели записи выступивших. Это обычная наша безоглядность и непредусмотрительность. Начинать пришлось мне. Я сказал, что поэзия — вовсе не крик ревнивого иступления.

*...Чужой бы бабе я всю глотку переела
За то, что ласково ты на нее взглянул.*

Отметил я в ее стихах и есенинские интонации:

*Что ж? В любви, как в неистовой драке,
Я свою проверила статью.
И теперь, чем до одури плакать,
Предпочту до упаду плясать...*

Коротаев говорил резче меня. Что-то о «медвежьем рычании» в ее стихах.

*...Опять я губы в кровь кусаю,
И, как медведица, рычу...*

Астафьев отстаивал полную волю в стихах, не обремененную лжезаконами соцреализма. А Белов и Фокина свое неприятие такой лирики выразили суровым молчанием.

Всего интереснее было узнать мнение Рубцова. Он резко выступил против физиологизмов в поэзии Дербиной. И привел пример:

*Я по-животному утробно
Тоскую глухо по тебе...*

На писательском собрании в том далеком 1970 году было решено новую рукопись Людмилы Дербиной все-таки рекомендовать после доработки Северо-Западному книжному издательству.

Но не суждено было этой второй книге выйти в свет. Убийство Дербиной Николая Рубцова потрясло не только Вологду, но и Россию.

ДВА ПОРТРЕТА

Изо дня в день на всех нас смотрит Николай Рубцов в комнате вологодской писательской организации. Здесь он в одном ряду с Константином Батюшковым, Павлом Засодимским, Николаем Клюевым, Александром Яшиным и Сергеем Орловым. Эта портретная галерея — замечательная редкость русской графики. Сделал ее Юрий Воронов, щедрый талантом и бескорыстием художник. Дивно то, что он, по молодости не заставший Рубцова, так хорошо изобразил поэта, словно бывал его закадычным приятелем. Я спросил, как он сумел угадать единственно верное выражение его лица, какое не всегда запечатлевает даже фотография? — «А все светотени лица увидел я в рубцовой поэзии», — ответил Юрий Воронов. Да, он уловил тот самый поворот головы, тот самый прищур глаз, такой нахмур мысли, что поэт из ночной тьмы Вологды вновь предстал живым и близким перед нами. Рубцов возник из верно угаданного мига, из оза-

ренности своего творчества, из сиянья великого Софийского собора...

Изо дня в день смотрит Николай Рубцов и в моем домашнем кабинете. Смотрит из угла, где стоит письменный стол, следит, чем я занимаюсь. Его взгляд порой смущает, я даже забываю, что это взгляд с портрета, написанного Владиславом Сергеевым. Настолько он глубок и участлив, что, бывает, не выдержу такой зоркости и склонюсь поскорей над бумагами, будто забуду о нем. И если пишется, то и рубцовский взгляд летит поверх меня, а если не ладится — вскину голову и наткнусь на его страдальческий укор...

Таинственен штрих обыкновенного карандаша! У чудодея Владислава Сергеева он расталкивает мглу забвения и заново оживляет родные нам лица и виды природы, и образы милой родины. Вот и в рубцовском портрете, подаренном мне, художник настолько провидчески обнажает свои графические линии, что они как бы совпадают с линиями самой судьбы Николая Михайловича Рубцова. А загадочностью своего штриха, похожего на зыбкий туманец, мастер выявляет то грустную улыбку поэта, то его прощальный поклон, то намек на незнаемую нами и никогда уже непостижимую до конца тайну его жизни и смерти.

С Яковом Ухсаем познакомил меня дед Кельбук. Еще задолго до встречи в Чебоксарах дед Кельбук оказался в Вологде и так красно да жарко стал рассказывать о своей жизни, что сразу вспомнил я и своего деда, очень похожего на него, тоже многострадального и справедливого крестьянина. Кельбук, откровенничая передо мной, прижимал локтем свою бороду, чтобы ветер не мотал ее по плечам, и взглядывал на меня из-под кустистых бровей черными глазами, светившимися как черемуховые ягоды, словно пытал, понимаю ли я его мужицкую исповедь.

Вот с чего началось мое знакомство с Ухсаем — с его поэмы «Дед Кельбук», изданной отдельной книгой в Москве. Помню, только ее открыл — и сразу попал в зримый и многоголосый мир народного бытия, полный сокровенных страстей и самобытных характеров, трогательных обрядов и свежего дыхания земли. Я подивился живости и красочности слов даже в переводе и подумал только: насколько же, видимо, сочен и ярок язык Ухся в самом оригинале, в своей природной сущности! Уже потом, позднее, я услышал известное признание, исполненное скромного достоинства, что «чувашки сохранили сто тысяч слов, сто тысяч песен и сто тысяч вышивок». Но тогда, когда впервые держал книгу Ухся, я, мало что знавший о Чувашии, уже дышал ее ветром, слышал ее народ и любовался ее красотой. Вот что значит истинная поэзия в сближении и породнении народов!

Погожей осенью 1976 года с делегацией Союза писателей приехал я в Чувашскую АССР на Дни советской литературы. Я впервые увидел Якова Гавриловича в вестибюле чебоксарской гостиницы. Он шел к нам, заполнявшим гостевые бланки, коренастый, смуглолицый, зоркий. Шел прихрамывая, поэтому казалось, что он, покачиваясь, раздвигает собою плотное многолюдство. Стали знакомиться — я ощутил крепкое мужицкое рукопожатие. По рукопожатию сразу поймешь, что за человек перед тобой. Когда я назвался, он осветился дружеским расположением. Оказалось, он читал мою поэму «Черный хлеб» в журнале «Наш совре-

менник» и подборки стихов в «Литературной России». А я ему, конечно,— сразу про деда Кельбука. Говорю, мол, ваш Кельбук как взял меня за душу, так и не отпускает. Яков Гаврилович смотрел в меня (именно так!) с добрым лукавством. «И Твардовскому Кельбук по душе»,— сказал он как бы вскользь, мимолетно, и мне понравилось, что в глуховатом голосе не послышалось горделивого намека на такой авторитет. И мне с Ухсаем вдруг стало тепло и хорошо, словно век жили в родстве, а встретиться удосужились только сейчас.

Все эти дни мы были рядом. Нас тянуло друг к другу. Я, будучи значительно моложе его, горячился в своих порывах и высказываниях, а он больше слушал, словно в глубине своей сущности, прикрытой внимательной улыбкой, поверял мои суждения мерой той истины, которую уже познал и выстрадал. Тогда в Чебоксарах я убедился воочию, что звание народного поэта Чувашии Яков Гаврилович Ухсай выражает собою истинно. Если бы даже и не существовало в законодательстве республики этого официального звания, Ухсай все равно почитался бы в народе, как поэт свой, кровный, национальный.

Мы говорили с ним о многом. И, в частности, об этом — о национальном достоинстве каждого из нас в своем деле, а особенно в литературе, искусстве, вообще в культуре. Хорошо владея русским языком и неся в себе могучий талант, он мог бы творить поэзию и по-русски, чтобы не мучиться с переводчиками, однако никогда не позволял себе такой измены. Он с болью признавался мне: «Писателями считаются жалкие людишки, презирающие родной язык. Позор! Ты живешь в родной русской стихии. Я родился и вырос на Урале, живу в Чувашии из-за любви к своему народу». Вот что кипело в его душе — забота о достоинстве чувашей среди других народов страны! Он искал суровую правду жизни и на мир смтрел непредвзято. Истины бытия, постигнутые упорным трудом и горьким опытом пережитого, он мастерски превращал в поэзию своего народа.

Тогда вся наша делегация возлагала цветы к памятнику Константину Иванову — основоположнику чувашской литературы. Я вновь оказался рядом с Ухсаем. Солнце золотило юношескую статью поэта, устремленного с пьедестала в теплую синеву Чувашии. Пылали

клумбы гвоздик, слышались многоязычные слова, и дружба торжествовала в нас чисто и распахнуто. На этом месте Яков Гаврилович надписал мне на память прекрасно изданную поэму Константина Иванова «Нарспи». И не без гордости признался, подавая книгу: «Он из моего села, из Слакбаша, по родству мне». Я обрадованно изумился такой близкой наследственности. Да, гены талантливости не меркнут во времени, они передаются из поколения в поколение — тем жив и славен всякий народ.

Когда мы поехали по Чувашии, нас просторно и зазывно втягивала в себя холмистая красота здешних мест. Особенно поразили меня хмельники. У моего деревенского дома за Вологдой тоже вьется хмель, но на севере он так застенчив и скромн, что прячется в черемухах. А здесь великое буйство золотистых кистей на поднебесных шестах, опьяняющая ярость позднего лета — голова кругом! А синие речки и запертые в оврагах заводи во всплесках рыбы! А деревенские посадки, полные народа! А узорчатые сарафаны и пояса встречавших нас хлебом-солью да ржаным суслом очаровательных чувашек!

Мне, приехавшему сюда из русских опустевших деревень, дивно было, что кругом столько сельского люда — молодого, крепкого, словно я попал в свои детские годы, когда и наши посадки кипели извечным крестьянским оживлением, звенели гармошками и шумной свободой вечеров. И мысли, тревожные мысли опять всколыхнули меня. В клубах, где выступали, не было свободных мест — люди стояли в проходах, теснились на подоконниках. Как чутко воспринимали они поэзию, рожденную в разных краях нашей страны и звучавшую в те вечера у них в клубах! Мне приятно вспомнить, что главы из поэмы «Черный хлеб», которые я читал, встречали здесь так одобрительно-отзывно, словно написаны об их собственной жизни.

Вот там-то, в глубине Чувашии, я зримо и соприкоснулся с истоками таланта Якова Ухсая — с доверчивым радушием народа; с его языком, гортанно раскатистым, в котором вспыхивают звуки, точно искры; с народной близостью к земле, к природе, к небу, как будничному соседству с живым духом вечности. Во всем этом, кроме языка, непривычного для моего слуха, было так много родственного, сокровенного, изначального, что

в чувашском окружении я чувствовал себя своим человеком.

Уезжая домой, я пригласил Ухсая навестить Вологду летом, когда над березовой зеленью высоко и празднично плывут у нас золотые и голубые купола белых соборов и храмов. Он охотно согласился. Но шло время, поездка в Вологду все откладывалась. Мы встречались в Москве на писательских съездах и пленумах...

Проницательный был он человек, смотревший, не отводя глаз, в самую суть времени, как бы ни была она неприглядна и горька. Это шло от силы, от совести, от мужества, заложенного в нем...

В последний раз мы встретились незадолго до его кончины опять-таки в Москве, в тесном коридоре издательства «Современник». О, если бы знать, что это последняя наша встреча — бросить бы все свои издательские заботы да сесть бы рядом, как на исповеди! Суета нас обманывает своей будничной значительностью, застилает нам глаза, и мы лишь тогда горько спохватываемся, когда навек теряем друзей. Вот и я теперь с тяжелым сердцем оглядываюсь и вижу, как по длинному, узкому коридору издательства «Современник» уходит от меня Яков Гаврилович Ухсай, опираясь на тросточку, в уличный шум Москвы, в российские дали, в вечность. Остался у меня лишь его дарственный двухтомник да сохранились письма разных лет.

Прежде чем привести выдержки из них, хочу еще раз отметить особенность наших взаимоотношений, которая отразилась и в письмах, — это откровенный и непринужденный тон, обогретый дружескими пиитизмами, самоиронией и легким юморком. Здесь — его голос.

«2 дек. 1976 г.

Дорогой Саша, в моей жизни случилось совсем неладное, поэтому и тебе не писал, и не мог приехать в Вологду поговорить с Астафьевым и Беловым. А очень хотелось!

Как учат нас: чтобы вторгаться в жизнь, я снова поехал в Башкирию. На Волге было тепло, поэтому прибыл я, чтобы совершить творческий подвиг, в плаще. Действительно вторгнулся в жизнь — уборка хлеба шла под снегом. С температурой вылетел в Чебоксары... Болел сильно, казалось мне, что умру в самое удобное время, когда исполнилось 65 лет, но выжил...»

«22 янв. 1977 г.

...Внимательно прочитал рассказ Василия Ивановича (Белова — А. Р.) в первом номере журнала «Наш современник», снова обрадовался счастливой встрече с талантливым человеком... Вспомнил тебя еще раз, когда в этом же номере встретил твою фамилию среди фамилий честных людей... Оказывается, вышла в Вологде коллективная книга «От земли» и имеется в ней твой сердобольный очерк.

После встречи с тобой я заинтересовался Вологдой, весьма интересной землей русской. Прочитал истинно хорошую статью Вити (Виктора Коротаяева — А. Р.) о Рубцове и рубцовской книге, составленной самим Витей, твоим добрым другом. Витя поступил очень хорошо — не примазался к имени талантливого человека. Как это привыкли писать воспоминания ради того, чтобы числиться в друзьях великих и знаменитых покойников...

Василию Ивановичу кланяйся и хвали за хороший рассказ. Вообще весь этот номер журнала трагический, как плач об умирающей деревне. Стихи плохие, но среди них запомнились мне строки:

*Спой мне, мама, песню древнюю,
В новых песнях мало чувств...*

Пришли мне книгу «От жизни». Я собираюсь побыть у вас в Вологде в конце февраля, хочется мне видеть вашу талантливую землю. Встал, как всегда, в 4 часа утра и решил напомнить тебе о своем существовании».

«1 февр. 1977 г.

...Я после смерти Твардовского, который стал океанским пароходом... искал нужный мне поэтический мир и нашел его не в Москве, а в Вологде. Ты меня не хвали, как старого петуха, и не будь кукушкой. Ты и без моей хвалыбы отменно хороший человек, значит, и поэт.

У вас в Вологде живут интересные люди и светятся они в литературе, я бы не сказал, как Сириусы, а просто как люди... Очень рад я своей встрече с Беловым в Москве. Он мне интересен и люб — кочующий дуб по вологодской земле, и жалко мне, что режут его ветки...

Ты не советуешь приехать в Вологду в зимний холод. Я ведь хожу в шубе, и в крови моей много уральского железа. Я своим дыханием горячий... Не торопись с переводом (я пытался перевести несколько его стихо-

творений.— А. Р.), пиши сам, зайди в баню и хлещи себя веником, а потом работай. Я не пишу за столом, тружусь на ногах...»

«3 апр. 1977 г.

Сегодня в каких-то смутных думах о поэзии сидел, сидел, вспомнил тебя и других вологодских, просмотрел твой сборник и нашел в нем строки:

*Среди снегов ее колени
Розово обнажены...*

*Жаром тела, зноем ситца
Разность лет спалила вдруг...*

*Прошптала: бабы рядом,
Отпусти, потом приду...*

*Кажется, что это разыгрались
Яблоки, что бабы спелых лет...*

Поскольку ты, видимо, занят этим, трудно, конечно, ждать от тебя весточки. Живу, не болею».

«12 апр. 1977 г.

...В пору своей зрелости тебе нужно писать самому, создать то, что по душе. Тебе только и работать, написать еще что-то веское, издать его, плясать под мотив гармошки Василия Ивановича. Имея таких друзей, можно и в Вологде стать Вергилием, чувствовать себя, как в легендарном Риме... Когда-то я был работоспособным, писал ежедневно, по 18 часов в сутки. Создал три романа в стихах по 10 000 строк каждый. И сейчас у меня много сил, пишу и бросаю в архив, оставляю в черновиках, не переписываю...»

«16 янв. 1978 г.

...Я отдыхаю в санатории, рядом в Люберцах, и там прочитал среди всей стихотворной чепухи твоё стихотворение, где ты советуешь «государствовать» (стихи «Здравствуйте!» — А. Р.). Мне понравилось твоё серьёзное отношение к поэтической службе... Заливайся соловьем, иногда чирикай и воробьем — потом будет поздно. Писать спокойно, как Фет и Тютчев до старости, у тебя нет имения, нет салона, нет крепостных, кроме одной души — жены. В общем, ты однодворец. Ты меня не называй мудрецом. Сейчас умным нельзя быть, надо жить всем, как писано, что сказано в постановлениях...»

«8 янв. 1983 г.

...Не писал тебе, хотелось встретиться с тобой, умным другом, в Москве.

Твоя книга «Версты раздумий» стала для меня открытием русского северного мира. Когда сейчас пишу это письмишко, она лежит на столе. О людях, о которых ты пишешь, есть у меня свои воспоминания и мысли. С теми людьми я встречался почти со всеми, кроме, пожалуй, Батюшкова. С подлинным вологжанином Николаем Ключевым познакомил меня в 1932 году Павел Васильев — поэт интересный. Знал я и Анатолия Пестюхина, будущего Ольхона. Он сперва выпустил книгу стихов «Тундра», где хвалился, что у него жена эскимоска, называл ее самоедкой. Был знаком я с Иваном Евдокимовым, истинным русским человеком, автором романа «Колокола», и весьма добротной книги о художнике Сурикове (вышла она в серии «Жизнь замечательных людей»).

В прошлую осень работал по-дьявольски, написал в течение трех месяцев четыре поэмы — превратил чебоксарскую зиму в болдинскую.

«7 авг. 1983 г.

...Я очень рад, что у тебя было много добрых друзей. И сейчас ты счастлив. Один Василий Иванович заменяет твоих ушедших друзей. Великолепный, сердечный, умный, щедро талантливый человек!

Я всегда искал друзей умнее себя. Были такие: Твардовский, Исаковский, Рыленков, Корней и Николай Чуковские, Александр Макаров, Владимир Туркин. Все ушли в тот свет...»

«21 авг. 1983 г.

...В самом начале мая, в тютческую пору весны, предпринял поездку в Ульяновск, где я в 1938-1939 годах преподавал в педучилище. В этой деловой поездке встречался с руководителями Ленинского мемориала, находил не забытые дома, которые будут реставрироваться в течение десяти лет. Хотелось мне встретиться с давним другом — Николаем Благовым. Он перекинулся с Саратовом, стал редактором «Волги».

Мне, любителю пешего хода, поездка обошлась худо. Рана военных времен открылась в левой ноге. Летом лежал в больнице, хромал в Чебоксарах, жил безвыездно.

Если встретишь Василия Ивановича, земной поклон ему. У меня, к моей радости, есть фотоснимок, где мы вместе. Желаю тебе здоровья, здоровья, еще здоровья. Сердечно твой Я. Ухсай».

Вот и все... Разве можно забыть этот голос? Нет, не забыть его, пока жив. Любя Якова Гавриловича Ухсая как человека и высоко ставя его как поэта, я в самом начале нашей дружбы, осенью 1976 года, написал стихотворение, посвященное ему.

ПЕРЕКЛИЧКА

*Брожу в вологодских лесах
(О свет наших пашенных родин!)
И вижу, как Яков Ухсай
В чувашских орешниках бродит.
В обличье крестьянского его
Суровая нежность поэта —
И в мудрых глазах оттого
Так много лукавого света.
Он жизнью продут, прокален,
А жизнь — это крылья запева,
И в жизни не горбится он —
Из крепкого вытесан древа...
Я помню прощальную грусть.
Сказал он, годами постарше:
«Я смерти и той не боюсь,
Лишь в слове извериться страшно».
Он дружески руку пожал.
И словно в лугу от ромашек,
Сиял чебоксарский вокзал
От вышивок и от чувашек.
И вот в вологодских лесах
Брожу я по ясной погоде
И вижу, как Яков Ухсай
В чувашских орешниках бродит.
Мы порознь, а ищем одно —
Мы ищем надежное слово,
Чтоб было оно как зерно.
Ведь столько набито половы!
И в улицах, пашнях, лесах
Мы бродим упорно и долго...
«Нашел ли ты, Яков Ухсай?»
«Нашел!» — донеслось из-за Волги.*

И СВЕТА ЖИВОТВОРИЛИ!..

Наставник юношества

Н. И. Янусов

Мы — всяк по себе и все в общем — думаем, что живем своим умом. Это верно лишь отчасти. Даже самые гордые, если углубятся в свою память, непременно «увидят» тех, перед кем гордость их смиренно потупится. Трудно это понять, что в нас — собственно нажитое, а что — «прихваченное» от других. Да и не думаем мы об этом, ибо давно живем умом, навеянным нам со стороны. Так «ровней» идти вперед, ибо все до единого у нас «одинаково умные». Это несчастье отчетливо видно теперь, когда так трагически не хватает людей с государственным умом и провидческим взором. Словно все поголовно обезумели, все кричат, но в крике нет разума, потому что он не нажит, и властвует над людьми чужая воля.

Горестно задумываясь об этом, я нередко оглядываюсь в свою юность. Как, видимо, и каждый из нас. Там, в юности, ответы на многие наши счастья и несчастья. Там пребывают люди, запавшие нам в память. Запасть в память, значит озарить молодую жизнь смыслом, разбудить в ней духовную сущность и удлинить в мире добрые дела.

Вот именно так глубоко живет в моей памяти с конца сороковых годов Николай Иринархович Янусов — преподаватель литературы и русского языка Вологодского педагогического училища. Он был из тех людей, о которых сама мысль — уже радость. А в имени и отчестве его — Николай Иринархович — слышался звон древнего благочестия и забытого нами подвижничества. И даже в облике его задумчиво-добром сказывалось и замечалось жизненное его предназначение.

Я спрашивал многих людей, близко знавших, в каком году скончался Николай Иринархович? И люди смущались оттого, что запомнили год его кончины, смущались так, словно дивились про себя, что его уже и вправду нет с нами. И сам я с таким неожиданным вопросом, видимо, выглядел как-то нелепо, ибо чувствовал, что в их душевном мире, как и в моем, самое

имя Николая Иринарховича стало теплом и светом еще с молодости, то есть обрело в нас свое присутствие на всю жизнь. А в таком случае, пожалуй, простительно и запечатлеть дату кончины, как будто вовсе и не случившуюся еще. Однако миновало уже тридцать с лишним лет с тех пор, как не стало Николая Иринарховича Янусова.

Но стоит прикрыть глаза да позабыться от суеты — и минувшее вновь рядом. И тепло его — вновь в тебе. Не стынет оно, не слабеет, а присмирееет в уголке твоей души и ждет лишь касания памяти, чтобы вновь озариться еще трогательней и милее, чем прежде. И дивно это, в какой близкой яви предстает и теперь для многих из нас Николай Иринархович Янусов. Будто бы он только что вошел к нам, уместил на столике старинный свой, уже не раз штопанный портфель с нашими тетрадками и, не обращая внимания на шум и возню в классе, молча стоит перед нами и спокойно протирает платком запотевшие очки. Потом, не надевая, относит их на полвзмаха руки и осматривает, хорошо ли очки протерты. И мы смущенно спохватываемся и замолкаем, заметив, что Николай Иринархович не столько очки осматривает, сколько уже вглядывается в каждого из нас. Из-под белесых бровей, затененных высоким и просторным лбом, шурились в нас его глаза, казалось, слишком маленькие и слишком добрые для такого крупного и мужественного лица. Он молча ждал, когда же мы уgomонимся, и терпение его становилось тишиной наших душ.

В Николае Иринарховиче, статном выправкой и ростом и застегнутым в неизменную темно-синюю тужурку с нагрудными и боковыми карманами, сквозило благородство и достоинство своего учительствования. Он да еще математик Иван Андреевич Румянцев, одинаковых с ним лет и такой же истовости в своем предмете, заметно выделялись среди молодых преподавателей прямо-таки государственной одержимостью в подготовке из нас настоящих учителей. Для них уроки являлись не просто «рабочими часами», а горением разума и души, делом всей жизни, отдаваемой народному просвещению как служению Родине. В Николае Иринарховиче и Иване Андреевиче сохранялась еще дооктябрьская русская интеллигентность и основательность уче-

ности, не позволявшая даже в самых стесненных обстоятельствах поступаться совестью и честью.

Но мы, тогдашние ученики, — боже мой, какая уже даль! — ничего-то-ничегошеньки и не знали о своих учителях, а уж как о них судили да рядили заглазно, и всякий приноравливал учителей к своему нраву и умишку: «нравится — не нравится»... Мне, к примеру, «не нравился» Иван Андреевич, который, бывало, вызовет к доске решать продиктованную им задачку, а я не знаю, как и подступить к ней, холодею с мелом в руке. Слышу подсказки доброхотов, но разве помогут их шепотки, коли в уме-то у меня лишь испуг от голых цифр. Иван Андреевич дополнительно вложит за очки, на сухую свою переносицу, еще старинное пенсне для зоркости и повернется ко мне вместе со стулом, чтобы тщательно проверить решение задачки, но, увы, видит чистую доску и меня, стоящего в столбняке. Он с минуту задумчиво молчит, будто горюет, а потом, как бывало не раз, безнадежно махнет рукой в мою сторону...

Вот и «не нравился» он мне лишь потому, что сам я оказался несмышленным в его любимой науке. Ему было жаль таких учеников, но никого не обидел он укором или дурным словом. Рукой, конечно, мог махнуть от огорчения за напрасные свои старания вложить в неприступные головы мудрость и красоту математики. Но не более того. И неизвестно было, кто кого больше огорчал: Иван Андреевич нас или мы Ивана Андреевича — истового подвижника своего дела?..

А вот Николай Иринархович «нравился» всем. Но и о нем ничего мы не ведали. Лишь собираясь писать что-то воспоминание, навел в педучилище кое-какие справки о нем. И обожгло душу укором и восторгом одновременно. Есть о чем поразмышлять, вглядываясь в канцелярские сведения. Родился Николай Иринархович Янусов в январе 1881 года в Кадниковском уезде, в селе Ратино — выходит, всего в сорока пяти верстах от нашей Корбанги, откуда сразу после войны, осенью 1945 года, из деревень Воробьево, Капустино и Петряево заявили в Вологодское педучилище мы — четверо дружков: Коля Паутов, Саша Салтыков, Ваня Сахаров и я. И увидели, значит, Николая Иринарховича, когда было ему уже 64 года. А проучившись у него трехлетие, так и не догадались, вахлаки, узнать, что он — наш земляк. Только радовались урокам и доброте

его, весело называвшего нас то корбангскими молод-
цами, то корбангскими женихами.

И лишь теперь, спустя столько лет, задумался я над истоками его просвещенной и нравственной силы. Он в 1905 году окончил Петербургскую духовную академию по отделению российской словесности и древних языков. Одновременно с академией завершил попутно учебу в Петербургском археологическом институте. Образование — высочайшее по сравнению с нашим «высшим». И где только ни трудился Николай Иринархович: в Вятке в духовной семинарии преподавал латинский и греческий языки, а в Вольске вел гимназические курсы русского языка и литературы. В 1916 году оттуда, из Саратовской губернии, был избран делегатом на I Всероссийский съезд словесников и участвовал в работах по реформе русского правописания. А с 1922 года — в родной Вологде, в школах разных ступеней, а с 1930 года — в педагогическом техникуме. И мой отец учился здесь заочно, с 1935 года приезжал сюда на летние сессии и сдавал экзамены по русскому языку и литературе наверняка Николаю Иринарховичу, да об этом уже никого не спросишь...

Вглядываясь в старую фотографию, словно в окно своей юности, я лишь теперь понимаю тайну влияния на нас этого крупнолицего, с пытливым прищуром и сдержанной улыбкой пожилого человека. Самое замечательное в его преподавании таилось в том, что знания, передаваемые им, сочетали в себе не только новизну для ума, но и радость для молодой души. Для него был тесен учебник и скудна сама программа обучения, словно вытоптанные загородки в свежих полях русской словесности. И он так ловко раздвигал, а нередко и ломал эти загородки, что, заслужившись Николая Иринарховича, случалось, даже инспектора облоно лишь в конце уроков соображали, что побывали в совсем не программных и не предусмотренных учебником литературных далях и временах, и было так поучительно, так интересно там, что прилюдно высказывать свои замечания уже не решались. Похоже, что Николай Иринархович рисковал в то бдительное время, а, может, и не думал вовсе, что рискует, потому что внушаемое им нравственное благо родной литературы было превыше всякой оглядки. Он молодец на уроках, а книга в его вскинутой руке и впрямь светилась,

а голос пламенел в нас, притихших и зачарованных.

В нем, с виду мужиковатом, сквозили как бы три сущности: учительская — проповедническая — артистическая. И связуясь воедино, светились они в Николае Иринарховиче благородством подвижника на ниве просвещения. Да, на ниве народной!.. И образ этот старинный, и сам слог высокий — как раз вровень с судьбой и трудами Николая Иринарховича.

Ныне уже и не говорится так: «на ниве просвещения». А если кто-нибудь в юбилейном азарте все-таки вспомнит да выкрикнет это выражение, то смущение затенит лица и фальшь отзовется в нас горьким укором. Вот ведь как низко уронен нынче народный учитель! Потому и нива полевая у нас исчахла, что нива просвещения исгублена. А Николай Иринархович всю жизнь свою на этой ниве «сеял разумное, доброе, вечное». В нем горела Истина и жила Правда. Да, именно так!

Я помню случай, поразивший меня, как он поправлял авторов учебника по литературе. В том учебнике была глава: «Второстепенные русские поэты», напечатанная, разумеется, униженным мелким шрифтом. Кого же учебник называл второстепенными? Тютчева и Фета!.. Николай Иринархович прямо-таки горевал из-за такой лжи и говорил нам: «Не верьте сказанному, ребята! Тютчев и Фет — великие русские поэты!». И, светлея лицом, он взмахивал рукой:

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.*

И эти строки, произносимые им громко и величаво, пронзали тишину класса и горячо ложились в наши души. Вот миг могущества поэзии!

А потом — Фет («Из дебрей тумана»):

*...Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.*

А потом — Майков («Емшан»):

*...Ему ты песен наших спой —
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернется!..*



Дионисий в Феропонтове.
Гравюра художников Г. и Н. Бурмагиных



Алексей Ганин и Сергей Есенин в Вологде в августе 1917 года



Александр Яшин с женой Златой Константиновной
в 1949 году после получения Государственной премии



Кремль. Георгиевский зал. 1965 год. Второй съезд писателей России. В кругу северного землячества:
Александр Романов, Валерий Дементьев, Александр Яшин, Виктор Гура, Юрий Арбат, Василий Белов,
Сергей Викулов, Федор Абрамов, Василий Соколов



На Бобришном угоре у надгробия А. Я. Яшина.
В первом ряду: поэт Николай Тряпкин, В. А. Ардабьев,
Александр Романов, Злата Константиновна Яшина.
Июль 1981 года



Поэтесса Новелла Матвеева



На Высших литературных курсах в Москве.
Поэт Ярослав Смеляков, дважды лауреат
Государственных премий, руководитель творческого семинара

В центре — литературовед и критик
Александр Николаевич Макаров.
Слева — поэт Василий Журавлев-Печорский





Орлов на поэтическом вечере в Вологде в 1975 году



Федор Абрамов на родине



Поэт Николай Алексеевич Клюев



Николай Рубцов. 1969 год



В. Коротаев, А. Романов, В. Белов разбирают архив Н. Рубцова. 1971 год



Разговор с художником Юрием Вороновым о его работе над портретом Н. М. Рубцова



По окончании Вологодского педучилища в 1948 году. Фрагмент коллективной фотографии.

В центре нижнего ряда Николай Иринархович Янусов.

В верхнем ряду — выпускник 1948 года Александр Романов

А потом, конечно, Батюшков («Переход через Рейн»):

*...Быть может, он вспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Неволью к сердцу прижимает...*

И стихи эти звучали в старом вологодском доме, где жил до конца своих дней сам поэт Константин Николаевич Батюшков и где для чутких натур, может, слышимы шаги его и поныне. Поэтому и ощущалась здесь в каждом уголке и в подоконнике близость поэзии, как неизреченной еще, но уже шемящей яви. Мы, взволнованные, замирали...

Николай Иринархович, прочитав полностью эти столь разные и столь единные стихи, опускался на стул. В ту минуту он был равным соучастником и сподвижником самих поэтов, будто бы только что отошел от них и вернулся из девятнадцатого века в наше время, в наш класс, и в радостной усталости сидит на стуле и обтирает платком свое лицо. Да, он убедил нас! Он прав: этих родных поэтов надо знать и чтить наравне с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым... И мы любовались им, своим отважным Николаем Иринарховичем.

Да, учителя русской литературы — люди счастливые: в повседневных трудах, как живые соратники, обступают их гении и таланты родной земли. Однако счастье это дается не всякому, потому что оно требует от самих учителей духового соответствия столь высокому окружению. Николай Иринархович Янусов жил в нем — как свой человек.

И еще вспоминается мне актовый зал, румяно-девичий. В окнах солнце, капель, надежды. А на сцене — чудо весны — «Снегурочка» Островского. И хотя не постановка — лишь композиция для выразительного чтения, но как слушает зал! Николай Иринархович — царь Берендей, а знакомые девушки — Купава да Снегурочка. И грима нету, а какие речи, какие страсти! И впрямь заповедная страна берендеев, где людьми правят лишь любовь да совесть. И в зале страдаем мы от слезного голоса Купавы:

*Батюшко, светлый царь,
Клятвы-то слушать ли,
В совесть-то верить ли,
Али уж в людях-то
Вовсе извериться?*

И отвечает Берендей, многомудрый в своем просто-душии, что людям верить надо, что свет мирской держится только правдой. Ободренная Купава и рассказывает царю всю горечь свою от измены Мизгирия ради разлучницы Снегурочки. И трогает эта исповедь потому, что Купава взыскует в царе не кары на обидчика, а лишь защиты любви своей от унижения. И перемолвки ее частью с Берендеем: «Сказывать, светлый царь?» — «Сказывай, слушаю» — еще и потому нас волнуют, что многие в зале знают втайне, что эта красивая девушка в роли Купавы и вправду страдает от измены, что обманута она заехавшим в Вологду проходцем.

Может, и Николаю Иринарховичу кто-то уже намекнул об этом случае, хотя едва ли такое могло быть, однако по столь горькому переживанию своей ученицы он, думаю, все же догадался о причине ее истинного смятения. И голосом озабоченного царя Берендея внушал душевную укрепу именно ей, своей юной современной, оказавшейся на месте, может, уже тысячелетней славянской Купавы. И весь зал потому-то так заворожено и замирал от речей нехитрых да от горя правдивого. И голос тот страстный, голос будто бы уже и не Берендея, а самого Николая Иринарховича тревожит душу и поныне...

*Горе-то слышится,
Правда-то видится,
Толку-то, милая,
Мало-малехонько...*

Да это же — и про нас, нынешних, про бестолковую жизнь нашу, про остуду душевную, про утрату в нас возвышенной любви и чести...

Теперь-то по прошествии стольких лет я четко вижу, что главное, что он делал — это будил в учениках творчество жизни. Во всяком ученике искал он искру божью, и если искра эта редкая не замечалась его наметанным глазом, то уж непременно обнаруживалась какая-нибудь другая особенная в юном человеке. И всем было хорошо вокруг него потому, что каждый из нас был верно угадан им с лучшей своей стороны. Это и есть зоркость ума и сила доброты! Как не хватает нам ныне такой зоркости — неужели и вправду так оскудели мы и унизились своим умом? Как прозябли мы в долгой

бездуховности — неужели выстыла в нас и сила души?..

Не забыть мне еще, как в 1947 году вся Вологда готовилась праздновать свое восьмисотлетие. Сентябрьская синева пылала над нами золотом осени и кумачом великой истории. И жилось-то нам после войны голодно да холодно, однако педучилище звенело от радости жизни.

Николай Иринархович затеял выпустить стенгазету, да такую, чтобы простерлась она на весь коридор белой лебединой стаей. И загорелись у нас глаза, и зашумели классы. Кто на что горазд — все на показ Николаю Иринарховичу: заметки, рисунки, стихи, рассказы, красивые заставки с древне-русскими буквицами. На заданные им темы писали о Вологде сочинения. Я исписал стихами целую тетрадь. Даже сам удивился, как это удалось. Но больше удивился Николай Иринархович. Он, держа эту тетрадку, позвал меня к себе домой для особого разговора.

И вот я раз и два обхожу этот домик полукаменный, полудеревянный, все робею, но, наконец, стучусь к учителю. Он в просторной белой рубаше, не похожий на себя без привычной тужурки, но ласковый, как дедушка. Усаживает меня, растрепанного, напротив себя за столик с кусочками хлеба и морковным чаем с сахаром. И угощает, и раскрывает мою тетрадку, и я замечаю в ней, на отворотах страниц, его красные пометки. Он называет это сочинение опытом исторической поэмы о Вологде, и мне становится жарко уже не от чая. О, дни юности!..

Сорок лет спустя, уже седым, написал я лирическую поэму «Дом Батюшкова» и посвятил памяти незабвенного Николая Иринарховича. Катнул слова в свою юность, да не все они, кажется, докатились до нее. А уж как хотелось озарить их вновь давними зорями, возжечь их той ранней любовью и прикоснуться ими к вечной тайне Батюшкова.

*О, как поэзия сильна!
Лишь безраздельно ей доверься,
В нужде, в беде она одна
Спасает исповедью сердца.
Я приносил с базара жмых
И грыз его, что камень черный,
А получался светлый стих,*

*Восходом утра золоченый.
Я бегал в домик на совет,
В котором жил учитель старый.
«А ты, похоже что,— поэт» —
Он ободрял и знаки ставил...*

Учительствовал Николай Иринархович с 1905 по 1955 год. Полстолетия — и какого? Революции, войны, разверстая земля под ногами... И по всем этим пепелищам прошел он, спасая уже в учениках заветы великой литературы и свет замолкшего Отечества. И не отступился от подвига своего до самой кончины в 1956 году. Не отдохнул и а пенсии. Не успел...

Ничего не нажил он, русский учитель, кроме доброго имени да изменчивой памяти о себе. И горько от такой малости благодарения за столь обширные труды. И утешно только при мысли, что нравственный свет Николая Иринарховича, как благовеличие его духа, пребывающего среди нас, когда-нибудь отзовется и повторится в потомках.

Такая же самосожженческая суровость сквозила в те годы и в Кипрееве Поликте Алексеевиче — директоре педучилища. Завидя его, зоркого, идущего сутуло по коридору, мы невольно приосанивались. Мы знали его побыть, то есть привычку жизни, — спать мало, а делать много. В любой момент он мог появиться в классе или в общежитии, или на частной квартире, где проживали ученики. Строг был, но участлив...

Да, учителя наши — люди сороковых и пятидесятих годов — возвышались над тяжелой будничностью. Они были светлолицыми. Потому и поныне так зримы воочию сквозь тяжесть уже иных лет. Словно бы все еще сопутствуют нам, но мы, усталые от житейских передряг, в суетных страстях своих легко теряем их из вида. Их лица уже давно заслонены в нас лицами новых знакомств и дружб. И мы сами давно утвердились в своих делах, обрели свои убеждения и опоры. И кажется, что свои жизни мы творим сами. Но в иные горькие часы, бывает, растеряемся, пошатнемся в убеждениях или почуем холод лет и невольно оглянемся назад. А там — они, наши учителя и наставники. Все еще вглядываются в нас. Они жили еще тяжелее, чем мы, а были крепче нас духом, а, может, и мудрее. И верили в нас, верили!..

Вот почему все чаще я шепчу про себя замечательное по краткости стихотворение Василия Андреевича Жуковского «Воспоминание».

*О милых спутниках, которые наш свет
Своим соупутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.*

ПУТЕМ ЦАРЯ БЕРЕНДЕЯ

Мастер сцены Л. С. Державин

Встречались мы редко, но всякий раз со свежей радостью. В уличном ли потоке, на собрании ли каком из множества лиц вдруг воссияет его такое зоркое и умное лицо. Еще мы в толкучке, еще не дотянулись до рукопожатия, а моей души уже коснулась веселая голубизна его взгляда. И я невольно приподнимаюсь сам над собой и приосаниваюсь...

Умные лица на Руси не редкость и поныне, да только теперь в них затаен холод расчета или сумрак ненависти. Столкнешься с таким взглядом — ознобом прошибет, и невольно оглянешься по сторонам: да в своей ли земле ты, в России ли?.. И в этом потоке хищных личин — вдруг, как утешение, — Леонид Сергеевич Державин! Заслуженный артист России, человек талантливейший!.. И сразу вокруг нас добрее жизнь...

Я не театрал, но спектакли, в которых он блистал, мы с женой стремились посмотреть. Он дивил всех живостью и тайной перевоплощения. Значит, как глубоко постигал всю бездну — свет и мрак — людских душ! Зрители, вглядываясь в актерское лицедейство, замирали от остроты житейских столкновений, хохотали над плутовством и глупостью, радовались при торжестве добра над злом... Но узнавали ли самих себя в такой замечательной актерской игре? Задумывались ли над своей повседневной жизнью?

Я как-то спросил об этом Леонида Сергеевича. Он испытующе прищурился: мол, неужели и впрямь не понимаете, что жизнь сама-то — это извечный и окаянный театр? Но ответил по-другому. Это я заметил. Он

сказал: «В театр люди ходят оттаять душой. И грех дурачить театром людей, уже одураченных политикой». О, как тревожно и озабоченно сказал он тогда об этом актерском грехе! И мне подумалось, что, возможно, писатели и понимают истинных актеров так сочувственно и верно, как никто другие, потому что писатели сами бытуют в незримом пламени людских судеб.

А к таким доверительным нашим взаимоотношениям подтолкнула когда-то «Северяновна» — моя поэма о зоревой Руси. Она была напечатана в «Огоньке». А Леонид Сергеевич — мастер художественного слова — взял да и вывел «Северяновну» со страниц журнала на погляденье вологодского народа. Он радовался тому, что в поэме много исторического и лирического простора, а я — в свою очередь — дивился, насколько обогатителен интонациями его голос и как выразителен каждый жест его.

*...Что прожито — все наново
Идет, листвою сквозя.
И рядом Северяновны,
Любви моей глаза.
В нетерпеливых искорках
И от ресниц в тени,
Огромные и близкие,
Задумались они...*

И жену мою Асю он стал называть с тех пор «Северяновной» — по имени поэмы. И с легкой подачи Леонида Сергеевича это обращение, такое распевное и милое, с той поры, с семидесятых годов, и держится в нашем дружеском кругу.

Ему, нравственно чуткому актеру, для самовыражения, кроме театра, насущно необходима была поэзия. Может, еще и потому, что театральный репертуар все чаще и наглее складывался ради потехи и глумления над особенностями нашего национального бытия. Или постыдно тонул в рабских заимствованиях с Запада. А в поэзии ложь, что угар: долго не держится, выживает в ней лишь правда, и она дышит светоносно. И личное в поэзии укрупняется до всеобщего. И на тревожный вопрос: воспринимаем ли мы, сегодняшние русские люди, духовные высоты Пушкина, Некрасова, Блока, Есенина? — нелицеприятный ответ вернее всего искать не в нынешнем театре и кино, а в сегодняшней

русской поэзии, с трудом пробивающейся сквозь Гималаи финансовых скал и ущелий.

И Леонид Сергеевич Державин — великий радетель добра на сцене и в жизни — иногда казался мне царем Берендеем из весенней сказки Островского «Снегурочка». Жизнь наша покачнулась, нравственность растоптана, культура обардачилась, и он горько хмурился, и нервно трогал свою бородку, словно бы страшивая с нее серебряную изморозь. И в молчании его, бывало, сидящего у моего окна, за которым стыли купола Софии, в безмолвии нашего общего раздумья словно бы слышались берендеевские горькие сетования.

*...В сердцах людей заметил я остуду,
Исчезло в них служенье красоте...
Возвышенной тоски любовной нет,
А видятся совсем другие страсти:
Тщеславие, к чужим нарядам зависть...*

Боже мой, ведь всего за два месяца до гончины Леонид Сергеевич приходил ко мне на квартиру со своей новой заботой. И впрямь что-то подвижническое, берендеевское вновь просквозило в его облике. Он и меня подвигал в этот раз «послужить народу». Словно бы своим новым замыслом напоминал старинный берендеевский завет.

*...Чем же и свет стоит?
Правдой и совестью
Только и держится!*

О, если бы в жизни нашей было так! Увы, увы... И Леонид Сергеевич, конечно, не заблуждался относительно нахлынувших перемен, он видел всеобщий развал и печалился от неотвязной самоукоризны, что он, заслуженный мастер своего дела, не может помочь людям, вовсе забытым вдали от Вологды. Но так ли уж, что не может помочь? Ведь он еще в силах творить радость взаимного общения! Ведь он еще зажигает огонь в отзывчивых глазах!...

Я с тихим восторгом смотрел на него, сидящего рядом — у окон с куполами — и невольно подумал, что способность содействовать народному благу — это и есть Божий дар! Божий дар — зарница, чтоб отрадой литься!...

А Леонид Сергеевич, не слыша этих моих мыслей, все рассказывал о своем плане культурной помощи нашим деревням. Он перечислял, что предстоит сделать, загибая пальцы.

— Представляете! — загорался Леонид Сергеевич. — Как обрадуются села: к ним приехали артисты. Мы всех старух втянем в наши концерты! Любо будет им вспомнить прежние распевы...

И вдруг — кончина! Внезапная, как стужа среди весны... Еще одним талантливым человеком стало меньше в Вологде. И тяжесть печали о выдающемся актере Леониде Сергеевиче Державине равна той глубине скорби, с какой вологжане прощались с народной артисткой Мариной Владимировной Щуко.

СВЕТ — СЛЕВА, А ЖИЗНЬ — СПРАВА...

Памяти Г. Н. Вербенец

Что она умирает, я понял, как только вошел в палату и увидел ее запрокинутое на подушке лицо. В нем уже скопились тени, полуоткрытые глаза, не мигаючи, глядели вверх, словно пытаясь там что-то увидеть или за что-то ухватиться. Дышала часто, сбивчиво и никак не отзывалась на мой осторожный голос. Когда же я, наклонясь над ней, назвался погромче, то показалось, что она задержала дыхание и вскинутый взор попытался повернуть на мой голос, и я, обрадованный, еще громче заговорил с ней, напрягаясь вернуть ее к памяти, однако все было напрасно: пелена забвения уже наплывала на ее глаза. И тогда с горечью вечного расставания и с уважением за ее великие труды я поцеловал ее в горячий лоб. И вновь будто дрогнули и чуть приподнялись над одеялом ее руки, перепечатавшие тысячи страниц наших рукописей. Приподнялись и тут же упали недвижимо. Уже не коснутся они так поздно принесенных мною самых лучших, самых красных яблок...

Соседка по палате, молодая женщина, сказала, что изотрет яблоки и покормит ее, однако, как и я, видела и понимала, что при последних тайнах смерти уже неслепы красные яблоки.

Я поклонился Галине Николаевне и вышел из палаты в сумрачный коридор. Поднимался с надеждой в уме,

а спускался с ознобом в душе. Ох, больничная лестница — она из ледяных ступеней!..

И с нахлынувшей жаждой жизни, до этой мноты вовсе не ощущаемой в себе, и с внезапным жаром, обвеявшим вдруг, как в давние, уже забытые годы, я вытолкнулся из больницы на морозную улицу. И от снежных искр, сиявших под фонарями, вспыхнуло в памяти одно воспоминание из нашей молодости, пролетевшей в редакции областной газеты «Сталинская молодежь».

Был какой-то праздник. Всего скорей, что Новогодье, и вечер выдался такой же, как сейчас, искристый и снежный. И поскольку редакция уютилась в закутках, то наша вольница вскоре вырвалась из тесноты застолья на улицу.

И она, Галя Вербенец, первой кинулась дробить на деревянном крыльце да впрыскаду, да с всплеском рук, да с удалью частушек — вихрь русской радости! Мы изумились, как молода и красива она! И, может, впервые догадались, что она, стучавшая на пишущей машинке с утра до вечера, так близка и дорога нам всем. И около нее, понизу, уже по уличной шире, запритопывали неловко, а потом все веселее и азартнее Боря Шабалин, Коля Задумкин, Саша Пронин... (Господи! Все давно уже умерли!..)

На ту пору оказался среди нас и Александр Яковлевич Яшин — он любил по приезду в Вологду заходить в нашу редакцию. Высокий, с орлиным взглядом, он любовался стройной плясуньей, а потом подскочил на ступеньку и поймал ее в распахнутое объятие. Она, всплеснув платьем, весело заотбивалась от него, а он закружился с нею на руках. Крыльцо загудело уже от крепкой мужицкой пляски.

И все мы, кто как мог и умел, закружились в общем топоте. Снег кипел под ногами, а лица пылали от жара. А потом кинулись валять друг друга в сугробы, наметенные на высоком берегу в устье Золотухи. И Галя из рук Яшина с веселым уханьем выпала в белоснежный пух, а от ее сильного толчка и сам он полетел с береговой кромки. А за ним снежной тучей скатились и все мы с высокого берега. Над нами мерзли купола церкви Дмитрия Прилуцкого да высокое — в звездах — небо... Ну, как тут не вспомнить яшинские строки:

*В голоде,
В холоде,
В городе Вологде
Жили мы весело
Были мы молоды...*

Галина Николаевна Вербенец всю жизнь проработала в молодежной газете. Сменялись у редакции помещения, а место ее всегда было одинаково: слева окошко — голубая высь неба, а справа — нервная дверь, суетные лица да рукописи, рукописи, рукописи... И она печатала, печатала, печатала. Уж так устанет, что не вмоготу, откинется влево, глянет в голубое окошко. Облака плывут, как высокое таинство жизни. Свежестью, простором манит окно, да только справа — хлоп да хлоп дверью. Уже вновь копится очередь, писульки свои тянет. Вздохнет она, грустно улыбнется да опять за работу. Одному мне перепечатала рукописей на двадцать книжек! А сколько Василию Белову, Виктору Коротяеву, Борису Чулкову — мало кто из вологодских писателей обошелся без ее помощи!

...Я уходил из больницы по морозному городу. И то ли в шагах, то ли в висках, то ли в памяти слышал легкий стук ее пальцев, летающих над буквенными клавишами...



ВЕЛИКАЯ ДОЛЯ

Труды Василия Белова

«А ТАМ, ЗА ДЫМОМ...»

Прощание с русским крестьянством

«С НИМ НЕ СОВЬЕТЕСЬ С ПУТИ ПРАВДЫ»

БЕССОННИЦА ДВОИХ

ИДЕТ ТВАРДОВСКИЙ!..

СВЯТОЕ ПРОВИДЕНИЕ

РОДОВОЕ ДРЕВО

О поэзии Сергея Викулова

«ДИОНИСИЙ» ВАЛЕРИЯ ДЕМЕНТЬЕВА

РАДУГА ВИКТОРА БОКОВА

«ВСЯКОГО ЗЛАТА ДОРОЖЕ...»

Виктор Коротаяев в русской поэзии

«У ЧУЖИХ КОСТРОВ НЕ БУДУ ГРЕТЬСЯ...»

Встречи с Василием Журавлевым-Печорским

НА МОЛОДЫХ ВЫСОТАХ

Раздумье о Викторе Гуре

ЗОРЕВАЯ ДАЛЬ

Поэт Александр Швецов

ПРАВДА ДЖАННЫ ТУТУНДЖАН

В КАКОЙ СТОРОНЕ СЧАСТЬЕ?..

ТАЛАНТЫ И СУДЬБЫ

От Василия Сиротина до наших дней

К ТАЙНАМ ПОЭЗИИ

«СОБРАНИЕ ОСЛОВ»

ПЕРВЫЕ КНИГИ ЗЕМЛЯКОВ

СО СВОЕЙ МОЛИТВОЙ

ВЕЛИКАЯ ДОЛЯ

Труды Василия Белова

На Ярославском вокзале, в торговом ряду, заваленном развлекательным чтивом, Василий Белов увидел сиротливо томившийся однотомник Ивана Ильина — любимого им философа — обрадовался и заторопился достать деньги, чтобы купить эту книгу. И каково было его удивление, когда хозяйка этих лотков вдруг сказала ему: «Василий Иванович, с вас денег не возьму — я дарю вам эту книгу. Но прошу на память оставить автограф». И протянула ему альбомный лист.

Белов смутился не от того, что его узнала на вокзале незнакомая продавщица — в Москве, случается, узнают его на улицах и в метро, он это замечает и, конечно, неловко бывает от таких прилипчивых взглядов, — здесь же он смутился от решительного отказа продавщицы взять деньги за книгу. Он не ожидал такой щедрости и где? — на вокзальной толкучке! Он, конечно, расписался на протянутом листе, пожал руку доброй москвичке и заторопился на поезд «Вологодские зори». А его автограф в просторе белого листа полетел, как журавлиный клин, в вечность времен. Шла весна 1992 года. И все тревожней ожесточалась жизнь в России...

О Родине душа моя болит.

Она скорбит по вырубленным

сечам,

По выкачанным недрам

и названьям

Засохших рек и выморочных

сел.

Болит душа...

И странен отголосок

Душевной боли — мой веселый

смех

Среди друзей, среди живых

и павших,

Сплоченных снова вражеским

кольцом.

Эти беловские строки возникли в трудную минуту как готовность его к повседневному и деятельному

мужеству. И возникли не напрасно: во многих соотечественниках, оскудевших нравственно и духовно, уже нет сил рвануться к обустройству измученной Родины. Они слепы и не видят, что на всякую их дурость есть чья-то хищная премудрость. Но в Белове — так иной раз мне кажется — все личное одолено уже общественным: жизнь его — это вечное ходатайство за мужицкие права, за достоинство русского человека, за спасение родной земли от всяких каналокопателей, за сущую правду-матку.

Судьба распорядилась так, что подружились мы с молодости и пошли до седых волос рядом. И с годами не слабнет во мне радостное удивление перед творческой мощью Василия Белова. Ведь как бывает в писательском деле? Сперва возникает предчувствие правды, похожее на открытие какой-то новизны жизни. Это щемящее метание духа. А из-под пера выходит лишь тщета самолюбования. Такой результат у большинства пишущих людей. Вторая глубина в творчестве — прикосновение к так называемой голой правде жизни. Но и здесь не меньше разочарований, потому что голая правда оказывается слишком заунывной и неприглядной. И перо застывает в бессильном недоумении. И лишь редкие писатели и поэты достигают своим словом третьей глубины в творчестве — до самых сокровенных истин жизни, до тайн ее и пропастей. Слово Василия Белова именно такой глубины.

О его книгах накопилось уже множество статей, исследований и диссертаций. И я в свой час горячо писал о его повести «Привычное дело», ставшей уже новорусской классикой. Писал и о романе-хронике «Кануны», потрясшем читателей большевистским разгромом трудового крестьянства и щемящей правдой о возникшей в СССР обездоленности Земли и Души.

Василий Белов и поныне не отступился от этой страшной народной трагедии. Уже опубликованы три части, продолжающие «Кануны», — «Год великого перелома». Это воистину творческий подвиг!

О Василии Белове надо бы создавать достойную монографию: столь велики его труды ради настоящего и будущего России. Но где такой могучий ум и где такое отважное перо? Это тайна будущего. Ведь страшновато подступаться к писателю, которому подвластны все роды и жанры литературы: проза, драматургия и поэзия.

И публицистика. И лирика. И сказки для детей. Вот лишь малый пример его творческого могущества.

Моему внуку Саше мать прочитала красочно изданную книгу Василия Ивановича «Родничок». В ней рассказывается, как родничок сиял и полнился водицей, пока он поил прилетавших птиц и прибежавших зверушек. И наш Саша, слушая сказку, радостно сиял от такой открытой щедрости родничка. Но вот прилетел длинноногий комар-комарище и нашептал родничку, что не надо никого поить своей водицей, а надо беречь ее про себя. Родничок послушался злого комарища и перестал поить прилетавших и прибежавших к нему птичек и зверушек. И вскоре он замутился, иссяк и пропал бесследно в высокой траве. И внучек наш горестно заплакал... Вот такая сила беловского слова!

Да, в его слове всегда столько нового и неожиданного, что диву даешься. Взглянем в творческую молодость Белова и увидим, как после рассказов «Весна», «Кони», «За тремя волоками», сразу ставшими знаменитыми, быстро возникает необыкновенная повесть «Привычное дело», вызвавшая критическую растерянность во всех центральных журналах нашей страны и срочные переводы на европейские языки. Кряду с этими событиями в «Новом мире» появляется другая, также необыкновенная повесть «Плотницкие рассказы», потрясшая Александра Трифоновича Твардовского иезуитским образом колхозного активиста Олеши Смолина. А затем вдруг — «Бухтины вологодские». Завиральные, в шести томах! Жанр, доселе неслыханный в русской сатирической литературе.

А после романа-хроники «Кануны», бросившего в страх цензуру и в восторг читателей, создается жгучий нравственно-социальный цикл «Воспитание по доктору Споку». А потом — пьесы: «Над светлой водой» (она обошла сцены многих театров страны, а в Вологде выдержала около двухсот постановок за два или три сезона), затем «Районные сцены», или «По 206-й», «Бессмертный Кошей», написанный мастерским белым стихом, и грандиозная, острозлободневная драматическая эпопея «Александр Невский»...

Но вот новое изумление читателей — Василий Белов публикует новую очерков о народной эстетике «Лад». Книга эта — праздник ушедшей от нас родной жизни. Нужда именно в такой книге росла в народе год от

года — и она появилась, и всех обрадовала воскрешением из забвения трудового народного опыта и житейской мудрости, столь необходимых нам именно сегодня, в пору уже демократических страданий.

А затем вышел шумный роман «Все впереди»... Да что перечислять беловские книги, если они уже давно стоят в университетских библиотеках Европы, Америки и Японии! И, разумеется, в библиотеках и в миллионах домов России. Да, Василий Белов каждую книгу создает в тот момент, когда именно в такой книге нуждается само Время. Белов чутье и раньше других улавливает самую назревшую потребность жизни и таким творческим поспешанием, угадыванием как бы творит заодно и самое Время. Многие критики, что кроты, лишь норы рыли вокруг его творений, яростно подкапывались под него, но самого писателя никогда не понимали, ибо были совершенно ему чужды.

Нескончаемы его тревоги и думы о родном народе. Он зорек на подноготную событий и явлений, чуток на политические зигзаги. Будто бы в нем сходятся токи со всей русской земли — от униженных деревень «За время волоками» до высоковознесенных кабинетов Москвы. Будто бы эти токи, мало кем еще ощущаемые, уже коснулись его души, как предвестья новых потрясений жизни.

Его возмущает клевета на старое русское крестьянство. Мол, оно было темное, забитое, отсталое. Мол, за Вологодой (по Ленину) царила полудикость и настоящая дикость. А за Вологодой, кроме всякого продукта, крестьянство производило еще главные нравственные ценности жизни, шедевры самобытной красоты (ремесла, дивные строения, церкви, иконы, песни, сказки), развивало и гранило великий родной язык (взгляните на сноски в «Толковом словаре» Владимира Даля). И во все времена мощно подпитывало города своими здоровыми силами. И вот такое истинное жизнепонимание крестьянства было злобно оклеветано с 1917 года. А для политического пользования оставлено искаженное представление о русском мужике только как о неумелем и ненадежном производителе продукта. Эта клевета и сегодня в ходу. Крикливые рати журналистов и всяких экспертов в своих писаниях и речах, что называется, походя поносят наш народ, давая понять, что он крайне нуждается в умных, как они, поводырях.

Горько сознавать, что у России уже нет тылов самобытности. Таким богатым тылом являлся наш Север, но и он уже протаранен натиском злых сил — сил разрушения и грабежа. И слоняются по Северу всякие бродяги в поисках старых икон как валютного товара. И не они ли сочиняли эту частушку?

*По деревнюшке иду —
Петушками избы.
У старухи у рябой,
Думаю, поись бы.*

Вот они, современные устроители жизни. Только вздохнешь да головой покачаешь.

А истина по-прежнему мерцает в той лампаде, что вознеслась над Русью еще тысячу лет назад. Это свет нашего всебратства. И русский народ, измученный дьявольскими экспериментами, по-прежнему единственен в мире по своему объединительному, нравственному и сострадательному предназначению.

Василий Белов в одной из недавних статей пишет: «Ложь обычно не рассчитана на длительное хранение и пользование, поэтому способы массового оболванивания постоянно приходится обновлять: то навязывается коммунизм, то рыночная экономика, то коллективизация, то приватизация, то алкоголь, то секс, то рок-музыка. Можно только гадать, чем наградят нас, что преподнесут голубые экраны (а то и голубые береты), если мы не пожелаем сдаваться на их милость...

Русский народ переболел-таки марксизмом и коммунизмом (разве это не европейские вирусы?), переболел и сохранил свою государственность. Коммунизм в России был на последнем издыхании, но тут-то и всполошились враги России. Под видом борьбы с коммунизмом они начали войну против самой России, против самих русских и их государственности. И теперь, дескать, можно легко разделить государство на мелкие части, расчленив тело России с помощью национальных чувств малочисленных народов, живущих в ее пределах.

Обманутые антирусской пропагандой народы шарахнулись от России в разные стороны, наивно предполагая выжить без нее. Заокеанские доброхоты начали спешно пособлять им через посредство джинсов, говяжьей тушенки и т. д. От первого, еще марксистского

президента (Горбачева), президенты начали плодиться, как степные сурки... Разожгли войну против православия. Поспешно внедряется неоязычество. И экуменизм, т. е. слияние с католицизмом. Горбачев не напрасно шнырял по лестницам Ватикана...

Грандиозный самообман русского человека, сотворившего попытку выжить не только без царя, но и без Бога, медленно, однако же неуклонно рассеивается. Переболев едва ли не всеми болезнями Мира, он, Русский человек, только начинает медленно выздоравливать, начинает трезветь и осмыслять собственный путь и судьбу. Родина, не дай же себя обмануть, «внемли себе!».

Этих зорких слов не коснулись ни туманы, ни румяна осторожности — они прямы и беспощадны, что гвозди. Да, в Василии Белове поразительна острота видения самой сути событий и явлений. Словно бы для него открыта и жизнь людская, и глубь временная, и все завязи добра и зла в мире. В нем самом, в гении его просторно всеживотворящему русскому духу. Потому и народный говор в его книгах свеж и густ, как ржаное пиво, уже забытое нами, румян, как печной жар. Белов восстанавливает для молодых поколений национальное мировосприятие, пробуждает в них, да и во всех нас, генетическую память о своей великой, но для многих уже потерянной Родине. Порабощенное сознание таких людей — вот беда, которая мучает Белова. А что народом пережито, то для писателя не изжито.

Беседы с ним всегда любы уму и душе. Вот как-то говорит: надо каждому из нас заниматься своим делом. И не размазывать свои способности на всякую подёнщину. А публицистику надо бросать. Она усредняет слово. Она опасна для писателя.

— И для поэта, — добавляет, пристально глядя в меня.

Я не соглашаюсь: публицистику забросить невозможно. Она — огневщина! Она выхвачена из самого полымя жизни. А в полыме этом не только разгул политиканства, вранья и тщета надежд, а и людское горе, а и наши собственные прозрения. Публицистика — это мы сами из будничной подлинности. Конечно, подлинность эта верхнеслойная, первичная, а, значит, и недолговечная — не то что настоящая проза и поэзия. Однако и публицистика — бойкая кочерга. Ей не страшен любой жар жизни. Знай загребай! Нет, никак нельзя ее бросать...

Василий Иванович молчит, вижу, что не соглашается. Он всегда упорен и тверд в своем мнении. В другой раз затеялся разговор о музыке.

— Что такое музыка? — задает мне риторический вопрос и сам же на него отвечает: — Музыка возникает из трех основ — из мелодии, из ритма и гармонии этих двух начал. Классическая музыка и есть пример такого триединства. То же самое являют собою народная песенная и музыкальная стихии. И та и другая едины в главном — в благотворном воздействии на человека. Они целебны для нашей психики. Мелодии лечат наши души.

Современная же музыка (рок и др.) сознательно возбуждает в человеке, особенно молодом, самые низменные инстинкты. В роке нет мелодий — безумствует лишь ритм. Начальная основа музыки — мелодия — выброшена. А ритм, периоды его злонамеренно обрывает: скажем, вместо трех единиц протяженности звука, как требует того нормальная психика человека, ритм обрывается уже на 2,5 единицы звука. Такой обрыв в звучании страшно воздействует на мозговые центры, вызывая опьянение. Такая музыка становится наркотиком, и стада молодых людей в огромных залах, что в загонах, в безумстве ритмов и сладострастных воплей превращаются в скотов.

И Василий Иванович включает телевизор. Включил наугад, не глядя, какая это программа. И нас ослепил и оглушил беснующийся зал молодежи.

— Подражая чужому, — горько нахмурился он, — люди отрекаются от самих себя. А это и есть добровольное рабство...

А при последней встрече (видимо, в то время работал над новеллой «Душа бессмертна», вобравшей в себя, кажется, всю мудрость из пережитого им) Василий Иванович трогательно вспоминал о своей матери, доброй и мудрой Анфисе Ивановне. И я любил его мать — она была приветлива, обходительна, мастерица на бойкое золотое слово. Так вот, когда похоронили Анфису Ивановну по христианскому порядку и обычаю возле возрожденной самим Василием Ивановичем прежней приходской церкви, поблизости от родной деревни, то остался он в Тимонихе, в своем старом доме, один-одинёшенек. Решил дожидаться здесь девятого дня. И началось! Такая метель закружилась в обхват дома —

да вьюнами, вьюнами, что и дом закачался. Он обмер. Такой вьюги еще не видал за всю жизнь.

Он учуял прикосновение к себе каких-то бережных дуновений. Их не могло быть в хорошо протопленной избе, он это осознавал и все-таки явственно ощущал, как струилась в его лицо непонятно откуда возникшие токи. Он взглянул в красный угол, а там огонек лампадки будто бы реял от чьего-то близкого дыхания. И первоначальная оторопь истаяла в нем, и душу охватило тепло поминальной молитвы, и в перекрестьях руки сквозь лик Божьей матери проступало так близко, так живо, так милосердно — лицо своей матери. Она смотрела в него с успокаивающей верой и надеждой. И все девять дней под окнами родительского дома в Тимонихе крутились снежные вьюны, как белые березы.

«А ТАМ, ЗА ДЫМОМ...»

Прощание

с русским крестьянством

«Кануны» Василия Белова, скромно названные хроникой двадцатых годов, — это, может быть, самый могучий русский роман на исходе двадцатого века. Здесь ничего не выдуманно, но немота архивов и слезы воспоминаний ожили здесь с такой художественной силой, что потрясают нас. Помню, как еще в 1971 году Василий Белов попросил меня прочесть первоначальную рукопись этого романа. Я, уже знавший от своей матери страшные истории раскулачивания и всякого местного бесовства, казалось, мог бы и поспокойнее воспринимать беловскую рукопись, однако она втянула меня в такой круговорот событий, что позабыл и самого себя.

Белов просил беспощадно отмечать в рукописи слабости и огрехи, и я над каждой страницей вскидывал свой бдительный карандаш, но когда закончил «ревизию», то увидал на полях лишь знаки восторга. И даже встревожился за свою восклицательность: Белов может подумать, что читал я невнимательно или подобострастно. И взялся за повторное чтение, и обнаружил, что беловская проза — это не зеркальное отражение, а пучковый свет народной жизни. Он прожигает толщу

будничности до неумирающих истин. И прошлое никогда не затухает вовсе: оно или подкашивает настоящее, или судит будущее. Время — по Василию Белову — это энергия народной нравственности. Если нравственность народа падает, то загнивает жизнь, и время теряет свою будущность.

Нет, не нашел я никакой фальши ни при втором, ни третьем прочтении, но каков же был удар, когда эту же рукопись спустя полгода Василий Белов показал мне испещренной сплошь грозными пометками. Она просматривалась в ЦК, в идеологическом ведомстве М. Суслова, и была по сути зарублена. А те главы, в которых так сущностно, так неожиданно изнутри и по-житейски изображались Сталин и Калинин, Бухарин с Рыковым и Томским, вовсе отсекались багровым крестом. Но Василий Белов не поступился правдой и совестью и даже не подумал о публикации где-то в чужих местах. И тогда лишь журнал «Север» набрался храбрости, чтобы сокращенно напечатать роман «Кануны». Честь ему и хвала!

И вот теперь, когда открываешь эту книгу, изданную уже миллионными тиражами, и читаешь в первой главе такие запевные слова: «шла вторая неделя святок, святок нового тысяча девятьсот двадцать восьмого года», то даже не замечаешь, что сам пребываешь уже в иных годах. Настолько жгуче, зримо и неумираемо наше давнее в беловской хронике! Она распахивается в крестьянский мир, как избы — во Вселенную: так звонко и знобно, что слышно, как индевеют звезды и пылают лучинки, как намерзает на окнах страх и копится в умах погибель.

Взгляд и слух, и познание писателя настолько вседуши и пронизательны, что от их прикосновения стихия минувшей жизни как бы вновь самовозгорается и творит самое себя уже без авторского вмешательства. Такое живописание случается в литературе крайне редко.

«Кануны» Василия Белова — это трагическое прощание с нами великого крестьянства. Это его последняя Масленица «в деревянных санях, расписанных по красному черным хмелем». Уже вломился ночью в Шибановский сельсовет уездный уполномоченный Игнаха Сопронов, уже вытащил из кармана вороненый наган и утвердил его на алом сельсоветском столе; вот вам, мужики, наш «черный хмель по красному»!...

А сама Шибаниха, между тем, как и тысячи деревень по Руси, еще жила простодушной радостью святок и привычной свободой крестьянского миропорядка. Мужики и бабы, парни и девки еще охотно тянулись на посиделки к своей ровне по возрасту, интересу и родству. И потому в Шибанихе, как и во всем мире, людские сборища завихрялись одновременно и разномастно: то словно кружение речных перекатов, то словно окружение диких метелей. Все шире и дале — от Шибанихи до Ольховиц, от Вологды до Москвы. Круг за кругом — и везде уже «сновала черная мгла. Мешаясь с ярким светом, она переходила в дальний лазоревый дым, а там, за дымом... клубились вглубь и вширь пустые версты... В том круге событий чернел омут дьявольской энергии.

А люди, какие люди в «Канунах»? Вот в просторном пятистенке, отнятом у бывшего торговца Лошкарева, расхаживает в смятении Колька Микулин (по-деревенски Микуленок), молодой парень, но уже председатель Шибановского ТОЗа и лавочной комиссии, и здешнего сельсовета. Вся власть в Шибанихе, казалось, была в руках Микуленка. Так казалось и мужикам. На самом же деле власть гнездилась в других руках. Вот она, эта чужая власть, и допекла Микуленка, вывела его «изо всех рамок». На председательском столе лежала бумага из уезда. «...Требую в бесспорном порядке в срок до первого января сообщить результаты проработки тезисов ЦК и контртезисов оппозиции, результаты обсуждения резолюции ЦК о работе в деревне и неукоснительном проведении классовой линии. Зам. зав. АПО Захарьевского укома ВКП(б) Меерсон».

Вот так: в самый разгар народного праздника — грозный окрик и указующий перст, как жить по-новому. Все родное вдруг становится чужим, а ясное смолоду — непонятным. Слова директивы торчали, что колья, а ниже подписи таращились буквы Р. С. и приписка красным карандашом: «Не ограничивайтесь одной констатацией фактов». — «А что это такое? Конституция — записался на новом, издевательском слове председатель Шибанихи. — Кооперация, кастрация... Не то, вроде не подходит. Вот мать-перемать!...» И подлаживаясь под меерсоновский язык, он также сучковато сочиняет свой ответ «по преломлению 15 партсъезда» в Шибанихе.

Яростная политизация слов, чуждых для слуха и угарных для сознания, — вот начало всякого насилия. И чем навязчивее политика, тем двуличней жизнь, а чем больше партийности, тем меньше житейского творчества. Народное бытие и политиканство кроваво несовместимы, и эти истины выстраданы в «Канунах» Василия Белова.

И как образ и тип зародившегося в ту пору лихого прохиндейства, в родную Шибаниху заявился на святки и приятель Микуленка Петька Гири́н по прозвищу Штырь. Он служил курьером в канцелярии у самого Калинина, а потом в особом отделе ЦК у набиравшего силу Маленкова, но таинственно скрытничал о своем месте в Москве. Потом он, покайсявшись перед Бухариным за свой на него донос, сфабрикованный по наущению Маленкова, исчезает из столицы и возникает в Ленинграде уже не Гириным, а Гири́нским, затем объявляется в Вологде уже Гири́нштейном. Такая бесовская смена своих фамилий и личин ради спасения своей шкуры, увы, становилась нормой жизни. «Новое место — и сам новый» — вот дух того времени. И утрата своих фамилий, имен и отчеств, то есть личностная утрата самих себя, казалось, никого уже и не заботила.

Лишь деревни упорно держались прежнего порядка и обычая. И в Шибанихе, в тот самый вечер, когда в сельсовете столкнулись Микуленок с Петькой Гириным, а потом нагрянул к ним Игнаха Сопронов, чтобы покачнуть вековой порядок и обычай, в просторной хоромяне Евграфа и Марьи Мироновых — таких работающих, что и в праздник не сидевших без дела — хозяин сучил нитки для верши — сошлись добрые гости. Из Ольховиц прикатили Пачины: шури́н Данило с сыном Павлом — Евграфовым любимцем за молодецкую статью и ухватистость в работе. Рядом присели на лавку Иван Никитич Рогов с женой Аксиньей. Они чуяли сердцем, что дочка их Вера — славница-красавица на всю Ольховскую волюсть — сохнет от любви вот к этому парню, и хорошо бы, думалось им, взять такого молодца в свой дом примаком. А Палашка — дочка Мироновых, песенница и бойкуша, уже наладилась на святочное игрище, чтобы свести там Павла и Верушку, а самой бы в потайной радости попасть в руки Микуленку, засевшему с вечера в сельсовете. В теплой и светлой избе Мироновых народ собирался обстоятельный, степенный, потому на виду и сидели Степан Ключин, черный, с разными

глазами книгочей, и отец его Петруша, по-апостольски белобородый старец...

А в эту же пору у Кеши Фотиева, мужичонки вечно бесхлебного и безлошадного, зато охочего на всякую забаву, собралась своя компания. Его избенка с четырьмя окошками без вторых рам подмигивала еловой лучиной взбудораженному миру. Здесь тешилась вволю шибановская худоба и беззаботность. И поп-прогрессист, по прозвищу Рыжко, больше похожий на беса, чем на священника — вот оно, воинствующее безбожие! — здесь резался с мужиками в карты. Тут и Акиндин Судейкин, зоркий выдумщик и стихотворец, добывающий себе прокорм своим племенным жеребцом, могучим Ундером; тут и старичок Савватий Климов, по его хвастливым словам, не сделавший «за свою протяжную жизнь с женским полом ни единой промашки», тут и ловкий игрок Северьян Брусков, по меткому прозвищу Жучок...

Сколько в романе всякого люда, и каждый — наособицу, и нету во множестве их ни одного случайного лица — от нищего Носопыря, живущего в бане и забывшего свое имя, до вождя Сталина, вкрадчиво ступавшего сапогами по кремлевским коврам и обдумывавшего письмо Кагановича с Украины, требовавшего обострить и разжечь классовую борьбу в деревне. Казалось бы, какая связь между нищим и вождем, но связь была прямая: в стране не хватало ста миллионов пудов хлеба, значит, эти миллионы надо выгрести из мужицких подворий, а чтобы выгрести, надо опереться на таких «пролетариев», как шибановский кривой Носопырь. Да, Каганович, который всегда врал и запугивал, в этот раз подталкивал его, вождя, на меры чрезвычайные.

И надо всей этой крестьянской вселенной, как толчки уже близкого землетрясения, вскипала в романе смертельная схватка Павла Рогова с Игнатом Сопроновым. Как молодой побег вскидывается и матерее на корневых глубинах, так и Пашка Рогов смала вбирал в себя силу и задор своего родства и распахнуто торопился в жизнь. В нем горела истовость, внушенная дедком Никитой, и смекалка, перенятая от отца Данилы, и беспредельное трудолюбие, обласканное дядей Евграфом. Он рано осознал себя строителем такой жизни, при которой хлебное счастье вставало бы vro-

вень с мужицким трудом. Потому он и затеял поставить в Шибанихе на поднебесном угоре свою ветряную мельницу. Он нашел в лесах и срубил великую сосну, и на могучем стволе ее, выбиваясь из сил, возводил размашистый ветряк. Главы романа, рисующие этот страстный и мучительный подвиг Павла, прямо-таки пылают горькой поэзией, ибо подвиг этот, увы, был не ко времени. Наперекрест Павлу Рогову встал Игнат Сопронов.

Кто он, откуда взялся? — «А наш-то Игнаха,— сказал вглядчивый в жизнь Никита Иванович, свояк Павла,— от нас самих. Сами возрастили!...». Вот это-то признание и повергло мужиков в страшное недоумение и смятение. «Сопронов сузил водянистые, цвета снятого молока глаза и взглянул на шибановские фамилии: всего пять, от силы семь хозяйств были, по его мнению, настоящими бедняцкими, остальные сплошь зажиточные и кулаки. Он не курил с того времени, как вступил в партию, но сейчас ему как будто чего не доставало. Вспоминая о куреве, подумал: опять же взять и другие деревни. Что ни изба, то и зажиточный, у каждого по лошади и корове, у многих по две, а то и по три коровы. Ожили после земельного передела! Наплодилось за эти годы кулачков, ничего, еще прижмут хвосты, запоят не то...»

Сопроновы — два брата, Игнат и младший Селька,— запустившие свой земельный надел до того, что зарос он бурьяном, и жившие лишь случайными приработками — с животной завистью встали поперек нараставшего благоденствия родных деревень. Они не то чтобы глубоко понимали партийную идею, а ожесточенно гордились тем, что она, эта идея, полностью выражает их злобную сущность.

«Пришло, значит, такое время — мужиков к ногтю», — сказал горестно Евграф Миронов, и раскулачивание покатилося по деревням. Сопроновы рванулись в дело. Сперва облагали мужиков невыносимыми налогами, потом с наганами загоняли их в колхозы.

Да, Роговы, Пачины, Мироновы жили на русской земле. Много их трудилось. Миллионы! Но победили Сопроновы. Эти живы и поныне! Скрипя зубами и щурясь мутными глазами, они белеют лицами, когда видят, что власть уходит из их рук. Да, образ сопроновщины, созданный Василием Беловым, страшен и живуч. Этот образ знаменует по существу весь наш многострадальный

двадцатый век, и беловские «Кануны» — это такое художественное и философское постижение судьбы русского народа, что трагизм истин, раскрытых писателем, острогающе поучителен и для всего человечества.

«С НИМ НЕ СОВЬЕТЕСЬ С ПУТИ ПРАВДЫ»

Василий Белов! Так много народной жизни вобрало в себя и отразило это имя, что все личное и частное в нем заслонилось правдой великого откровения. И живет теперь это имя в сознании миллионов людей как образ России, трагически идущей в свое будущее. Вот почему имя Василия Белова так широко слышно — от «неперспективных деревень» до мировых столиц.

И самое удивительное, на мой взгляд, заключается в том, что в становлении Василия Белова как писателя, в этом творческом феномене, нет ничего удивительного: ведь накопление его сил происходило в глубине русской жизни. И происходило самым обыкновенным образом, незаметно и неотличимо в среде своих ровесников, в тревоге тридцатых годов. Матери и отцы той поры заботились лишь о том, чтобы в детях копилась совесть да росли они прилежными работниками. А уж кто кем потом станет, об этом не гадали: людские пути на Руси неисповедимы.

Семья Беловых — искони крестьянская семья. Вологодский краевед, ныне покойный Владимир Капитонович Панов, разыскал-таки в архивах их родословную: сермяжные предки Василия Ивановича значатся в ревизских описях семнадцатого века. А глубже — уже тьма: это не дворянский род. И невольно подумаешь: сквозь какие же тайны поколений, из каких же колодезев времени поднимаются в нашем народе гены талантливости! Дивно да и только.

Деревня Беловых Тимониха — издревле мастеровитая и голосистая. Таких деревень, светлых да ладных, на нашем Севере было не счесть. В окошках — березы, на задах — бани, а вокруг тяжелая радость полевого и сенокосного труда. И зелеными холмами

во все стороны ширилась не зная здесь крепостного рабства крестьянская оседлость — хранительница народной нравственности.

Родители писателя: отец Белов Иван Федорович — плотник и столяр, человек кипучего и смелого нрава, совсем молодым погиб на фронте в 1943 году. Мать, Анфиса Ивановна, овдовев, бедствовала с пятерыми ребятишками в осиротевшей избе. Велик подвиг ее жизни: всех детей поставила на ноги, всю силу рук и души отдала им. Живя с сыном Васей, частенько оглядывалась в колхозную свою, выстуженную судьбу. Память у Анфисы Ивановны была зоркая, дума протяжная, а речь мудрая. Много в Василии Ивановиче — от родителей. Мне почему-то кажется, что горячая отвага его характера — от отца, а глубокая разумность — от матери.

Он очень рано, еще в детстве, осознал себя работником. Да и было ли детство-то? Колхозные трудодни — одна маета да слезы, Надейся на свой огород да на лес грибной и ягодный, да на озеро окуновое. Сызмала в руках — лопата да топор, корзина да удочка. Он памятно вбирал в себя всю стужу и горечь катившейся под уклон народной жизни. Еще не умея это выразить, он уже тогда нес в себя и свет, и тяжесть великого знания, называемого в народе божьим даром. Вот уж воистину: где родился, там и пригодился.

Кратко — в один анкетный образ — уместил Василий Белов свою жизнь. Он, как видим, прошел самый низовой, самый простонародный путь познания жизни и себя в ней. Уж кто-кто, а он мог бы с полным и гордым правом заявить: «Вышел я из народа». Но он этого никогда не заявлял, потому что «из народа» никогда не выходил. Наоборот, с годами все глубже, все сродственней входит он в эту первородную стихию жизни и настолько полно ее постигает и выражает, что живописная историография северной русской деревни под его пером все более и более обретает черты общерусские, общенациональные, а в тончайших своих прозрениях поднимается до общечеловеческих мировых высот.

В Василии Белове нет национальной замкнутости и ограниченности, ибо разум в нем выше пристрастий. Но нет в нем и национального отступничества, ибо Родина для него — свет гражданства. Я думаю, что тот,

кто кричит о любви ко всему человечеству поверх голов своего народа, тот обманщик. Если желаешь принести хоть каплю добра для всего человечества, обрати свой порыв во благо родному народу, и это твое добро через отзывчивую народную душу соприкоснется со всеми людьми мира.

Жизнь человеческая в высшем своем проявлении — это поступки добра и сострадания. Михаил Пришвин однажды записал в своем дневнике: «Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте; к истине человек движется. Правды надо держаться — истину надо искать». Какие точные слова! В свете этой пришвинской мысли жизнь Василия Белова — восхождение в гору от поступка к поступку. Я всегда поражался его безошибочному предчувствию событий и знанию того, что следует делать завтра, послезавтра и т. д. В глубине его зоркой сущности не истрачивается запас уже заранее обдуманных решений. Пусть не сразу и не всем очевидна бывает правота его позиции, но подтверждение ее всякий раз непременно наступает в жизни и обескураживает даже крупных людей.

В начале семидесятых годов из Академии наук СССР была подброшена коварная идея о сносе «неперспективных» деревень и развитии центральных усадеб да гигантских животноводческих комплексов. Всколыхнулась вся страна. Я помню, как в обкоме партии на встрече с творческой интеллигенцией первый секретарь А. С. Дрыгин рисовал картину очередного переустройства нашего горемычного сельского хозяйства. Все слушали заворожено. Лишь один Василий Белов встал и заявил, что в этом проекте — гибель не только деревенской жизни, а и вообще всего крестьянства, и от этого проекта надо отказаться. В зале повисла грозная тишина. Обком — за проект, писатель — против проекта. Но А. С. Дрыгин, разумно смягчив тон и обстановку, не унизил достоинство писателя, хотя и не послушался его.

Василий Белов не отступил от своего мнения, бился за правду до конца, написал прекрасную пьесу «Над светлой водой», которая лирическим взрывом прокатилась по многим театрам России и заставила миллионы зрителей задуматься о судьбе нашей деревенской родины. И теперь уже все видят, что объявленная ее «неперспективность» нанесла сокрушительный удар по на-

родной жизни. Вот именно этих упущенных лет, не говоря уж о более ранних загибах и перегибах, так не хватает для деревенского возрождения сегодня, когда наконец-то пробудился в нас здравый смысл и стыд за бедность своего существования.

А зловещий проект переброса стока северных рек в Волгу! И вновь лучшие наши писатели, а в их числе и Василий Белов,— в неотступной борьбе с Минводхозом. Сколько собраний в Вологде и в Москве, сколько бесед с учеными и членами Политбюро, сколько встреч с народом! Вроде бы возникла надежда на благоразумие, на прекращение работ, но нет: вновь обман — как гипноз. В низовьях Волги копают гигантские каналы, чтобы растащить ее воду по степям и повернуть-таки северные стоки на юг. Великая река погибает. И вот создается общественный комитет спасения Волги. И председателем правления общественного комитета спасения Волги избран Василий Белов. Какая ответственность вновь легла на его душу?

Коллективная доверительность к нему возникает потому, что в его правоте ощущается сила личного влияния на людей и на государственные дела. Не в красноречии, а в честной немногословности да мудрой проницательности таится его личная сила. Вспоминается мне борьба с пьянством, за трезвый образ жизни. Чтобы иметь право принародно противостоять этому злу-горю, Василий Белов сперва в самом себе изжил слабость — начисто отказался от куренья и выпивок. Неуступчивость его, непримиримость даже к мелочам в бытовой распушенности — вовсе не брюзжание, как кажется иным его недоброжелателям, а боль и стыд за наше безумство.

Желание видеть родной народ живущим здоровой и нравственной жизнью. Помнящим свои традиции и свою культуру — вот что заставляет Василия Белова ввязываться в споры с газетных полос и общественных трибун. Беспамятство завело нас так далеко, что уже виден обрыв в пропасть. Многие люди радость жизни ищут теперь не в труде, а в массовых развлечениях и увеселениях. Никогда прежде не бывало в России такой огромной армии «увеселителей», так называемых «специалистов» по воспитанию людей, по навязыванию им своего вкуса и взгляда на жизнь. Народная нравственность и национальная культура, десятилетиями утесняемая административной системой, теперь подвергается атакам

и так называемой «массовой культуры», хлынувшей с Запада. А еще Лев Толстой предупреждал, что когда культура перегоняет нравственность, то это — великое бедствие. И мы теперь воочию видим: в сознании и душах многих людей клубится, что угар, «психическая спутанность» как следствие утраты своих моральных опор.

Василий Белов такому тупиковому состоянию общества противопоставляет пример народного жизнетворчества, так блистательно выраженный им в книге «Лад». А другие его произведения! Выпускаются они миллионными тиражами и раскупаются мгновенно — такова читательская жажда на беловское слово. Выше я упомянул, что свою автобиографию он вложил в один анкетный абзац. А вот его писательская жизнь уже не уместается ни в трехтомник, ни в новые книги, издающиеся у нас и за рубежом. Потрясающе своей философией жизни образы, созданные им — Иван Африканович и Катерина из задуманной повести «Привычное дело». Олеся Смолин и Авенир Козонков из остроугольных «Плотницких рассказов». Павел Пачин, Игнаха Сопронов среди мужиков и баб из великого романа «Кануны». Медведев и Бриш из жгучего романа «Все впереди», Кузьма Иванович Барахвостов из лукавых «Вологодских бухтин»...

Да разве упомянешь всех полюбившихся нам или запомнившихся героев из беловских книг! Мне, например, еще очень дорог образ Ивана Тимофеевича из великого рассказа «Весна» и очень близок образ Кололены из маленького — всего в одну страничку — шедевра. Да, перо Василия Белова светится минувшим и будущим временем России. К его творческому пути бережно относились чуткие к правде века классики нашей литературы — Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Василий Шукшин... Александр Яковлевич Яшин в одном из писем ко мне так наставительно отозвался о Белове: «Помните: это очень большой талант, большой писатель и умница... С ним вы не собьетесь с пути правды и подлинного искусства».

БЕССОННИЦА ДВОИХ

Вечером, в канун 9 мая, купил я в уличном киоске роман-газету с новой поэмой Твардовского «За далью даль». Обрадовался, что успел: ее брали нарасхват. Тогда, в 1961 году, учился я в Москве, на Высших литературных курсах, а Василий Белов — в Литературном институте, и жили мы в одном общежитии. Подружились-то давно, еще в Вологде, на совещаниях молодых авторов, которыми заботливо руководили Александр Яшин и два Сергея — Викулов и Орлов. К ним в помощь приезжали иногда Константин Коничев, Валерий Дементьев, Михаил Дудин, Сергей Марков... Те литературные сборы молодых дарований достойны упоминания в летописи Вологды. Событийность их несомненна и доказана временем: что в Вологде пишется, то и в Москве слышится.

...Когда я показал Васе «За далью даль» Твардовского, он обрадовался, запотирал ладонью свой высокий лоб — знак назревающего поступка. И вот слышу: «Пойдем к тебе. У меня, видишь, проходной двор».

Да, он жил в трехместной студенческой комнате. Дверь хлопала поминутно. А на Высших курсах предоставлялось по комнате каждому слушателю. Но прежде чем подняться на мой шестой этаж, мы спустились на первый. Мы рассуждали так: уже вечер, канун Дня Победы, сбегает в магазин за едой и водкой и тогда, запершись, начнем вслух читать «За далью даль». Так и сделали.

Огромная поэма заманивала в себя не столько своим простором, сколько ожидаемой от нее мерой правды. Ведь она — правда-матка, закопана на Руси глубоко и добыть ее нелегко. На честное обозрение добывается она помалу, по одной горсточке, а то и по одному зернышку-отколышу. И лишь редкие и отважные творцы, как Твардовский — тоже не всегда, ох, не всегда! — выворачивали на свет Божий ее тяжкие пласты.

*И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой.
С ее терпеньем безнадежным,*

*С ее избою без сений,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью — не полней...*

Да это же все — и про наших матерей: про Васину Анфису Ивановну и про мою Александру Ивановну. Слезы жгуче вскипали в наших глазах. Речевая подлинность поэмы воспринималась настолько живо, что мы и не замечали стихотворной основы. Похожее волнение испытывали в своем отрочестве, в нашу деревенскую бытность, когда кто-нибудь из бывалых людей рассказывал до полуночи о своих скитаниях и страданиях.

*Мы все — почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли.
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели...*

— Неправда! — вдруг вскакивает Белов. — Помнили прадедов! И до четвертого колена дотягивались...

И тут я припоминаю, как мать рассказывала мне не только о своем деде Евгении, а упоминала и отчество его — Федорович. Выходит, Федор был ее прадедом, а мне — уже прапрадедом...

— А в каком же колене нашего родства было больше счастья? — вслух задумываюсь я. И Вася хмурится, внутренним оком пробиваясь в минувшее.

— Никто этого не скажет, — отзывается он. — А только видится мне, что прапрадеды наши жили разумней и счастливей нас. За родную землю крепко держались!..

— Да, — соглашаюсь я. — Нас утопили в политике и разорили до нищеты. Вон кукурузу на ржаные поля суем... Зачем? Кому это надо?...

— Правители у нас чужие, — мрачнеет мой друг и глядит в черное ночное окно.

— Вот Александр Трифонович хвалит и выгораживает Сталина, а ведь при нем за ржаные колоски баб сажали в тюрьмы. Вдов горемычных, многодетных...

— Сталин-то был не чужой, — говорю я.

— Да и не свой!... Ну, поехали дальше, — теперь уже Вася берется за поэму, а я слушаю его чуть картавый и напористый голос.

*...И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал.*

И вновь общежитская комната превращается в покачивающийся вагон дальнего следования. И сам Твардовский будто бы сидел поблизости от нас, сурово молчал и нервно курил. И то, о чем он думал, поочередно озвучивалось нами...

Да, Твардовский слово свое «вынул из-под спуда» и развернул из глубины времен и пространств образ движущейся России. Все на Восток, все на Восток... Неужели он предчувствовал, что спустя всего тридцать лет Россия будет так мученически унижена и чужой волей откинута от своих западных границ к Тихому океану? Нет, не мог он предчувствовать такого отброса России из двадцатого века в чуть ли не семнадцатый век...

И мы с Василием Беловым в ту бессонную ночь, прочитав вслух всю «За далью даль», вышли 9 мая 1961 года в утреннюю рань Москвы. Уже слышалась музыка. Тогда народ еще гордился своей Великой Победой...

ИДЕТ ТВАРДОВСКИЙ!..

В перерыве того писательского съезда, проходившего на второй день в Колонном зале Дома Союзов (открытие состоялось в Большом Кремлевском дворце), мы с Василием Беловым вышли в просторное фойе, празднично кипевшее многолюдьем, и уединились подальше, у тихого окна. Спорить или что-то обсуждать, даже пить вино (а буфеты зазывали вовсю) не хотелось. И потянуло в двадцатиминутный перерыв просто постоять у окна. И вот стоим да поглядываем на возбужденный делегатский гомон. И вдруг Белов тычет в бок:

— Твардовский идет!

Я невольно вздрогнул. Лицо охватило жаром. Изда-лека не раз я видел его в президиумах прежних писательских съездов. Но всегда чем напряженнее силился рассмотреть, тем смутнее различал его. А в душе моей все равно сияла тихая радость, что он здесь. И вдруг — идет! Взглядом кинулся туда-сюда... Не вижу!

— Да вон, справа,— Вася качнул головой в ту сторону и враз посвежел лицом и взглядом. Тут и я увидел его. Когда-то мы читали всю ночь его «За далью даль»...

Твардовский шел одиноко. Вокруг суетилось шумное многолюдье, а он, не соприкасаясь, шел сквозь него. Этот людской коридорчик возникал будто бы сам по себе. И он, сузив плечи наперед и зорко склонив голову, шел по нему несуетной поступью. В матерой его статности сквозила будто бы мужиковатость, а повернулся вдруг лицом — генерал! Одутловато узкие щеки, нахмуренный лоб с высоким зачесом волос. И всевидящие, глубоко горящие глаза...

Вася, слышу, взволновался:

— К нам идет!

Смотрю: Твардовский, заметив Белова, круто вывернул из многолюдья. От такой нечаянной радости я прямо-таки оторопел.

*...Когда пройдешь
Путем колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как хлеб хорош,
Как радостен ночлег...*

Эти строки вдруг вспыхнули во мне, и вдруг увидел я себя одиннадцатилетним мальчиком. Мама, потемневшая ликом, молча прядет куделю: уже второй месяц ждет с фронта отцовское письмо. Вся изревелась. А я возле настольной лампы читаю ей вот это стихотворение из нашей районной газетки. Конечно, перепечатанное откуда-то, но тогда я этого не понимал. А вот имя — Александр Твардовский — с той поры, с той газетки и запало мне в душу навек...

И вот он уже рядом. Он подает руку Белову, затем Вася знакомит его со мной (в «Новом мире» было напечатано мое стихотворение «Домашняя хозяйка»), и я чувствую его мужичье рукопожатие.

— Все жалею, что «Привычное дело» напечатал ты не в «Новом мире», — вдруг с неожиданным перескоком сказал Александр Трифонович.

— Тогда-то я был рад — перерад, что «Север» напечатал, — оживился Василий Иванович. — Ведь пришлось пойти на обман цензуры, указать, что продолжение повести вот-вот последует...

— «Плотничьи рассказы» тоже хороши, — Твардовский коснулся беловского плеча. — Спасибо, что отдал нам... И, прощально улынувшись, пошел своим путем...

СВЯТОЕ ПРОВИДЕНИЕ

В теперешней жизни без дружбы пропадешь, загинешь. Я рад, что живу по соседству с Василием Беловым. С ним можно одолеть духовную немочь: в нем мысль отважная и правда зоркая... Заходит как-то ко мне, вернувшись из Москвы, усталый и разгневанный правительственной политикой. И говорит, что завтра уедет в свою Тимонику — хоть неделю подышать родиной. Может, удастся успокоиться и завершить подготовку собрания сочинений в пяти томах.

— Пойдем, побродим по Вологде,— говорит он.— Поклонимся святой Софии и Батюшкову... И мы двинулись к золотисто-белому сиянию соборов, под благословение вековых крестов.

— Знаешь,— оживился Василий Иванович, словно бы вдруг помолодел,— а Вологда наша хороша!.. Много повидал я великих городов: Париж и Рим, Лондон и Токио, Нью-Йорк и Вашингтон... Мировые столицы! В них открывались красоты и чудеса, а вот радость жизни для меня — только в Вологде. Да-да, вот в этой самой березовой свежести, возле этих кремлевских стен, или на речном откосе, любуясь нашим левобережьем и дивными на нем соборами и церквями... Дышится и думается здесь глубоко. Родина святым духом кормит...

— А в Москве как?

— А в Москве тяжело. Знобит душу...

И тут впервые я услышал от него грустные сетования на возраст, на усталость, на возникающую уже «непослушность» слова. Да, впервые я услышал такие сетования друга и, конечно, пожалел его, обремененного сверх всякой меры заботами жизни и творчества. Он — верный выразитель всероссийской боли и народной правды, потому и тяжело ему, скупому на откровенность. И помочь ему невозможно: почти постоянное несовпадение духовных величин лишь раздражает его.

— Вот говорят: молчаливое большинство,— начал вновь горячиться.— А кто оно, что оно? Молчаливое большинство — это контуженный ум народа, душа его, запекшаяся от вранья, горя и разорения. Что ни новая политика, то опять кривой путь и всегда чье-то беспо-

шадное своекорыстье. Кажется, близок конец и нашему русскому терпению...

Помолчал и хмуро взглянул в меня: — Нас может спасти лишь Святое Провидение...

— Это же великая тайна,— замялся я.— Святое Провидение!.. Ведь Оно непредставимо...

— Однажды Оно и спасло меня.

— Как это? — изумился я.

— А вот так. Приехал в Тимонику и решил порыбачить. Дело было в конце сентября. Вода в озере студеная. Глубина до двух саженей. Дно илистое. И все-таки я отчалил на лодке-долбленке ставить сетку. Отъехал от берега метров на четыреста, на знакомое рыбное место. Воткнул в дно длинный шест и стал от него двигаться, выбрасывать мерёжу. Так увлекся, что в азарте сильно накренил лодку. Она зачерпнулась. Я опрокинулся на другой борт, чтобы выравнять полотно, но тут увидел, что лодка захлестнулась водой с обеих сторон и пошла ко дну.

Я в фуфайке, в ватных штанах, в охотничьих сапогах. Одежу не скинуть с себя. Уже по горло в воде. Вдруг лодка перевернулась вверх дном и запуталась в сетке. Я понял, что погибаю. Кричать бесполезно: до берега далеко, людей там нет, ольшаник скрывает и мою деревеньку.

Так ужаснулся я, что не почуял даже, что леденело в черной воронке. Она крутит и тянет ко дну. Все, конец...

И тут в брызгах вспыхнул какой-то светлячок. Я, захлебываясь, вскинулся из-под воды. Да, что-то светлое манит. Из последних сил потянулся туда. Светлячок оказался ребристой заклепкой на брюхе лодки, и я ухватился пальцами.

И тут — надо же такому случиться — из пучины выскочило уроненное весло и ткнулось мне в живот. Я судорожно схватил его и оседлал перевернутую лодку. Оседлал ее, отдышался и потихоньку начал грести. Не знаю, как долго это длилось. От обморока всего трясло, сводила судорога, а лицо пылало, что в горячке...

Наконец-то, берег! Сунулся в грязь, в кочкарник, пополз к чёмине, ну, к сухой бережине, выполз на нее, еще не веря, что жив. Приподнял голову — а надо мной меж туч, смотрю, вдруг посветлело, развиднелось,

а с бугра и деревенька глянула на меня радостными окошками.

И я, счастливый, упал на колени и стал креститься и громко твердить «Отче наш...» Да, меня спасло Святое Провидение...

Потрясенный этим признанием Василия Ивановича, я не знал, что и вымолвить. Лишь почувял, как широко окатило теплом и мою душу.

РОДОВОЕ ДРЕВО

О поэзии Сергея Викулова

Так бедственно покачнулась наша
жизнь, что прямо-таки на слуху
теперь строки Сергея Викулова:

*Всему начало —
 плуг и борозда,
Поскольку борозда
 под вешним небом
Имеет свойство
 обернуться хлебом.
Не забывай об этом никогда:
 всему начало —
 плуг и борозда!..*

И я, повторяя это замечательное стихотворение, думаю о самом поэте, верном российскому крестьянству. Впервые с Сергеем Васильевичем встретился я в 1948 году, когда ему было 26, а мне 18. Я только что поступил в Вологодский пединститут и таил про себя тетрадку со стихами, а он, фронтовик, уже учился там и печатался в «Красном Севере». Он первый из поэтов заботливо прочитал эту тетрадку и решительно поддержал меня в творческих исканиях. Такое никогда не забывается.

И поныне в близкой яви вижу я молодого Викулова в офицерской гимнастерке. (Он закончил Отечественную войну в Венгрии капитаном). На его осунувшемся лице серые глаза казались мне огромными, изглубляющимися, будто в них таились отсветы с родины его, с Белого озера. Весь институт уже любил его стихи, и на вечерах в переполненном актовом зале он, статный и высоколобый, ступал на сцену и, широко развернувшись, читал свою «Рыбачку» — знаменитое тогда молодое стихотворение.

*Тянут чайки в даль просторную
И кличут на лету,
А она стоит, задорная,
Смеется на плоту.
Свежий ветер треплет волосы,
Шумит по берегам.
Золотую солнце полосу
Ей бросило к ногам...*

То послевоенное время было трудное и голодное — не во что одеться и нечего есть, а студенческая молодежь такой нужды словно и не замечала — она жила наукой и поэзией! Мы в обморок падали от истощения, а от книг, от стихов не отрывались. В народе горела надежда на свое завоеванное будущее, а в нас, юных, кипела победная гордость жизни! Поэтому свою первую книгу стихов Сергей Викулов и назвал «Завоеванное счастье».

И если глянуть глазами тех — пятидесятых — лет на сегодняшнюю нашу разруху, творимую по чужому наущению и плану, то можно ужаснуться и подумать, что власти, правящие Россией, сошли с ума. И, обезумев, добровольно вскинули руки и поползли на коленях за долларом на Запад. Вот что значит растряссти в политических страстях свое национальное достоинство и позариться на позолоченный капкан чужих миллиардов!..

Уж до поэзии ли теперь! Ведь поэзия — это свободный порыв к истинам, еще не познанным, и к красоте, еще не виданной. Поэтому и самый первый знак утраты своего национального будущего — это исчезновение из народной жизни именно поэзии и искусства как ее светоносности и радости.

*Оглядываюсь с гордостью назад:
Прекрасно родовое древо наше.
Кто прадед мой? Солдат и землепашец.
Кто дед мой? Землепашец и солдат.
Солдат и землепашец мой отец.
И сам я был солдатом, наконец...*

Так звучит надо всей нынешней разрухой жизнеутверждающий, заставляющий вспомнить, кто мы есть и откуда идем, поэтический голос Сергея Викулова. У многих поэтов опускаются теперь руки от безысходности, а он упорно ищет просветы и выходы из трагедии нашего крестьянства.

И недавние его стихи звучат свежо и мудро.

*О, не казись раскаяньем напрасно
И не таи на прошлое обид:
Что сделано — то нам уж не подвластно,
Подвластно то, что сделать предстоит.*

«ДИОНИСИЙ» ВАЛЕРИЯ ДЕМЕНТЬЕВА

Бродил я не раз по холмистым берегам Бородаевского озера, силясь своим воображением заглянуть в год 1501. И уже мерещилось мне, будто и впрямь вижу самого Дионисия, остановившегося в раздумье на озерном приплеске — только вот лицо его затенено вскинутой ладонью. Вот-вот сейчас он опустит руку, и лицо увижу... Но на месте этом оказывалась елочка в темном монашеском одеянии...

В человеке неодолимо живут два устремления — заглянуть в свое глубокое прошлое и свое близкое будущее, чтобы тверже пройти свой путь и обрести душевное равновесие. Но то и другое — запертые золотые ларцы. Тем упорнее и мучительнее бьется человеческая мысль, чтобы отыскать ключи к этим золотым ларцам, и, если не открыть, то хотя бы полуоткрыть их и раздвинуть над своей дорогой глухую стену времени.

И когда я впервые прочитал повесть «Утешение Дионисия», то сразу почувствовал, с каким упорством искал этот ключ Валерий Дементьев в летописях, в древних письменах и в свидетельствах знатоков иконной живописи. И ему, к счастью, удалось найти этот ключ и полуоткрыть глубину веков. Радостно это чувство — ощутить себя свидетелем, как бы очевидцем столь далеких уже событий и лиц, будто стоишь у деревянной, рубленой в лапу монастырской ограды весной 1501 года или бредешь по ромашковой тропе возле Бородаевского озера, на приплесках которого ищет Дионисий охристые, янтарные и голубые камни.

Весенним светом высвечено усталое, белобородое лицо знатного иконника, сухим блеском полны его глаза. Он весь — в думе, властно охватившей его, о своих чадах-сыновьях («как бы не иссякла, не растворилась в мелочах их сила взыскующая, духовная»), о жизни («справедливости, благолепия и мира жаждут люди»), о ремесле своем («дабы потомки не променяли простых речей на краснейшие»). Не краски он клал на влажные стены собора — душу свою положил, думу долгую и

мучительную, потому и горение такое в храме. И все это не на византийский манер, а на свой, русский.

Крупно, зримо рисует Валерий Дементьев жизнь Ферапонтова монастыря в его драматическом моменте. Сталкиваются две разные силы: кликушество в образе юродивого Галактиона, усмотревшего в радостных фресках великого старца смешение божественного с мирским, и сам Дионисий «со чадами Феодосием и Владимиром», выразившими в иконописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Это извечное боре-ние, мучительное и тяжкое, не минуло и Дионисия. Лишь одним утешением ему служила мысль о своей пользе для Руси.

В горькие минуты он обращался только к Ней... «Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С краскам да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих — князей в золотых одеждах, святителей в бархатных саккосах, служивых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых мужиков в сермягах да женок их в холстинковых сарафанах. Многолюдна ты, матушка — Русь!»

Определенно можно сказать, что в нашей исторической литературе пока нет более значительного художественного изображения Дионисия и его времени, чем эта повесть Валерия Дементьева. А образ самого Дионисия в двух поворотах, созданный гениальным пером и резцом Генриетты и Николая Бурмагиных, — это истинное чудо.

Хороводы стихов! В них многозвучье деревенских улиц, базаров, гуляний, страданий, переплясов, пересудов, перекликов, и посреди этой голосистой удали — сам поэт с жаркой бала-лайкой в руках.

*...Ударю по струнам —
Трень да брень.
Идут ко мне юные:
— Добрый день!
Идут ко мне ровесники,
Один к одному.
— Прими нас в песельники.
— Ладно, приму.
Идут ко мне старые,
Пиная пыль.
— Были усталые,
Ты в нас поднял пыл!
Голос мой веселый,
Пальцы по ладам,
Шел я по селам,
Шел по городам...*

И называть не надо, кто это. Ясно — Виктор Боков! Его поэзия — что соловьиное зарево. В ней праздничный трепет света, звона и призыва жить радостно, захлеб. И это зарево перемещается вместе с ним, куда бы он ни шел по российским дорогам и проселкам. А в самом художническом облике его проступают черты тех далеких наших предтеч, которые расплескивали свою песенную душу на гусях, рожках, свистульках, в скоморошьем азарте и в неумейной дерзости слова. В русской натуре великое множество разных свойств, и среди них есть одно удивительное — это умение даже горе переложить на радость как на единственную возможность мудро взглянуть на человеческое бытие. Виктор Боков весь распахнут именно перед радостями жизни. Такова музыка его души. Таково его мироощущение, при котором чувство обгоняет мысль, но оно столь кипуче, зримо, свежо, что само как бы становится уже мыслью. Это любо или не любо кому, но он именно такой, ни на кого не похожий, большой мастер русского стиха.

Скажем, мне, вышедшему из крестьянства, ближе с годами уже суровая поэзия раздумий, драматических пластов и характеров, но сердце всякий раз срывается с места, когда слышу песенный полет боковского слова. «Гляжу в поля просторные», «В чистом небе ясный месяц», «Ох, не растет трава зимою», «Я назову тебя зоренькой», «Завять — не завяну», «Володенька, Володенька», «Коло-коло-колокольчик», «Ой, снег-снежок», «Непонятливый такой», «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский платок»... Сколько у Виктора Бокова песен, так утепивших нашу жизнь! Лишь свободно — во всю Русь — раскинется по радио запев Людмилы Зыкиной об оренбургском платке, как старая мать моя в вологодской деревне замрет у окна, затихне просветленно, и от песенного наплыва нежности, бережности и доброты навернутся у нее на глазах слезы. Это я видел не раз.

Поэзия Виктора Бокова крепко замешана на дрожжах фольклора — того самого, что частушкой и острословьем летал по улице его детства в подмосковной деревне Язвицы, и того, который потом услышал и собрал поэт в своих странствиях по России. Память его будто колодцы: он способен оттуда часами неумоимо черпать и исполнять народные (а, может, это свои?) запевки, припевки и частушечные наигрыши. Да, фольклор — великое наше богатство, но распорядиться им — дело не простое. Сблудись без душевной потребности, без сердечного повода, а так, ради красоты единой, да сыпни этих «дрожжей» неосторожно в свой словесный замес — и выскочит из-под пера этакое румяное, но, увы, лубочное изделие. И у Виктора Бокова такое случалось и не раз, и не два, но в лучших стихах его — полнокровное сияние родного слова. Поэтому его творческий опыт так интересен и поучителен сейчас, когда тяга к фольклору стала поистине повсеместной.

Вот знак нашего времени! Не столько, может, глубоко еще осознали, сколько, наконец-то, мы почувствовали, что фольклор — это сама историческая молодость нации, гениально и живо для веков запечатленная в богатырских былинах, в мудрых сказках в героических преданиях, в красочных обрядах, художествах, узорочьях и в разлитом море песен. Частушка в этом море — лишь поздняя синица. Глубинные же

волны фольклора ныне особенно ощутимо плещутся в нашей литературе как спасительные противовесы явно наступившему кислородному голоданию художественного слова, а в музыке — как противостояние пошлой эстраде, а в искусстве — как высокий порог перед бездуховностью.

*...Песня русская — не голошенье,
Не дебош, не надрывная грусть,
Это тихое разрешение
Рядом сесть и в глаза заглянуть.
Все она своим сердцем объемлет.
Ей и двадцать и тысяча лет...*

Хорошо сказал поэт о нашей песне: «ей и двадцать и тысяча лет!». Вот в этой прочной протяженности из прошлого в будущее — тайна народности. Если бы такой тайны не было, то не кипели бы издавна и теоретические споры о народности. Они не затухают и поныне. И странной казалась (да и теперь иногда кажется) отчужденная настороженность к самой сути этого дела к художественной практике. На трудном пути из народных глубин в литературу — на эту многопропастную гору — всегда оказывались такие пророки и апостолы от литературной критики (Кольцову повезло — его встретил Белинский!), что даже крупные таланты запинаясь и падали: в слове, которое они несли, был слишком крепок дух родной земли, а от него и поныне коробит иных теоретиков стиха. И теряя время, пробуя себя в поверхностном пласте слова, более, что ли, «современном», эти самородки в конце концов вновь возвращались на круги своя, и, окрепнув, победно штурмовали высоты в отечественной литературе.

Лирика Виктора Бокова не знает понятия малой родины. В ней нет той пронзительной, до боли, привязанности, какая, скажем, была у Александра Прокофьева к родной Ладогe, а у Александра Яшина — к своей вологодской стороне. У того и другого эта пристрастность нервами переплеталась в стихах, сразу проясняла их родословное древо и собственное обличье. Конечно, и у Виктора Бокова звучит материнское Подмосковье, но в степени, уравненной со всеми весями и градами Руси. Его тянут к себе разные края. И лирика его опоясана дорожным ремешком.

Из множества встреч поэт отбирает самые летучие впечатления, и, преломляя их в слове, творит моментальные снимки красоты. В такой подвижности стиха таится опасность повторения и лакового глянца, но Бокова выручает изобретательность. Он любит звучность, сочность и телесность строки. Это у него — от подосновы, от мужицкого чутья и взгляда на жизнь. Лирика его — в полях, в лесах, на реках, в людской толчее. Она, что называется, всегда на ногах, поэтому непринужденна, проста и улыбчива. Она для поэта — разговор прямую с людьми и любимой, с городами и селами, с берегами и черемухами, с дроздами и соловьями, с облаками и травами — с Родиной своей большой, с Россией. И когда вглядываешься в боковскую лирику, то, взволнованный, видишь в ней росистое, как радуга, многоцветье жизни.

«ВСЯКОГО ЗЛАТА ДОРОЖЕ»...

Виктор Коротаев
в русской поэзии

В нашей повседневной толкотне, спешке и раздражительности мы зачастую никого не чуем и не видим, кроме самих себя: как будто другие люди — все на одно лицо. И непременно нужен нам какой-то чрезвычайный случай, чтобы враз преодолеть слепоту своего равнодушия. Нужен юбилей, чтобы приподняться над суетой жизни и крупно увидеть лучшие черты и достоинства близкого нам человека.

Давным давно, еще студентом Вологодского пединститута Виктор Коротаев в первой книге стихов «Экзаме́н» заявил:

*Я о себе тревожусь
в двадцать,
чтоб быть спокойным
в пятьдесят.*

Тогда, в 1962 году, ему казалось, что именно в пятьдесят лет человек достигает полного житейского спокойствия. Во всяком случае, представлялось, что пятидесятилетие — главная веха в человеческой жизни, но она где-то далеко-далеко. И вот, достигши такого возраста, он, конечно, снисходительно улыбается, взглянув на эти давние свои строки.

О, первые наши книги — страстные исповеди на пороге жизни! В них такая вера в будущее, в людей, в свой путь, что эта юношеская запальчивость — право же, не заблуждение, а высший, лучший вариант мыслимой жизни, к сожалению, недостижимой в действительности. Поэт всю жизнь как бы собирает и накапливает в своих книгах быстро идущее время — не только «личное», «свое», но и многих других людей — своих современников. И с годами самое имя истинного поэта становится живым отсветом времени, уже нестареющего никогда.

Так что же таится в этом поэтическом имени — Виктор Коротаев? Какая в нем мера самобытности и постижения жизни, какая правда-матка гнездится

в этом имени? Я снимаю с полки одну за другой двенадцать книг Виктора Коротаева — итог весомый, значительный! Мало у кого из поэтов — его одногодков столько книг. Это редкая удача в наши тяжелые для книгоиздания времена. Но это и свидетельство творческого напряжения таланта.

Вживаясь в книги Виктора Коротаева, я вижу, как колеисто ищет он и, наконец, обретает свой поэтический путь. Я выскажу, видимо, спорное суждение, однако в нем есть простор для раздумий. В Вологде за послевоенное время было четыре писательских взъема, возникавших, как правило, через 7—9 лет. Вот этот таинственный творческий ритм, вот вершинные имена, вокруг которых всякий раз грудились новые дарования: Яшин — Орлов, Викулов — Белов — Рубцов, Фокина, Коротаев — Чухин... Ныне этот ритм почему-то исчез...

Возвращаясь мыслью к Виктору Коротаеву, мы видим, что он по отношению к Яшину — началу всех наших начал — «возник» в третьей творческой волне. В Вологде к тому времени уже создалась яркая писательская организация. И молодому Коротаеву в такой взыскательной среде было единовременно и легко, и тяжело.

Пошатывали сильные влияния старших. Слова вязли в длиннотах, красивостях и риторике. В авоськах звонких рифм часто оседала лишь пена жизни. Но поэт работал азартно — такой боевой и жаркой работы в поэзии я не видел в те годы ни у кого. Тревога — эта извечная спутница прозрений — все чаще стала гасить удалые восторги жизнью.

*Дыхание сбивается опять.
Нелегко воздух нынешнего века.
Всей кожей начинаю ощущать
Присутствие чужого человека...
Томятся сотни из-за одного.
Не молвится ни слова без оглядки.
Повсюду он.
Как будто кто его
Сюда приставил
В приказном порядке...*

Предчувствия чего-то ложного и враждебного вековым устроением родного народа уже не покидали его. В глубине раздвоенного сознания теснились острые до-

гадки причин и следствий такой разрухи, и гнела тоска по утраченному людьми ладу жизни, по оскудению душевной чистотой и цельностью. Отсюда и порыв к предельно искренней и честной поэзии, как может, к единственной возможности вдохнуть, вобрать в себя всё триединство мира: минувшее, настоящее и грядущее, прикоснуться пытливым мыслью и строкой то к братским могилам, то к разрушенным деревням, то к загадочным далям России. Везде влекла тайна бытия, и нигде не было взыскуемой отрады. Так Виктор Коротав поепенно приходил к выявлению в самом себе поэта гражданского размаха. Я думаю, что лишь после сорока лет, после выхода в свет крупных поэтических сборников «Чаша» и «Перекамы», он и сумел выразить многие черты своего поколения (то есть самого себя) — выразить патриотично, трагедийно и обнаженно нервно.

Критик Владимир Гусев однажды так размышлял в «Литературной России»: «Ни одно из военных поколений не было потерянным. Они были во многом физически уничтожены, но не потеряны. «Сорокалетние» были первыми из истинно потерянных в нашей литературе... Наше поколение — усталость в генах. К пятидесяти годам мы все — усталые люди...»

Виктор Коротав представляет собой, своим творческим путем именно это поколение. Но он разве «потерянный» в нынешней русской поэзии? Нет, конечно. Вот они, под рукой — его книги. А что касается «усталости в генах», то — спросите — кто у нас не устал от душевной раздвоенности и неопределенности в путях наших?

*Так устаю от многолюдства.
Чьи-то спины застыт свет.
Там и тут спуют,
Толкутся,
Гомонят,
Во все суются —
Никакого спасу нет.
Ладно б хоть родные лица.
Сносно б хоть прямая речь,
А у этих все лоснится,
Примеряется,
Стремится
Только с нужным
Сесть и лечь...*

Вот он, Виктор Коротаев — прямо, грубо, сильно! Такая манера самовыражаться может кого-то раздражать, но ничего не поделаешь — поэт предстает перед нами таким, какой он есть в своем природном порыве. Его талант раскрывается в гневе на чванство, карьеризм, лицемерие и ложь. Через себя, через свой душевный разлад с теми, кто «снут, толкутся, гомонят», чтоб «только с нужным сесть и лечь», через свое отрицание этого «лоснящегося» мира, он и выразил нашу нынешнюю злобу дня.

Можно даже сказать: вот такая поэзия и готовила духовную перестройку в обществе. Поэт чувствует народную тоску по истинной государственности, когда каждый человек мог бы сказать: «Я свободен в своем труде и в своих мыслях, так как знаю, что мой труд и мои мысли необходимы Родине». Но трудно в России быть русским поэтом. Если в тебе много родного, отечественного, народного, то ты в глазах пугливых ревнителей порядка уже опасен своей национальной самобытностью.

Виктор Коротаев, борясь с таким оскорбительным наветом, высоко и ярко поднимает свое слово о России. Его поэтическая дума о родине плывет из книги в книгу прямо-таки колокольным звоном. Вот стихи, пожалуй, уже хрестоматийного свойства: «Прекрасно однажды в России родиться», «Простирайтесь вдаль, поля», «В годину бурь и тяжкого раздора», «Братские могилы», «По лесам и по горам», «Счастлив я в своем добре и худе».

Перо его неутомимо. Иной раз из «ничего» он делает стихи. Строка за строкой, самые на вид заурядные, но где-нибудь перед концом вдруг найдет такой поворот в мысли или в интонации, что сразу вспыхивает все стихотворение.

*...Теперь не боюсь посмотреть
На тучи,
Что ходят кругами,
Поскольку
Родимая твердь
Давно
Не дрожит под ногами.
Пусть лупит судьба под ребро.*

*У нас,
Наконец-то,
Похоже,
Такое в кудрях
Серебро,
Что всякого злата
Дороже.*

«У ЧУЖИХ КОСТРОВ НЕ БУДУ ГРЕТЬСЯ...»

Встречи с Василием
Журавлевым-Печорским

Оглянешься на жизнь свою — пого-рюешь и порадуешься... Среда мно-жества писательских знакомств одно из них — с Васи-лием Журавлевым-Печорским — отзывается во мне осо-бенно памятно. Это случилось давным давно — в 1957 году в Смоленске, овеянном именами Исаковского и Твардовского. В него Союзом писателей были созва-ны со всей России молодые поэты на творческое сове-щание.

Годом раньше у меня в Вологде вышла первая книга стихов «Признание друзьям», а у Васи Журавлева в Сыктывкаре — тоже первая книга «Моя звезда». На ней размашисто надписано: «Саше! Вологжанину от северянина В. Журавлева — моржа Печорского. Смоленск. 25 апреля 1957 г.».

Тогда, помню, как раскрыл подаренную книгу, так и налетел на хорошие стихи.

*Весь вечер бренчат балалайки
В просторной рыбацкой избе,
Но ты не зайдешь, молодайка:
Здесь нечего делать тебе.
Сюда отходило тебе...
И вот уже «каты-покаты»
Землячки мне хором поют,
Как будто я самый богатый,
Давно ожидаемый тут,
Жених, поджидаемый тут...*

А Вася стоял рядом и улыбался, видя, как книга его весело загуляла в моих ладонях. На совещании мы разместились за одним столом. Соседствовал с нами Анатолий Поперечный. Он тогда не сочинял песен, а вы-ставил на обсуждение поэму «Мария». От нее жарко повеяло черноокой Россией. А затем широко и прохладно опажнуло Севером: всплесками сѣмги на Печоре, кли-ками лебедей, медвежьим рыком и голубым колдов-ством девичьих улыбок. Это, запинаясь от волнения, читал свои стихи Василий Журавлев.

Руководители нашего семинара Николай Рыленков и Михаил Дудин были доброжелательны. Они размышляли вместе с нами, что такое Поэзия, в чем ее сущность и неотразимая сила. Она — сияние великого тепла и смысла, ничем иным незаменяемого, как только Ею самой... Тогда в Смоленске мы с Васей подружались и на память сфотографировались вместе с известным критиком, заметившим и поддержавшим нас на этом совещании, Александром Николаевым Макаровым...

Вновь мы встретились в Москве, на Высших литературных курсах. Я учился уже на втором, а Вася принят был на первый курс. И зачислен в семинар Александра Яшина. И поселился в комнате поблизости от меня. И затосковал по Печоре... Зашел я к нему — склонил, смотрю, лысеющую голову на ладонь, а перед ним листок, весь исчерканный. — Бессонница навалилась, — говорит. — Вот послушай...

...Как там? Что там сейчас? Не ведаю.

Мне бы в руки ружье да в тайгу...

Ни в луга заливные,

*Ни в едому**

Заглянуть до весны не смогу...

Заставляют стихи перечеркивать,

Понимать начинаю сам,

Что нельзя пробавляться вечерками

Да любовью к своим лесам.

Много думаю.

Молча слушаю.

Что полезно — мотаю на ус.

Ты же знаешь, что я полушинец!

Из Полушина я...

Держусь!...

Разгорячился, глядит на меня: Ну, как? Отвечаю, что это честные и просторные стихи.

— Включу в новую книжку — обрадовался и добавил: — Коль поглянулись, посвящаю тебе!..

Это стихотворение «Письмо из столицы» было напечатано в книге «Ивняковая сторона», выпущенной издательством «Советская Россия».

Как-то при удобном случае спросил я у Александра Яшина, что он думает о поэзии Василия Журавлева с Печоры и услышал: «Талантливый поэт, да сбивается

* Едома -- домашний, в чернолесье берег (северное).

на репортажи. А у Поэзии дно глубокое — покатал Александр Яковлевич под рыжеватыми усами широкое «о». — Поди-ко, что у Печоры»...

Да, Василий Журавлев, помимо стихов, успешно занимался и журналистикой. Печатался в «Правде» — это считалось тогда значительным успехом. И проза у него накапливалась. Так обретал он свою писательскую самобытность.

Через год я вернулся в Вологду, а Василий остался доучиваться в Москве. И не виделись мы слишком долго — двенадцать лет. Только через центральную печать переключались стихами друг с другом, но это случалось редко.

И вот в 1975 году издательство «Молодая гвардия» и Российский Союз писателей предоставляют Виктору Коротаеву и мне творческие командировки в республику Коми. Сыктывкар, Ухта, Ижма, Усть-Цильма, Нарьян-Мар — таким оказался этот памятный путь. На нем повстречали мы много всякого люда, добра и худа, красоты и разора, и печального простора. Погорячился в спорах с коми писателями. И захотелось встретиться с Василием Журавлевым, но в Сыктывкаре на ту пору его не оказалось. Он пребывал в Усть-Цильме.

И мы с Виктором Коротаевым ринулись на Печору. О, эта великая река! Кабы не знать, какую глубь и ширь каторжного горя скатила она в океан, то нам, впервые увидевших ее, замереть бы на палубе и тихо радоваться ее суровой красотой. Но мы уже знали о бескрайнем людском горе, мыкавшемся по ее берегам, за сторожевыми вышками и колючей проволокой, а видели мы с палубы лишь дивную ширь да кружева волн, летевшие к берегам в криках чаек. Там из приплесков выкатывались сизые ивняки, а над ними брели вверх темно-зеленые ельники, а еще выше, на береговых извивах, облачно трепетали березы. Нет, не Мать-природа и не Печора-матушка, а власти, а сами люди творили и творят злодейства и каторги. Божественная природа в двадцатом веке оказалась рабой людского одичания.

*Средь безбрежных лесов
И пьянящего запаха хвои
Есть Усть-Вымы,
Усть-Немы,
Усть-Ижмы,
Усть-Вои...*

Немного осталось в них от изначальной самобытности, но все-таки устояли они в вихрях перемен. И старинные певучие их имена поэзией отозвались в сердце Василия Журавлева-Печорского.

И вот мы с Виктором Коротаяевым слышим: Усть-Цильма! Глянули вперед, а она — в небе! С высокого и пологого берега спускалась уличными посадками, что хороводами. Дома хвастались друг перед другом мезонинами, балкончиками, оконной резьбой, крыльцами, палисадниками и золотыми поленницами дров. Вся Усть-Цильма сияла перед нами еще незабытой сказкой своего древнего жизнеустройства. И мы обрадовались, что Русь на Печоре жива.

Представившись районным властям и разместившись в гостинице, мы с местным провожатым пошли навеситъ Василия Степановича в его родовом доме. Уже вечерело, и дом Журавлева показался нам тревожно огромным. Встретила нас мать Василия — Раиса Ивановна. По стихам сына я знал, что она всю жизнь учительствовала и перемогала тяготы жизни лишь верой в лучшее будущее. В своих поэтических письмах с Мезени (родоначалье свое Журавлевы вели оттуда, а как и почему оказались на Печоре — кто теперь скажет?) Василий так признавался матери:

*...Когда вернусь, заметишь, что не зря
Я вспоминал какой-то старый дом.
Мы — нищие, открыто говоря,
Когда без малой родины живем.*

Вот она, горькая и страшная правда многомиллионных русских судеб...

Раиса Ивановна из темных сеней привела нас в светлую избу. И каждому пожала руку, и усадила за стол к самовару. Заметно огнетенная годами и невзгодами она — диво дивное! — своим обличем и поглядом излучала приветливое тепло. И нисколько не смутилась, а лишь пожалела, что Васи не оказалось дома.

— Он у меня бродяга — сказала откровенно и просто. — Завтра вернется, и увидите с ним. А пока погостите у меня. Как чужая, что гости будут. Вот рыбников напекла. Рыбка-то печорская! Пробуйте, пробуйте! Ешьте вволю...

Поутру примчался к нам в гостиницу и Василий Степанович. Как глянули друг на друга — впору бы руки опустить, а мы вскинули их и крепко обнялись. И его

седина на миг прислонилась к моей. Виктор Коротаяев видел Журавлева впервые, но сразу понял, что он из нашего мужицкого родства. И за стол уселись, радуясь, что довелось встретиться еще раз.

В нем, в «удельном князе Печорском» (так с грустной иронией однажды обозвал сам себя) изначально кипела правда чувства и жила надеясь на свое поэтическое дарование. Надея! Как простонародно и молитвенно звучит это слово!

*...И покуда в раковине сердца
День и ночь вовсю гудит прибор,
У чужих костров не буду греться,
Разожгу хоть маленький, но свой.*

Это не гордыня и не кичливость, а порыв к собственному достоинству, к выработке своего света и тепла для всеобщей жизни. Сколько же шляется среди нас всяких иждивенцев и бездельников! Такие люди толпятся у чужих костров, ждут, кто бы их обогрел да утешил. Нет, Василий Журавлев-Печорский, живя в краю суровых староверов, может, и неосознанно, а с похожим на них упорством держался за веру в свои поэтические «костры». Да иначе и невозможно заниматься творчеством.

— Много езу, много вижу, душа изныла — говорил он в том давнем и последнем нашем застолье. — Лес губим, нефть плещем. Люди без жилья, а медведи без берлог — все звереем... А Север-то наш какой богатый, а своим же людям не впрок! — страдал он, и мы разделяли его тоску и боль. Мне подумалось тогда, что Вася оказался внимательным учеником Яшина: в его поэзии сквозь охотничьи страсти прожигалась уже социальная боль.

*...Исчезает за током ток.
Неужели нельзя помочь?
Время каждому дать зарок:
Не расстреливать белую ночь!*

В тот день побывали мы в редакции газеты «Красная Печора» и на замшевом заводе, а наутро отплывали в Нарьян-Мар. Вася пришел проводить нас. Мы крепко обнялись. Пароход отходил от пристани, а Вася в своем синем спортивном костюмчике все стоял на причале и махал рукой. И его грустное лицо уплывало от нас в зыбкий туман одиночества...

Весной 1977 года я получил номер «Красной Печоры» с его отзывом «Продолжение разговора» на мою новую книгу стихов «Пласты». И вот это письмо.

«Саша! Я опять в Усть-Цильме. Заехал на месяц, а пробыл уже почти год. «Продолжение разговора» не рецензия, а лишь напоминание о том, что «Север Вологодой не кончается». Ты и сам не знаешь, как поразовали меня твои стихи, посвященные землям отнюдь не вологодским.

Как ты жив, дружище? Что выдал Виктор Коротаев? Над чем склонил свою княжескую голову Василий Белов? Черкни.

Летом у меня вышла книжка стихов «Поветерь», в начале 78 года выйдет книга прозы (рассказы — 18 печ. листов) «Заливень». В этот раз потянула на Печору не скука городской жизни, а то, что захотелось вдохнуть того ветра, чем жил всегда. Пока все. Жму руки ваши.

Вас. Журавлев».

Это торопливое «пока все», брошенное из письма, оказалось уже последним приветом из самой жизни. У меня сохранились четыре его книги: «Моя звезда», «Моряна», «Ивняковая сторона» и «Стреха» — своеобразное избранное, вышедшее в 1980 году в Сыктывкаре и купленное мною в Вологде. В стихотворении «Надея», обращенном, видимо, к любимой женщине, задевают душу удалой грустью вот эти строки:

*...Нам с тобой на судьбу не сетовать:
Не теперь, а в двухтысячном, может, году
Стану я настоящим поэтом,
В антологии даже войду
Эх, надея моя, надея...*

А что? Разве такое не может случиться? Если жизнь поэта измеряется годами, то жизнь поэзии — самим Временем. А творчество Василия Журавлева-Печорского в своей основе хранит свет его слова и порывы души. Внешне судьба его складывалась вроде бы благополучно, а внутренне оборачивалась трагическими срывами. Он плыл в берегах социалистического реализма, но нет-нет да и выбрасывало его лирическую лодку в бушующее море Поэзии. Он жил промыслом охотничьим и журналистским, то есть земным, а дышал помыслом поэтическим, то есть Божьим. И возжег для потомков свой костер доброй памяти.

НА МОЛОДЫХ ВЫСОТАХ

Раздумье о Викторе Гуре

Что удивляет, то и запоминается... В студенчестве, в Вологодском пединституте, мое деревенское простодушие было потрясено новостью, что Виктор Гуря знаком с самим Шолоховым. Я онемел в ту минуту и не поверил, что наш преподаватель с таким мальчишеским румянцем так близок с великим писателем. Ну, не поверил — да и все тут!

Еще отроком, лет десяти, полюбил я срисовывать картинки (потом уже узнал, что их называют иллюстрациями) из огромной книги «Тихий Дон», привезенный отцом из Вологды. Он тогда, перед самой войной, только что заочно окончил учительский институт. И я, второклассник, принимался даже читать эту книгу, толстую, как дедовская Библия, и широколистную, что альбом для рисования, тоже привезенный из Вологды. Но живо улавливал в ней лишь забавные сценки, в чем-то похожие и на нашу деревенскую побывь. Особо зримо представлялась мне Аксинья, сравнимая по красоте, как я тогда представлял, лишь с нашей деревенской славницей — румяной и статной Шуркой Буковой... О, мир мальчишеских пристрастий...

Вскоре мой отец, учитель русского языка и литературы, ушел на войну, командовал стрелковым взводом и погиб под Выборгом. И «Тихий Дон», привезенный им перед войной, долго кочуя по деревенской округе, тоже не вернулся в наш дом. И лишь в институте вновь взял я в руки эту великую книгу. И тогда-то, конечно, охватило изумление — наш преподаватель знаком с самим Шолоховым! Он пишет диссертацию об истории создания «Тихого Дона». И никак не верилось, что он, такой молодой, сможет глубоко постичь и правдиво осмыслить весь трагизм шолоховского замысла. Однако на лекциях я стал повнимательней прислушиваться к Виктору Васильевичу, и в его басовитом голосе, с сильными идеологическими нажимами, улавливать исследовательский азарт молодой учености.

И вот в 1951 году, когда я был уже на третьем курсе, Виктор Васильевич выпускает занимательную

книгу «Русские писатели в Вологодской области». То-то подолгу, помню, сидел он вечерами в областной библиотеке. И лишь по взвихренности русых волос, видневшихся из-за огромных штабелей газетных подшивок, можно было догадаться, что там трудится Гура.

Он просмотрел тысячи пожелтевших страниц и по зернышку собрал эту полезную книгу. Ведь самобытная история Вологды и губернии (а потом и области) еще мало изучена и понята. Она прямо-таки сама зазывает в себя неленивых исследователей, но где они?.. Я купил тогда эту книгу Гуры и порадовался, что она пробуждала полезное любопытство, знакомила с малоизвестными именами и тихо подогревала в читателе чувство исторической значительности самой Вологды. И даже когда в «Литературной газете» появилась резкая рецензия «Вольная игра с писательскими именами», в моих представлениях ничуть не померкла эта работа нашего преподавателя.

Что огорчает, то и запоминается... Когда в 1957 году в областной газете «Красный Север» появилась статья Виктора Гуры о моей первой книге стихов «Признание друзьям», я впервые тревожно задумался, что же такое критика? Урок автору или поученье читателю? Выявление поэтической истины или собственной позиции? Мудрость доброжелателя или бдительность политика?

Конечно, в тот давний день, после прочтения рецензии, я расстроился. Ей Богу, не ждал я похвал (то давнее состояние ясно помнится до сих пор), потому что сам уже осознал, что в некоторых строфах я «не докопался» до ключевых струй, ограничился верховым потоком слов... но перечисление спорных недостатков, выпиравших из статьи, горько удручило меня. И я был не согласен с критиком. Ну вот, к примеру.

Опять шумит, шумит

пожар зеленый (?),

Его не гасят пенные дожди (?).

Леса, поляны и речные склоны —

В цветенье все, на что ни погляди.

В горячих полднях

бронзовеют сосны,

Темнеют липы и роняют мед (?),

И лишь к березам

в даях сенокосных (?)

Загар опять никак не пристаёт.

Ну, какая же здесь загадка? В эти строчках кипит лето, просто зеленое лето. Кстати, эта поэтическая миниатюра нравилась Александру Яшину, Сергею Орлову, Ярославу Смелякову, у которого я потом учился поэтическому мастерству на Высших литературных курсах в Москве.

И если бы не последовавшая в «Красном Севере» вслед за рецензией Виктора Гуры редакционная статья «Медвежья услуга», то наши разногласия и затихли бы вскоре. Но этот ядовитый отчет анонима-доносчика о собрании областного литературного объединения, на котором обсуждались и моя книга, и статья критика, сразу резко развел наши взаимоотношения. В редакционной статье унизительно и грубо одёргивались Сергей Викулов, Василий Белов, Александр Сушинов, Борис Ромодин и другие участники этого — по определению газеты — «места сражения»...

Долго я не мог избыть в себе горечь от сознания, что первая книга — затаенная радость моя — вдруг обернулась такой неожиданной распрей. Потом, по выходе других своих книг в Москве и Вологде (а их вышло более двадцати), я все более и более убеждался, что многие критики озабочены прежде всего злобой дня и своими профессиональными интересами и целями, а вовсе не тайнами и делами поэзии.

Да и объяснима ли сама по себе Поэзия? Доступны ли ее тайны холодным умам? Об этих загадках я думаю всю жизнь и поражаюсь необъяснимому разнообразию поэтических воплощений в мире. Поэзия есть Нечто вселенское, похожее на сияние великого тепла, проступающего сквозь слова, стоящие в определенном, но таинственном сопряжении друг с другом...

Возникшее тогда отчуждение между нами, поэтами, и критиком и его сторонниками не принесло торжества никому. Явлена была лишь раздражительная самозащита с той и другой стороны. Истина оказалась поделенной противостоянием, следовательно, истина как бы исчезала вовсе...

А меня горше всех тяготила некая вина — этот извечный русский недуг самозакоризны и необъяснимой мнительности.

Но тут объявился в Вологде наш общий друг, писатель и земляк Константин Иванович Коничев — веселый баюн и лукавый мудрец. Он сказал, как всегда, в рифму.

*Мы, друзья, не лыком шиты,
Не лаптем хлебаем щи.
Дураков где хошь ищи ты —
Средь вологодских не ищи!*

Ну, сразу — общий смех и его победа! Будучи в добрых отношениях с Гурой, он постепенно рассеял сумрак нашего противостояния...

Вспоминать свое минувшее — все равно, что, обернувшись с высокого холма, вглядываться вдаль поверх своих теней. А память наша — хитрая обманщица: она, увы, отражает не величину сотворенной нами Правды, а лишь величину пройденного нами Пути... Там, в тех годах, я вижу Виктора Васильевича Гуру неутомимым работником. Мне, конечно, резко не нравилась сухость и обкатистость его стиля, но примиряла фактическая тщательность и энергия его труда. За одну только научную подготовку одноклассника Василия Красова, сотоварища Лермонтова и Белинского по Московскому университету, талантливого, но уже полузабытого поэта из Кадникова (что в сорока пяти верстах от моей деревни) — низкий ему поклон!...

Что возвышает, то и запоминается... Потом, когда наши взаимоотношения постепенно утеплились, я увидел его в семейной обстановке. Радужие Ирины Викторовны, его жены и сподвижницы по преподавательской работе в пединституте, располагало всякого гостя к доброму и умному разговору. Их домашний кабинет — книжно-журнальный бастион от пола до потолка — не только не угнетал, а словно бы приподнимал всяк входящего в него. Я это чувствовал по себе, бывая здесь с незабвенным острословом Константином Ивановичем Коничевым и Иваном Дмитриевичем Полуяновым. Здесь в обстановке веселой непринужденности и осторожной откровенности мы сближали прежде всего свои личные — насколько это было возможно — пристрастия. Ибо творческие убеждения в писательском деле никогда не сдвигаются в угоду приятельству или даже дружеству. Эту истину мы тогда уже понимали и не тревовали друг от друга никаких самопослаблений. Перед каждым из нас стояла и томила своя тайна.

Из тех лет почему-то ярко помнятся наши совместные с Гурой самолетные рейсы из Вологды в Петрозаводск. Мы не раз добирались туда и на поездах, но уж очень тяготили ночные пересадки в Волховстрое.

А на самолете — любо-дорого: привалимся к круглому оконцу и любуемся реками, лесами и озерами. И думается возвышенно не только о родине, но и о предстоящей трудной работе в редакционной коллегии журнала «Север». Ведь из множества рукописей следует отобрать самые лучшие для публикаций на целый год. Сколько надо прочитать, обдумать, а местами сократить или что-то поправить в рукописях. Мне на редколлегиях было полегче и посветлей, потому что меня заваливали стихотворством, а Виктору Васильевичу — потяжелее и помрачней: на него надвигались бугры прозы и хляби критики.

И вот мы летим для такой работы. И чтобы преждевременно не удручать себя и видя, что под нами уже засугробились сплошные облака, Виктор Васильевич замедленно приподнимал из кармана колоду карт. И с веселым вызовом поглядывал в мою сторону. Я согласен кивал, и вспыхивала между нами веселая междусобица.

В нем, солидном ученом, вдруг оживало мальчишество, мы уравнивались в годах и впадали в обоюдный азарт игры. А в картах всегда сокрыта мистическая тайна. Ничем иным, как только ей, не объяснить, почему я, игравший бесшабашно, вдруг начинал раз за разом выигрывать у опытного противника. Он огорчался и недоумевал, а я радовался и тоже недоумевал. А потом удача переходила на сторону Виктора Васильевича, и уже он великодушно утешал меня... А в круглых окошках уже синело Онежское озеро. Белые барашки волн скакали к скалистому берегу. А по хвойному горизонту катилось солнышко и поднимались розовые новостройки Петрозаводска. Там ожидала нас значительная работа...

Потом были, конечно, у нас совместные поездки в Москву и Ленинград на писательские съезды и совещания, но теперь при воспоминании о Гуре Викторе Васильевиче я почему-то первой всего вижу, как летим мы с ним, играя в карты, по голубому небу.

ЗОРЕВАЯ ДАЛЬ

Поэт Александр Швецов

В жизни вышло так, что мы с Александром Швецовым оказались самыми близкими земляками: мы не только из одного Сокольского района, но из одной и местности — с Корбанги, что раскинулась, как минуешь Двиницкий волок, по обе стороны тотемского тракта. Его деревенька — слева, а моя — справа. Всего каких-то десять верст между ними. Одни и те же облака плыли над крышами, одни и те же ветры дули в окна, а поэзия, рождавшаяся в нас, была разная. И любопытно было видеть, как Александр Швецов все ближе и ближе оказывался в своем творчестве к Николаю Рубцову, хотя расстояние от нашей Корбанги до рубцовской Николы ой какое неблизкое! Да, зовы поэзии — это зовы судьбы.

Александр Швецов, пожалуй, вернее других вологодских поэтов чувствует, как трагизм в жизни вызывает к историзму в поэзии. Вот и книга эта — голоса, слышимые нами сквозь века. И русская история в ней совершенно жива — она движется не от нас, а к нам и в нас. Мы видим не спины уходящих, а лица людей спешащих будто бы на помощь, на выручку к нам и, возможно, на устыжение нас в нынешней духовной слабости и растерянности.

Вот поэма «Новгородцы». Она — из 1257 года! Из такого далека, а насколько же остросовременна по мысли и по заботе о судьбе нынешней Руси!.. Пора бы нам знать, что князь Александр Невский был не только великий полководец, но и великий дипломат, и нам следовало бы, как Он, глядеть не только на Запад, а, может, первой всего — на Восток. «Как запутала все прописная история, что сегодня уже обернулось бедой»... И всю эту бездну российского трагизма чувствует Александр Швецов.

А вот — не побоюсь сказать — его поэтический шедевр «Княгиня Евдокия» — о нравственном подвиге жены князя Дмитрия Донского. А вот сказание «Мампу» — о коми народе, нашем добром соседе, о Великом Устюге и устюжанине-подвижнике Стефане Пермском.

Такой светлой и доброй поэмы о связях между разными народами Севера еще, кажется, не бывало. А вот «Олух» — крещенская сказка. Сколько в ней страстей, разоблачений, озорства, язычества!..

Да, ветрено и радостно было подниматься мне на «Золотое крыльцо» моего земляка Александр Швецова.

ПРАВДА ДЖАННЫ ТУТУНДЖАН

Это редкий случай, когда пространство Воскресенского собора, занимаемое картинной галереей, так сродственно с холстами засияло праведным светом. Ожила в соборе Северная Русь, запечатленная кистью и пером Джанны Тутунджан. словно из присухонских и двинских далей пришли сюда и, не толпясь, разместились в соборе деревенские люди в своем простодушии, раздумье и гореванье. Пришли они в Вологду, на встречу с нами, не покрасоваться собою — не до того ныне! — а взглянуть глубоко в наши глаза и в нашу совесть: понимаем ли мы их?

Вот старая колхозница из «Последнего снега». Лицо, умудренное страданиями. Взгляд, сгоревший от много-терпения. И руки крупные, усталые, на белом, как снег переднике. А по сторонам ее — родные березки и сгорающие по весне остатки снега. Так слоисты оттенки белого цвета, что знобко становится от скоротечности времени. И дивисься, что этот трудный белый цвет так подвластен кисти мастера, что веет он с холста и жизнью, и смертью, и вечностью.

Вот «Пожар». Огромное полыхающее полотно. Обжигает взгляд уже издавелека, а когда подступишь — опалит душу бедой нашей жизни. Изработавшиеся мать и отец со страхом взирают из нищеты своей на дородную дочь-красавицу, жестокую в своем ненасытном потребительстве. Это — черная порча, осыпающая на опустошенную русскую землю красные цветы горя. Это торжество беса над плачущим ангелом. Это та притча, которая холодит сознание от вопроса: а сможем ли мы изжить в самих себе такую кромешную беду?..

Вот «Черный ворон» (портрет В. В. Невзорова, отмаявшегося без вины 17 лет в тюрьмах и лагерях). Белый вихрь седины, по-птичьему острый профиль лица и в когтистых руках распаханная в жарком изгибе гармонь. Я слышу ее отчаянный взрыд, а из памяти слышу шемающий голос.

*Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.*

*Ты добычи не добьешься,
Я солдат еще живой...*

И вижу воронки, увозившие арестантов, а на вышках стрелков, что черных воронов. И как будто надо всей этой раскрестьяненной Россией закипает, плачет и полыхает гармонь прошедшего сквозь ад страдальца.

Да, Джанна Тутунджан звонко и распевно пишет свои полотна, чтобы пробудить в людях потерянную или пропитую память о своей родине, о забытых матерях и об уроненном русском достоинстве. Весь верхний предел Воскресенского храма, как на соборной исповеди, озвучен многоголосьем и многораздумьем ее сокровенной живописи.

Подойдешь к знаменитым «Незабудкам» и вновь удивись их тихому сиянию, услышишь из бревенчатой избы три думы трех женских судеб. Это и есть чудо, когда в живописи явственно слышатся тайны людских умов и душ. Это высшая проникновенность таланта!

А вот опять новое полотно «Памяти Г. Н. Бурмагиной». Как возвышенно одинок и узнаваем образ всеми любимой вологодской художницы! В повороте бледного лица, в тонкой кисти руки, в легкой поступи — во всем свет задумчивого вдохновения. Но сердце печалится потому, что и взгляд этот, и трепетная рука, и не касаемые подснежников, словно бы летучие шаги на речном берегу — все это уже прощание с нами. Однако диво таится в том, что печаль эта животворяща. В ней звучит трепет листвы, разлив реки перед белым храмом и торжественный полет белого журавля — знаменитой птицы, которая однажды выпорхнув из колдовских рук Николая и Генриетты Бурмагиных, влетела во все наши молодые поэтические книги. Ей богу, вечностью веет от образа, обрамленного столь простенькой рамкой...

Манит к себе издалека еще одна новая работа Джанны Тутунджан. Это — «Берегиня». В резном деревянном окне стоит молодая мать. За плечами — сумрак, а в отсвете ее розовой кофты два милых ребячьих личика. Из-под материнской руки они уставятся то в книжку, то в нас, стоящих по другую сторону окна. О, радостное любопытство детства? Не испугаем ли мы его?..

В живописных рядах светятся несколько триптихов, словно драгоценных складней. Они опоясывают собою

всю выставку. На створах их такая обобщенность ликов и явлений, что звучат и реют они как символы.

Меня остановило «Слово» — так названный автором створ из одного складня. Страстное в прозрении лицо деревенской пророчицы, округленный рот для заветного слова. Я поразился гордому в смирении облику ее и сразу вспомнил знаменитое стихотворение Николая Гумилева «Слово».

*...Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог.
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог...*

Именно это слово — Бог — и завещает нам мудрая женщина, над которой в избе на часах-ходиках уже замирает ее Время.

Возможно, сама Джанна не согласится с моим толкованием ее картин — что ж, и она нередко по-своему толковала мои стихи и поэмы — то принимала, то отвергала. Давно меж нами длится этот спор — не раздор, это расхождение и сближение наших творческих пристрастий и мировоззренческих взглядов. И не затухает этот тихий диалог уже более двадцати лет, с 1968 года, когда я написал стихи:

*...Летят все груче годы,
Туманами струясь,
Куда же Русь уходит?
А Русь уходит в нас!*

Этот мой вопрос-ответ, этот трудный поиск разгадки, может, самой трагической тайны двадцатого века ее глубоко задел. Возможно, и в творчестве ее отозвался. Ведь не случайно же написала (в ней сказывается и поэтический дар!) столь прямое и горячее стихотворение о своем понимании этого глобального вопроса.

*...«Куда же Русь уходит?» —
Все спрашиваешь ты.
— Вся в горлышко бутылки,
В продажные холсты,
В занудные собрания,
В мещанство, лень и срам.
А хорошо ли это —
Судить придется нам.
Ты правильно заметил:
«А Русь уходит в нас».
Но помнить это свято*

*Должны мы каждый час.
И есть Мечта и Вера,
И Мужество и Честь.
И есть Сыны России,
И Совесть — тоже есть!*

Мне радостно такое духовное единение с замечательным художником нашего времени. И весь верх Воскресенского собора, занятый живописью, — певуч и наряден, как мирской сход, а низ его прост и говорлив, как деревенская посиделка. В нем размещены удивительные листы, на которых в равной степени талантливы и рисунки Джанны Тутунджан, и записанные ею размышления и рассуждения деревенских баб, мужиков и старух. Все это выхвачено и зарисовано с натуры, «с пылу-жару» самой жизни, и оборотилось не только дивом творческого мастерства, но и потрясающей исторической документальностью. Через столетия потомки наверняка раскроют эти листы и услышат далекий говор, и увидят будничные лица нас, нынешних людей, во всей истинной правде-матушке.

Да, это героический подвиг Джанны Тутунджан, вобравшей в себя десятилетия неотступных трудов и хождений по одной и той же дороге в самую глубь России — в Тарногские места. Глядя на эти листы, вчитываясь в надписи, как тут не вспомнить Александра Яшина, вышедшего в мир из соседних с этими — из никольских мест и в конце жизни кратко, но точно сказавший о родной вологодской глубинке.

*Ой ты, Русь моя, Русь —
Ноша невесомая!
Насмеюсь, наревусь
У себя дома я.*

Неисчислимы художнические пути, но в своем разнообразии расходятся они лишь на две стороны. Ни третьей, никакой другой стороны в нравственном выборе художника вообще не существует — там тупики. Две же стороны — это обретение духа или затмение ума, труд благодати или соблазн порока, добро или зло. Ныне время наступило темное, продажное, разбойное. Многие художники стали поступаться честью и совестью ради выгоды и наживы. Отступничество оборотилось успехом, а преданность Родине — бранью, злословием и преследованием. И не только нужен незаурядный галант, а еще и мужество необходимо ныне, чтобы при всех обстоятельствах быть

самим собой. Идти своим путем. Не продавать звезду своей судьбы за новые серебряники.

Да, живопись Джанны Тутунджан светлосна. Это ее неотступный путь постижения народной жизни. Вдумчивый и зоркий искусствовед Марина Вороно, размышляя о ее творчестве, точно отметила, что «в каждой новой работе художник преображается, сохраняя себя. И в этом «преображении — сохранении» одна из интересных черт ее творчества».

Дай Бог, чтоб так было и впредь!

В КАКОЙ СТОРОНЕ СЧАСТЬЕ?..

Ныне русские слова, что берёста, сгорают в надрывных криках, сваливаются, что камни, с раскаленных трибун и гибнут от извращенного в них смысла. Слушаешь и оторопь берет: да русские ли это слова? Да в них ли когда-то пылала проповедническая мудрость и страсть? Да в них ли сияла мысль и таилась красота чувства? Уронена наша речь до такого похабства, что уже властвуют-барствуют над ней заморские «спонсоры», «менеджеры» и «дивиденды». Тошно теперь не только людям, но и русскому языку. И такая охватывает тоска по теплому и зримому слову, по глубокой выразительности, что душе уже неведомо.

И в минуты таких расстройств я часто открываю книги Василия Юровских. Он поэт в прозе. Он такой писатель, каких немного на Руси по звону и сиянию родного слова, по сокровенной и простодушной выразительности дум и чувств. Он творит образ человека его же словами и жестами. Вот старушка, встреченная в пути. «За ягодками едешь, ага? — оживляется бабка, и не тронула, а как-то бережно погладила выложенную дужку моей корзины. — А не опоздал? Ныне ить друг дружку норовят опередить, кислотьем ягоды охватывают. Глубяна токо вынесет личико из ресничек, зарумянятся, а ее, гляди, ужо и нету. Вишшенье кость костью, одна кожа на ядрышках — все равно без удержи хватают. И откуль жадность навалилась?»...

В Василии Юровских вот что удивляет: как он из мигов жизни, будто бы «из ничего», творит радость познания людских судеб, тайн природы и человеческой души. И повседневность быта оборачивается в его прозе творчеством бытия. Он описывает лишь свою местность: речку Крутишку да леса и озера вокруг деревеньки Юровки, давшей Василию Ивановичу вместе с талантом и свое имя для фамилии. Что ни рассказ у него — то путь к родине. Проселок ли заглохший, тропинка ли в травах, след ли охотничий. Иль журавлиный оклик, иль озноб зари, иль горькая слеза, скатившаяся по мужицкой щеке. От всякого мига и шага так и веет неустroенным простором русской жизни. И видно в его книгах все Зауралье с наплывом сибирской синевы.

А ведь Юровских не путешествует. Не летает на самолетах, не торопится к поездам. Он по родной земле идет пешком. Чтоб прикоснуться к травам и цветам, прислоняться к березам и речным берегам. И какой же зоркий и вдумчивый этот пешеход-писатель!

Вот несколько выписок из разных рассказов: «Долго шуршал шумихой, разминал ее, широкоперую, пока не наткнулся на потную землю, пока не посветила мне доверчивая струйка. Она, она, Крутишка... Сердце слышно заколотилось, и неунятное волнение обожгло-осушило губы. Вода выструивалась тонко, плутала осокой, и ни кружкой, ни пригоршней ее не зачерпнешь. И я встал на колени, припал к прохладной источине... И мне кажется: где-то по Крутишке встречу молодую здоровую пару и сердцем признаю в ней родную кровь»... «Но никто не отзывался. Только перемаргивались низкие звезды да над бором, как чье-то рыжее ухо, осторожно высунулся краешек ущербного месяца»... — «Век ба слушал, — с грустью взрослого мужчины вздохнул сын, и мне почудилось, будто что-то знобкое коснулось левой груди. Почудилось, что не он и даже не сам я, а мой батя прошептал эти слова в предчувствии скоротечной человеческой жизни». «Спустился с крутояра в узкую разложину, где травы по плечи, где негасимо-алое горят головки клевера и русые вихры белого донника пышут в лицо медовым теплом, где кипрей-иван-чай — выше моих волос полыхает червлеными знаменами русской рати на поле Куликовом. И сам не пойму, как дохнула земля древностью, через живые соки пестротравья и корни, как учуяли мои босые ноги дорожную твердь и следы таких же босых ног далеких прашуров»...

В слове Василия Юровских сквозь близь светится даль, а в сегодняшнем звоне слышны давние гулы. Родина, право же, увеличивает пространство и силу слова, исполненного любви к ней. Да, да, она как бы вливает в такое слово свою высоту и даль. И Василий Юровских убедительно доказывает, что художественность — это вечность в миге. Это будничность жизни, повернутая к нам своей сокровенной поэзией. Это заново умытая красота русского слова.

Книги Василия Юровских — «Материнское благословение» и «Три жизни» — в зеленых обложках, что росистые луга, а поверху «Родное гнездовье» — алое, что заря над этими лугами — постоянно у меня под рукой.

А сколько птиц в них... «Из пшеницы выпархивали заспанные овсянки и с писком присаживались на талины, где гомонили воробышки, постанывали пеночки и по сушинам недвижно нежились горлицы. Из осоки и сытно отросшего рогоза с заполошно-хриплым кряком заподнимались взматеревшие выводки крякв, плаксиво зачьи-выкали пигалицы»...

Какая звонкая и росистая жизнь дышит из этих книг! Василий Юровских своей судьбой и работой значительно и убедительно показывает, что привязанность к родине — это радость жизни в домашней стороне. Четыре стороны света, а которая для тебя домашняя? Как много людей уже не знают, не помнят, которая из четырех сторон света для них своя, изначальная. И метутся по земле в поисках счастья, не разумея, что оно только в домашней стороне света. Книги Василия Юровских — доброе противостояние нашей русской бездомности.

ТАЛАНТЫ И СУДЬБЫ

От Василия Сиротина
до наших дней

«Поэт без судьбы», то есть без жребия, без доли своей, без «предопределения, неминуемого в быту земном», — самое горькое, что можно услышать о нашем брате, страдающем над чистым листом бумаги и мыкающим в хлябях житейских. А сколько пишущей братии пребывало в одной Вологде за последние сорок лет! Вологда — изначальная покровительница дарований. Она милосердна и терпима даже к случавшимся их проступкам и вольностям.

*Левая, правая,
где сторона?
Улица, улица, ты, брат,
пьяна...*

Эти строки еще сто тридцать лет назад выдохнул из души своей Василий Сиротин, талантливый вологодский семинарист, может, пошатываясь на Каменном мосту или на привокзальной Зосимовской улице. Выдохнул эти строки так, полушутя, от веселого состояния, а они вдруг обернулись песней и полетели по всей Руси-матушке. И до сих пор живут в народной памяти. Пусть у Василия Ивановича Сиротина не сложилась священническая судьба, зато сложилась поэтическая.

Да, первоначальная даровитость сказывается во многих людях, но поэзия жестока к своим избранникам. Нередко случается так: задатки есть, а обстоятельств к исполнению этих задатков не возникает, и способности постепенно мельчают, исходя «на нет». Значит, еще и судьбу собственную надо выстраивать способному человеку самому, да только мы, русские люди, мало умеем это делать. Мы полагаемся на «кривую», куда она «вывезет».

А что такое судьба? Изначально ли заданная человеку жизненная дорога и свыше ниспосланная воля пройти до конца по ней? Или же дан только первоначальный порыв к своему житнетворчеству, а дороги никакой не указано? Тайна сия — у каждого своя. Однако здравый смысл, повторяю, подсказывает, что всякий человек ищет сам себя в жизни. За последние тридцать два года —

на моей памяти — более двух десятков одаренных вологодских авторов незаметно сошли с писательского пути — ноша оказалась для них неподъемной.

Советы давать — на словах сострадать. А в поэзии чужой опыт перенять невозможно. Да и не нужно. Поэзия не терпит чужого опыта. Потому она и поэзия, что не повторение, а новизна мыслей и чувств, житейских положений и душевных состояний. Новое движение жизни в еще никем не сказанном слове — вот что такое поэзия. Да, есть «муки слова», они действительно порой трудно-выносимы, но из этих мук, невидимых ничьему (!) глазу, и рождается поэзия как радость жизни, как святое ее величие. И получается, что вроде бы у поэта и мук никаких не было. Вот одна из многих тайн поэзии.

Еще великий наш земляк Константин Николаевич Батюшков говорил: «Пиши, как живешь, и живи, как пишешь». То есть добивайся полного единства себя как личности и как творца. Без такового единства не избежать фальши в слове, не избежать.

Почтим же доброй памятью талантливых наших поэтов, уже ушедших из жизни и своим горьким уходом еще раз напомнивших нам, что Поэзия — Дело судьбоносное.

СЕРГЕЙ ЧУХИН

В талантливости его светится загадочная простота.

*Работай, друг мой,
Душою чист,
Один проходи
Науку.
По праву руку —
Бумаги лист,
И сердце —
По леву руку...*

И Сергей Чухин всю свою сорокалетнюю жизнь говорил только ими, «простыми словами любви». Что бы ни потрясло его, пусть самое горькое, он мог промолчать, собираясь с силами, но ни разу слова своего не унизил поспешностью. А со многими поэтами такое случается нередко. Он всегда дожидался, по его выражению, «ноля часов», то есть самых первородных творческих моментов, когда сквозь замутненность пережитого проясняется забрезжившая истина, как вновь обретаемый опыт. Ведь

жизнь в сути своей всегда права — лишь сам человек может быть не прав по отношению к жизни. Вот из понимания этих вещей и копилось в Сергее Валентиновиче мастерство сжатого — до искр — поэтического уплотнения.

Былая боль —

единственная мера

Сегодняшнему счастью

твоему.

Это уже мудрость. Она на первый взгляд так проста! Но чтобы сказать такое, надо было верно видеть, что к слову «счастье» самый точный, может, вообще единственный эпитет — это «сегодняшнее». То есть ощущение счастья чаще всего зыбко, скоротечно — потому-то все другие эпитеты ложны. И оттого, что Сергей Чухин всеохватно радовался жизни, как Божьему дару, в нем вовсе не было тщеславия. Тщеславие точит и сжигает лишь тех, кто устраивается в жизни по зависти.

А Чухин не завидовал даже Рубцову. Я это заметил, когда вместе мы выступали на литературных вечерах, ездили в командировки и т. д. Хотя магнетизм рубцовой распевности иной раз задевал Сережины стихи. Может, поэтому Чухин иногда и оказывался как бы «в тени» Рубцова. Но они — разные поэты. И тяга друг к другу выражала лишь крупные творческие самобытности, некую схожесть во взглядах на жизнь и поэзию.

Вот они стоят рядышком посредине моей памяти. У Николая Рубцова — взгляд пронизательно насторожен, у Сергея Чухина — улыбчиво добродушен. У первого в стихах — «Взбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг из дола...». У второго —

Ах, опять на равнинах

бездбрежных,

Посмотри, как пошли

и пошли

Пузырьки одуванчиков

нежных

Из глубин изумрудной

земли...

У первого в глазах — осень, переходящая в зиму.

У второго — лето, переходящее в осень.

У первого — уже мировая известность.

У второго — истинное признание еще впереди.

Больше ничего не повторится!..
Ты за все, за все меня прости.
От несчастья славой не прикрыться!
Без любви любовь не обрести!

Больно о нем, о Николае Васильевиче, сейчас писать: никогда уже не встретимся мы на земле. Но поэзия его задушевная, верится мне, будет жить долгие годы. Никогда не забыть такого случая. Оказались мы с женой в Коктебеле, в Доме творчества, основанном Максимilianом Волошиным. И куда ни поедем по Крымскому побережью, непременно услышим, как из динамиков над стадами загорелого до черноты народа несется: «Здравствуй, теща, милый друг!..» — Да ведь это же наш Николай Дружининский! Вологодский поэт! — хвастался я перед знакомыми, которые веселили, притопывая от такого песенного задора.

В другой раз мы оказались в Пицунде. И там уже по кавказскому побережью несется: «Здравствуй, теща, милый друг!.. И там хвалился я перед знакомыми: вот, мол, в Вологде какие поэты: сочинят стихи — вся страна слышит!..»

Больше ничего не повторится... Но память останется.

Есть ли тайна поэзии? Да, есть! Но не в изощренности самого стихотворства, а в самобытных личностях и судьбах поэтов. Если в науке истину открывают всего один раз и навсегда, то в поэзии — бесконечно и всякий раз заново. Наука рвется в тайны мироздания. Поэзия — в тайны человековедения. Пережитое для поэзии никогда неизжитое. Оно всегда в нас и с нами.

Что есть «вещество» поэзии? Это самый трудный вопрос. Ведь поэзия в высшем своем проявлении связывается с космическим Разумом. Вот говорят: «поэтическое озарение». Это озарение Божественного разума. Потому истинные поэты и писатели по прозорливости хода времен всегда превосходят самых изощренных политиков. Вспомните Пушкина, Гоголя, Достоевского. Они были пророками еще неведомых никому социальных бурь. И предсказания этих русских гениев ныне трагически сбылись.

Так что же такое «вещество» поэзии? Это свет открывений из глубины души или из разломов народной судьбы. Это — словесное пламя самих времен. Об этом следует всегда помнить людям, власть предающим. Много лет я был членом Приемной коллегии Союза писателей Российской Федерации и представлял в ней весь наш Северо-Запад. Пришлось прочитать и обдумать великое множество первых книг и рукописей. Я полагаю, что молодым вологодским авторам будет интересно и поучительно прикоснуться к творчеству своих ровесников из других городов. Из этих моих записей можно увидеть и общий на сегодня поэтический уровень всей России.

«МЕНЯ КТО-ТО ЖДЕТ?..»

Читая эту рукопись, словно бы летел я на облаке. Мне, пожилому, было знобко очутиться в голубой высоте. Там, оказывается, легче постигать тайны человеческого бытия, чем на грешной земле. И простора, и чистоты больше, да и времени скоротечного там нет. А в поэзии так бывает.

И двадцатидвухлетняя Елена Лаптинова (Смоленск), может, не зря пребывает своими порывами пока больше в

небе, чем на земле. Что ж, у каждого свой путь к поэзии — кто-то отталкивается от звезды, а кто-то — от борозды. Лишь бы прийти к выявлению своей творческой самобытности.

*Куда глядят мои глаза?
Туда, где бездна
шевелится,
Туда, где светят небеса
И тени надают на лица.
Где даже в сумраке
светло,
Где есть святое
откровенье,
Где и легко, и тяжело
Оставить землю
на мгновенье.*

Вот и сказалась одаренная сущность. Примечательно, что Елена Лаптинова в душевных устремлениях мало похожа на своих сверстниц: нет в ней ни развязной бездумности, ни пошлой вседоступности, ни упоения модой и т. п. Она предпочитает всему этому раздумчивое одиночество.

*Встречу ясное солнце
и закат провожу.
Без тоски не живется,
но я не тужу.
Разве мало на свете
Того, что уйдет?
Может, в прошлом
столетье
Меня кто-то ждет?..*

В таком одиночестве, конечно, таится опасность самоизоляции от бушующей рядом жизни. Это поймет потом и сама Елена, а пока она — вот такая, требующая от живущих лишь душевной чистоты.

*Стадо лошадей —
стерегу в себе,
Одичалых, необузданных,
игривых —
Я еще не мчусь,
милый мой, к тебе,
Лошади мои еще пугливы.
За рекой туман
детство бережет.*

А вода в реке —
зеркало любви.
Выпущу коней в синий
небосвод —
Ты их, ветрогривых,
не лови...

Мне понятен этот молодой максимализм, и любо, что есть ныне такие вот девушки (должны же быть!), как Елена Лаптинова, стремящиеся лишь в красоту и в радость разумную.

Там в радуге стаи летают,
Я вижу их плавный полет.
И светит заря золотая
На целое Время вперед.

Не потому ли и прозревает она «на целое Время вперед», что взор ее чист и душа открыта добру?..

«ЗДЕСЬ ЛЮБОВЬ МОЯ»

Мне радостно было открывать для себя дарование Сергея Хомутова (Ярославль). Он не случаен в поэзии: в нем чуткая и строгая душа, тревожная и деятельная дума о жизни.

Убивают таланты
 Лень да водка, и вот
 Час тяжелой расплаты
 В свой приходит черед.
 И за это убийство
 Не осудят на срок,
 Не ожжет, словно выстрел:
 «А ведь был... А ведь
 мог...»

Зря твердим, лицемеры,
 О жестокой судьбе.
 Самый страшный Сальери —
 Тот, который в тебе.

Это написано не для разминки руки, не для обкатки слов, а для выкрика беды. Совершенно естественная, чистая строка дается лишь тому, кто много страдал и думал. И Сергей Хомутов по-своему осмысляет уже, казалось бы, устоявшиеся понятия. Вот как поворачивает он понятие «малой родины».

...Здесь любовь моя
 в почву заронена,
И судьба моя здесь
 проросла...
Разве может быть
 маленькой Родина,
Как мала бы она ни была.

Увы, людям насильно открыть глаза на их собственные пороки, кажется, невозможно. Они сами их открывают, если пролить свет правды и добра. Вот это и есть великое дело поэзии. И Сергей Хомутов трудно, но верно пробивается к таким осмыслениям. Он как будто останавливает пролетающие миги, в которых поворачиваются людские судьбы. Вот пример.

Он предлагал ей:
«Будь моею женою.
За мною —
Как за каменной стеною».
Она в ответ:
«Ничуть не привлекает.
Быть за стеною —
Невидаль какая!
Быть за стеной —
Безрадостное дело.
За человеком
Быть бы я хотела».

АРИАДНИНА НИТЬ

Вникнуть в стихи Ольги Мухиной (Новосибирск) — словно вернуться в молодость. В них исповедь сердца, сперва окрыленного влюбленностью, а потом озадаченного тревогами любви. И обо всем этом рассказывается озаренно, с осознанием собственного достоинства до той тонкой меры, когда оно, достоинство, не переходит в самолюбование, в умничание, в позу.

Ольга Мухина очень естественна в своем творчестве. Истины, которая она открывает для себя, самые первоначальные, однако исполненные уже значительных предчувствий и поэтических удач. Вот взгляните сами.

Рамой заключенное
 в кольцо
Совершенство контура
 овального.

Юное, прелестное лицо —
Пушкина Наталья

Николаевна.

Все решали: какова она?
То виновной звали,

то безвинною,

И писали сочиненья

длинные:

Дескать, хороша,

да не умна.

Сколько в рассужденьях

наковеркано!..

Но написано Его рукой:

— Ангел мой, гляделась ли

ты в зеркало?

Ты всего прекрасней,

ангел мой!

И полны признательными

строками

Писем пожелтевшие листы,

Утверждая значимость

высокую

Совершенной женской

красоты...

Кружевная пена платья

бального,

Безупречность локонов

вдоль щек...

Натали, Наталья Николаевна

Пушкина! —

чего же нам еще!

В стихах Ольги Мухиной видна серьезная филологическая культура (она окончила Томский университет), преображенная светом поэтического дарования. Она взялась утвердить в своей жизни и раскрыть в своем творчестве подлинное понятие женственности.

...Могу ли я судьбу винить,
Что женская доля досталась!
Пряду ариаднину нить,
Сомненья гоню и усталость.
Я знаю мужские дела —
И долг, и отвага, и совесть.
И два самолетных крыла
Застыли, в полет

изготовясь...

*Вращается веретено,
И нити моей не прерваться,
И светится в сумрак окно,
Чтоб было куда*

возвращаться.

Пряду ариаднину нить...

«ПУЛЯ НА ИЗЛЁТЕ»

А вот иная любовная «лирика». Кипит темперамент Людмилы Наровчатской (Москва), а страсти ее не рожают поэзии, заклинания в любви утомляют, а слова жухнут от какого-то адского огня.

*Хочу с ног сбивать
поцелуем,
А руцею — боль
врачевать!
Что?
Проигрыш мой неминуем?
А я все начну вдругорядь!..*

Вот она, энергия! Это не Ариаднина нить Ольги Мухиной! Только в слове «вдругорядь» ударение падает на второй слог. И название руки «руцею» выглядит манерно и нелепо.

А вот милый разговор из стихотворения Людмилы Наровчатской «Моя любовь».

*— «Пошла ты к черту! —
он с обидою сказа.1,—
Ты девка глупая,
бесстыжая коза!
Ну, что ко мне прилипла
ты, пристала?
Тебе ж трех молодых
на ночку не хватало!»
— «Ага,— шепнула я.—
Гнедых да вороных,
Таких выносливых,
таких шальных,
И чтоб — ни мысли
в голове,
И чтобы фалос волочился
по траве,
И чтоб они тупели
в моей плоти!
Дурак ты, а не пуля
на излете!..»*

Натура его отзывная на притчу и заповку, она изначально мужицкая, самое себя творящая.

Я половину зрелых лет
Беспечно жил в долгах,
А счастья не было и нет,
Как журавля в руках.
Я половину зрелых лет
Копил себе врагов,
А счастья не было и нет,
Как новых сапогов.
От этой жизни разъярясь,
Себе ударил в грудь.
Ужо я вам! На этот раз
Меня не обмануть!
И вот оплачены долги,
Рассеяны враги...
Мне говорят: «Себе не лги!»
Такие пироги...

«ДУРАЦКОЙ ЖИЗНИ КНИГА»

Все вроде бы у Ирины Знаменской (Санкт-Петербург) в стихах на своем месте (полнозвучие рифмы, четкость ритмов и т. д.) и кажется: вот-вот замысел оживет, а нет — поэзия зачастую ускользает из рук, оставив на авторских ладонях лишь свои блески. Значит, техническая выучка не помогает? Она, разумеется, помогает, она необходима, но должна саморастворяться в силе чувств, самосгорать в искрах мыслей.

...Слова любви —
 летающие сливы,
Порхающие яблоки.
 На свет
Спешащий бразжник,
 толстый, белогривый..
Спроси меня: который
 нынче лет?
Каковские сейчас пробили
 миги?
Чей тайный крот
 глядит из темноты?..
...Я все слова дурацкой
 жизни книге
Переверала, чтоб
 засмеялся ты!

Редким поэтам дается в руки басня. В отличие от лирики, которая парит в небесах, басня пребывает на грешной земле. Она, покуда никем не прирученная, чудится мне эдаким мерцающим оком всезнайки, бродящей в толкотне жизни. Иные стихотворцы и рады бы ухватиться за нее — больно пробойна она и насмешлива — да, оказывается, не они ее, а она их выбирает. У русской басни, прыгнувшей с пера великого Крылова, глаз наметан зорко. Она ищет не рифмоплетов, а мудрых правдолюбцев. Она — отважная зубоскалка, за версту чующая людские пороки и злодеяния. Не зря от ее налетов поеживаются в «верхних эшелонах власти», зато смеется и задумывается народ. Потому-то басня и придирчива к своим авторам — чтоб народными являлись они по слову и духу.

В Вологде в шестидесятые годы был известен баснописец Александр Власов. Он был слепой, как Гомер. Издал две книги басен, которые дошли до Москвы, до Сергея Михалкова, похвалившего талантливую вологжанина. Но потом он мало-помалу творчески замолк.

Затем в семидесятые годы возник Олег Кванин. В ту пору никому из вологодских поэтов так не удавались сатира и юмор, как ему. Он выпустил несколько замечательно остроумных книг.

Давно уже пишет басни Сергей Викулов. Они представлены в двухтомнике его избранных сочинений и печатаются иногда в центральных журналах и газетах — страстно и обличительно горит его опытное перо. Но таких перьев, как показывает время, всегда немного. Они редки. Их приходится долго ждать.

И вот новое имя — Вячеслав Хлебов из Череповца. О, как злободневно, в духе перестройки, «обозвал» он свою первую книгу басен — «Собрание ослов»!.. Вот, к примеру, один из них, из множества нынешних предателей, — «Осел-беглец».

*...Его пленил далекий зов.
К родной земле росло
презренье.
О жизни западных ослов
Сложилось радужное мнение.*

У них такие города!
И жизнь у них легка
на диво!..
И он решил сбежать туда,
Чтоб жить свободно и
красиво.

...Но жизнь, увы, не стала
шире.
Хвативши новых бед сполна,
Он осознал, что в этом мире
Ослам везде одна цена.

В этой книжке, кроме ослов, бродят волки, медведи, лисы, овцы, козлы, поросята... И все говорят на русском языке! В книжку трижды залетает черт и всего один раз — соловей. А жар-птица вовсе не залетает — на Руси ворон полно!..

ПЕРВЫЕ КНИГИ ЗЕМЛЯКОВ

1. «КРИК В НОЧИ»

У Лидии Тепловой есть стихотворение, которое, думаю, войдет в будущую антологию русской поэзии. Это «Последняя песня глухаря».

*Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою.
Ты мне в голову, в голову целься,
Но не целься в глухарку мою!..
...Да стреляй же! Картечью, дробью..
Я оглох уже, я пою!
подавись глухариной кровью,
Но не целься в глухарку мою!..*

Шедевр, потрясающий силой выражения! Да и вся книга ее — «Крик в ночи» — что дороженька по Руси: распадается людскими судьбами и светится березами, кипит заботами и спотыкается на скорбях. И если бы не побывал я на Печоре — на этой могучей реке старообрядчества и подвижничества — то, может, и не постиг бы во всей самобытности поэзию Лидии Тепловой. Она родилась и обрела там свое корневое слово. И там, в Усть-Цильме, от поэта Василия Журавлева я впервые услышал ее имя — тогда еще юной сочинительницы. Как много минуло лет!..

И вот вглядываюсь в книгу Лидии Михайловны и чую наяву, как разгонисто плещется Печора, как бражничают в избах те давние парни, ставшие ныне седыми мужиками, как тоскуют памятливые березы за пошатнувшимся школьным палисадом...

Ольга Фокина в своем предисловии к этой книге конкретно показала, чем своеобразно и значительно творчество Лидии Тепловой. Цитирую. «В стихотворении «Копны вожу», к примеру, есть всё: жизнь и живопись, труд и поэзия, время и мгновение, малость и величие, одним словом, Гармония, то желанное качество, без которого таланту не состояться, будь он трижды умен и образован».

Я добавил бы к этому верному суждению и свое наблюдение. В поэзии Лидии Тепловой есть три тайны, как три свои правды.

поэзию ценили Лермонтов, Чернышевский, Белинский...
А улицы его имени, кстати сказать, нету в старинном
Кадникове.

Живет здесь тихо и скромно поэтесса Лидия Мокиевская. Она выпустила первую книгу «Заколдованный снег».

Ах, снег! Он будто

заколдованный —

Огромный, белый... Снегопад!

Мне говорить с тобой рискованно —

А вдруг да что-то невпопад?..

Вот эта застенчивость души, рвущейся к ответной любви,— самое трогательное в ее стихах.

А ты ушел в прошедший день.

А день цшел в прошедший год.

В моей душе осталась тень

Твоих тревог — моих забот...

Как бережно сказано и как просто! Лида настолько чутка во взаимоотношениях, что от притворства, фальши и лжи успокаивается лишь в благоразумии природы. А в Кадникове есть прекрасный Пушкинский сад. И в нем она слышит, как лунный свет, касаясь листьев, звенит небом... Вот так и возникает в ней поэзия...

Кружится дождь со снегом

вперемешку...

И ветер взял деревья в оборот.

А здесь про лето, будто бы

в насмешку.

Певица популярная поет.

«Я так хочу, чтобы лето

не кончалось!...»

Я — тоже. Ну и что? И как нам быть?

И разве можно все начать

сначала,

Что не сбылось — в удачу превратить?

Раз Лидия Мокиевская задает себе такие вопросы, значит, ищет и ответы на них, и «расколдовывает себя». Я думаю, что она готова к новым творческим открытиям.

3. «ПЛУТАЕТ ЭХО В ТИШИНЕ»

Алфей Шабанов из тех даровитых вологодских людей, которые сноровисты в любом творческом деле. В его глазах всегда светится зоркость мысли. И всегда наготове в нем острое и свежее слово. И выглядит он молодо потому, что в душе его жива поэзия. Не угасили ее выюги нынешних распутий...

«Плутает эхо в тишине» — такое название его книги верно выражает суть понятия Поэзии, как извечного и сердечного отзвука людской правды. В книге мы видим — слышим тороватых баб из-за речки Глушицы — Анну да Валентину. Девчушками они попали на войну, сбивали из зениток вражеские самолеты, а потом тащили заодно колхозную и вдовью долю.

*Холст жизни ткет незримо память
Суровой нитью — по судьбе.
Дни золотистыми снопами
Летят под цеп при молотье...*

А за Шорегой-рекой, где была родина, теперь глухнет одинокий дом без чердака, и осинник толпится на месте деревни.

*Грибники кондовый сруб зорят,
Жгут в кострах,
хотя в избытке веток.
Со стены слои газет пестрят
Темнами и дарных пятилеток...*

И вот потянуло туда, к своим корням, и возникло там честное стихотворение «Вечер на родине». В нем сверкнула строка «Ну-ко, Саша, хромку разверни»... И мне подумалось, что это обращение в Александру Рачкову. Он был мужественным журналистом и талантливым гармонистом. Не только город Сокол, но и вся творческая Вологда знала его как бесстрашного борца за правду.

*...Здесь крестьяне жили искони,
Воедину с радостью и горем.
Ну-ко, Саша, хромку разверни,
Грусть развеи веселым перебором!
Гармонист искусен и ретив.
По Уремам, пажитям, увалам,
Наигрыш задорный подхватив,
Эхо стоголоса взликовало...*

И мне Саша Рачков был другом. В этих строках Алфея Шабанова живо мслькнуло его хмурое с огненным взглядом лицо...

В книге много товарищеских посвящений: Виктору Астафьеву, Василию Белову, Виктору Коротаеву, Татьяне Пушкинковой, мне и Александру Сушинову, написавшему краткое, но емкое предисловие «Исповедь сердца» к этой книге. И еще тронуло меня в ней стихотворение «Заовинный ветер». Ныне где они, прежние овины с гумнами? Давно утонули в могучих крапивниках. И вот читаю:

*...Ветла в воде
Полощется вершиной.
На ней грачу
Гнезда уже не вить.
Мне будет долго
Ветер заовинный
Тоскливой песней
Душу бередить...*

Такие строки не в диво среди стихотворений нашего Алексея Ганина. Но «ветер заовинный» вдруг прошумел из книги нынешней и ощутимо взволновал меня ожившим вечерним дымком, духом теплых снопов и жаром молодых деревенских свиданий. Это прошумел ветер забытой памяти... Да, Алфей Шабанов может оживать минувшее во всей трогательной его подлинности.

СО СВОЕЙ МОЛИТВОЙ

*Верному другу и жене
Анастасии Александровне*

Только наступал февраль, и вновь она волновалась одной и той же заботой. Годы летели, она седела, а забота эта все необходимее светилась в ее больших серых глазах. Она доставала тетради со своими записями и чувствовала ладонями, как от них исходит тепло минувших лет. Она не торопилась листать, а, облокотясь, смотрела на небо из кухонного окна и молодела в радостной задумчивости. И дивилась, что светлое мироощущение так долго и неизбежно держится в ней, когда всеобщая жизнь в стране все злее и несчастней. Ведь и она, и ее семья не отгорожены от беды. Иной день на улицу выйти страшно — того и гляди, собьют с ног или сама не устоишь от бешеных цен.

Да, время навалилось опять смутное. И если бы не свет, сбереженный в себе за годы учительства, то, может, и помрачилась бы она посреди такого разора жизни. Но учительство укрепило ее дух так надежно, что не утратилась сила доброго порыва и в пенсионные годы.

Только наступал февраль, и всякий год она заново волновалась одной и той же заботой. Той, что выше политики временщиков и насущней нищенского стола. Наступал февраль русской боли. Вот близко и десятое число. Вот и утро этого горького для России дня, когда в два часа сорок пять минут пополудни в 1837 году скончался Александр Сергеевич Пушкин...

Она, облокотясь на тетради, задумчиво смотрела в окно. Вон как метет!.. «Мчатся бесы рой за роем в беспредельной высоте...» Ведь это о родине нашей, о ее погибели. И холодом дохнуло от строк, взвихренных заоконной метелью. Будто бы взвихренных только что, а не полтора века назад. И грустное лицо поэта всплыло из памяти.

Господи, до чего же родной человек! Ни одно слово его не потускло, не остыло — чем дале живем, тем огневее его строки. Он, защитник русской чести, все укоризненной глядит на нас, теряющих отвагу патриотизма. Его при-



Василий Белов в храме



А. Романов и В. Белов в Вытегре в гостях у писателя и краеведа Ефима Твердова.
1966 год



Серьезный разговор. Василий Белов, Борис Чулков и Владимир Кудрявцев



С Сергеем Викуловым на месте бывшей усадьбы
Г. Р. Державина на берегу Волхова. Званка, май 1988 года



Валерий Дементьев, писатель, профессор,
доктор филологических наук



Поэт Виктор Боков



Выступает Виктор Коротаяев



С Василием Журавлевым-Печорским

С Виктором Гурой в устюженской усадьбе Батюшковых.
Май 1987 года





Поэт Сергей Чухин



Анастасия Александровна Романова



Дед Александр Никонорович с пятилетним внуком
Шурой Романовым. 1935 год



Мать Александра Ивановна
и отец Александр Александрович Романовы
в деревне Петряеве в 1929 году



Мать Александра Ивановна за самоваром
в родной избе



Брат Павел Александрович Романов (1934—1990 гг.),
профессор, доктор медицинских наук,
лауреат Государственной премии, заведующий кафедрой
оперативной хирургии в Московской медицинской академии
имени И. М. Сеченова



С деревенским соседом и другом Александром Ивановичем Тихомировым



Новые срубы в Петряеве. Сыновья Сергей и Александр

зв: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» гложет в оскудевших сердцах. И терзает мысль: да народ ли мы в той богатырской цельности и силе, какую воспел и явил в себе сам Пушкин? Да потомки ли мы своих бесстрашных и работающих прадедов? Да кто же мы теперь? Неужели развеяли в бурях имя свое великорусское?..

Вот так всегда: прикоснись к его поэзии и увидишь в ней то, о чем душа твоя и не ведала. И удивишься совпадению своих тайн с прозорливостью поэта. И почувешь, что крепнет в тебе ум и самопознание.

Она пролистала тетради, которые тихо сияли от записей. Сияло и ее лицо от решимости вновь пойти на уроки, как это делала всякий год в февральский день поминовения и в июньский день рождения великого поэта. И радовалась, что здоровье еще позволяет ей эту благодать: — «Надо, надо послужить Пушкину!» — шептала горячо сама себе. И в этом порыве движима была не привычкой и не тщеславием, а тем божьим звоном, когда и малое добро велико своим бескорытием.

Но смутилась вдруг и подрастерялась, как подумала: а куда же кинуться ей со своим уроком о Пушкине? В той школе, где работала, забыли о ней сразу, как вышла на пенсию. Будто и не бывало ее открытых уроков, на которые приезжали поучиться методисты даже из Москвы. Нет, глухо там, никто не позвонит, будто и нету ее в городе. А обижаться — что унижаться. Да, пожалуй, и не обида это, а горечь от извечной черствости нашей к ближнему своему.

Вспомнила про одно училище, где в молодости работала. Позвонила туда, и — надо же! — не отказали ей провести урок о Пушкине. Обрадовалась, закрутилась, заторопилась, будто боялась, что вдруг передумают и откажут. Ведь в нашей жизни ничего надежного нету — лишь посулы да обманы. В суматохе не заметила, что встал ото сна муж, смотрит, как она примеряет перед зеркалом на свое простенькое, но любимое бордовое платье кружевной воротничок. Оглянулась, смутилась. Он, конечно, понял, куда собралась.

— Если встретят хмуро, сразу откажись! — сказал тихо, жалеючи. Он любил ее с молодости.

— Да, конечно! — ответила она, радуясь, что он понял ее, не стал укорять или отговаривать. И с легким сердцем пошла в метель.

И вот — класс. Окатил щеки знакомый жар, а взгляд наткнулся на вялое лицо. «Все безразличней год от года», — с испугом отметила про себя и почувствовала в груди шипок боли. Но выручил опыт: скрой замешательство, гляди в глаза и утверждай, что думаешь! И начала она свою поэтическую молитву.

*...Грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана.
Что изменяли ей всечасно,
Что изменяла нам она.*

И видит: стихает возня, вскидываются лица. Но многие еще в тупой отчужденности.

— Давайте побеседуем с Александром Сергеевичем Пушкиным. Да-да, с ним самим! С живым и молодым! — разгорелась она. — Послушаем его советы, как любить, во что верить, к чему стремиться, что боготворить...

И видит: половина класса повернулась к ней. А другая половина клонится к столам. «Уже застеснялись», — отметила краем глаз. И на виду у всего класса преобразилась вдруг в пушкинского посредника. И повела речь о милом идеале поэта — о Татьяне Лариной.

*...Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
без взора наглого для всех,
без притязаний на успех,
без этих маленьких ужимок,
без подражательных затей —
все тихо, просто было в ней.*

Эту строфу произнесла так задушевно, так проникновенно, что и сама возвышенно просияла. И все затихли, глядя на нее. Ведь и они, эти девушки и парни, хотели бы жить «без подражательных затей», да вот стыдятся такой естественности и живут зачастую не со своей природной, а высмотренной и перенятой чужой повадкой. Ведь им и самим легче и радостнее было бы жить без сумасбродных отрав — да вот поди ты: «все так делают». И любовь бы светилась чище и дольше, кабы верность почиталась за добродетель. «Но я другому отдана и буду век ему верна» — это не просто гордый девичий ответ, это — выбор жизненного пути. И только на таком пути обретается прочная семья. Однако ныне живущие заново впадают в роковые ошибки и тяжкие грехи, не внемля голосу гения.

Особенно трогательно, вытянув шею и набок склонивши головы, смотрели на нее девушки с задних рядов, те самые, что поначалу пребывали в отчуждении к ней. Она обрадовалась: и у них милые лица! Как взволнованы они простым пушкинским открытием, что привлекательность девичья вовсе не в наглой развязности и внешней броскости, а в красоте скромности и житейской надежности...

В затихшем классе ее слова искрились от соприкосновения с пушкинской поэзией. И повела она речь об уроках совести и тайного суда над собой. Вот Борис Годунов:

*...Достиг я высшей власти,
Шестой уж год я царствую спокойно,
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем.
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Никто не может нас
Среди мирских печалей успокоить:
Ничто, ничто... едина разве совесть...
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.*

Укоры и муки совести! Еще и осознать, и назвать их не умеем, а колючий холод сразу учуем в себе, лишь потянемся (хотя бы и мыслью) к чему-то от века запретному в народе. Страдает царь Борис, заполучивший русский трон кровавым злодейством; мучается Сальери, завистливо отравивший Моцарта; раскаивается Онегин, безрассудно убивший Ленского. У каждого из них поначалу имелось свое самооправдание, да только великие грехи, содеянные ими, непрощаемы ни людьми и ни временем...

А ведь и ныне творятся у нас дела тяжкие. Противу совести и закона. Противу мнения народного. И как тут не вспомнить великие в гнев своем стихи Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта».

*Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия, он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.*

...Шла она домой, еще не опомнившись от радости, хлынувшей к ней со всех сторон во взбудораженном классе. И была счастлива этими мгновеньями. И думала: вот так, служа Пушкину, мы служим своему будущему.



ГДЕ ЖЕ РУССКИЙ ПУТЬ?

ИМЯ РОДИНЫ

ВНЕЗАПНЫЙ ОКЛИК

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО

ОГНЕННЫЕ МЕЧИКИ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

ОХ, МУЖИКИ, МУЖИКИ!

Горькие заметки

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

ЗОРКИЙ ПАСЕЧНИК

В БАРОКАМЕРЕ

УТРО И СОЛНЦЕ ВЕСЕЛОЕ

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ

АФРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

МОЙ БРАТ — ПРОФЕССОР

МЫСЛИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Очнулись мы, наконец, от долгой одури, а куда податься — не знаем. Советчиков много, а мудрецов нет, и свой ум будто отшибло. А и правда: русский народ, почитай с 1917 года, своим умом так и не пожил, не попользовался. Революция карающим мечом всадила в Россию ум чужой, привозной, выхваченный из «Коммунистического манифеста». И воинствующее безбожие ледником проползло по России, сдирая с холмов золотые храмы, белокаменные усадьбы и древние монастыри — священные меты тысячелетнего Отечества. И самое слово «русский» было оплевано, зарешечено и расстреляно за то, что оно якобы источает из себя антисемитизм, национализм, шовинизм и черт знает какую еще крамолу...

Слава Богу, очнулись-таки от страшного помрачения ума. И что же? Семьдесят годов делали вид, будто Россию совсем извели и стерли с мировых карт, а теперь вновь спорят, судачат и кричат о ней на депутатских съездах, в газетах и с мировых трибун: новый передел начался! И качается Русь-матушка в шуме-гаме, как на постыдном торжище. Иными «чадами» своими уж заложена под сатанинские кредиты, а другими вовсе предана и продана за вожденную валюту.

Да и в пределах пока что своей земли горе-горькое катится. Аукается с времен раскулачивания, репрессий, ссылок, всяческих вербовок и переселений. Десятки миллионов русских людей по чужой и по своей воле бросили когда-то свои крестьянские родины — милые деревни в лугах и полях, по берегам говорливых речушек, а что обрели? А обрели они «от Москвы до самых до окраин» в большинстве своем душевное сиротство и житейскую убогость: общежития, бараки, вагончики, лишь в счастливых случаях — крупнопанельные хрущёвки. Мы, русские, сильно покачнули и растрясли по разным сторонам свое национальное достоинство. А многие из нас — горько признаться — уже и утратили его. Оказались как бы бескорневыми, безродными.

И ответы на тяготы и неурядицы своей жизни искали уже не в самой жизни и не в самих себе, а в классовой борьбе и в марксизме-ленинизме — «единственно верном

учении», а также в решениях партийных съездов и пленумов. Гордость свою обретали тоже в них («у советских собственная гордость — на буржуев смотрим свысока» — В. Маяковский), не замечая, что эта гордость — всего лишь кичливая гордыня обманутых и уже разучившихся работать людей.

А прогуляйтесь по нашим городам. На площадях и на всех путях людских — памятники, памятники... Одни и те же. Они всевидящи, за всеми следящи, эти надменные истуканы. Но хотя бы для радости глаз просквозили в них проблески искусства и художества, доброго привета или сопутствующей людям задумчивости, так нет — лишь всевластие вскинутых рук и беспощадность шага на уровне человеческих голов.

И стыдно смотреть, как новобрачные пары — счастливые и наивные — в самом первом совместном порыве несли цветы к этим холодным подножиям. За что и ради чего? Будто и не было в России ни тысячелетнего христианства, ни теплой красоты народных обычаев и обрядов, ни свадебных радостей в свечах, в пении, в золотых венцах и ризах!..

Так что же мы, как не идолопоклонники? А кое-кто еще похвалится, видя в нашем идолопоклонстве чуть ли не корни древнеславянского язычества. Ох, какая слепота! Люди древней Руси обожествляли землю и солнце, леса и реки, хлеб и домашний очаг. И в обрядах их, молениях, хороводах лучилась сама красота и поэзия, потому что перед ними сияло главное божество — Природа. И творчество их — песни, заговоры, обычаи — оказалось такой живительной яркости и силы, что долетело до нас.

Так спасение наше, значит, в религии! В ее нравственных добродетелях? В Христовых заповедях? Да, в возрожденной церкви много простора и света для заблудших, сомневающихся и любопытствующих. И велика отрада в ней глубоко верующих, страдавших от утеснения атеистических властей и надругательств от полчищ звероподобных выроdkов, возвращенных безбожием.

Поворот к Христовой церкви в русском народе, в массовом сознании его, растерянном от всякой нужды и безысходности, произошел уже давно и скрытно, а теперь обрел уже необратимый ход. Случись бы какой-нибудь новый запрет религии, то не миновать бы вдобавок к национальным междоусобицам и массовых религиозных выступлений. Ибо многие люди, приблизившись к Христовым

заповедям, поняли уже, что кратче, зорче и необходимей их человечество не знает иной мудрости.

И благодетельно то обстоятельство, что Церковь распахнулась перед своим народом в самый необходимый, в самый крайний и спасительный момент. Да, поворот к христианству велик. Но, зная русскую натуру, склонную к духовному разномыслию, я не берусь утверждать, что весь наш народ так и хлынет в христианские врата. Думаю, что около половины русских истово прислонятся к распятию Спасителя. А другая половина будет еще долго шататься туда-сюда в своем правдоискательстве.

Главный же русский путь — это путь к себе, в себя, в свое прошлое и будущее одновременно. Через марксистское заложничество, через идолопоклонство, через иные заблуждения — к собиранию не только исторических камней, но и всех наших разъятых безвременьем родственных связей. К собиранию самих себя, своей национальной сущности! Ведь мы, очертя голову, кинулись во всесветный интернационализм и вовсе забыли о Родине.

Владимир Соловьев — наш пророческий философ — в начале столетия сформулировал национальную задачу русского народа как задачу достойного существования. Он утверждал, что только через свою нацию и осуществляется Человек корневой судьбы, ответственный за честь и достоинство своего Отечества и избавленный от лжи космополитизма.

*Ведь ты — не просто ты,
Лишь имя в списке.
В тебе все лучшие черты
Твоих же близких.
И тех, кого уж нет,
Кто жил задолго,
Ведь ты родился сотни
лет —*

*Подумай только!
И потому выбрал
Такие силы,
Чтобы на подвиги добра
Тебя вносили.
Чтобы судьбою всей,
Пусть даже краткой,
Явил ты к исконной красе
Родной характер!
А если упадешь*

*В глазах чужих,
жестоких,
Твое убожество —
как ложь,
Как тень,
падет на столько!..*

Это стихотворение я написал давно, но оно и поныне горит моей тревогой за иных соотечественников, забывших, какому народу они принадлежат.

«Мы должны быть хороши и можем быть хороши — вот идеальное национальное сознание, — сказал другой значительный наш философ Николай Бердяев. — Великая Россия как некое тело в мире уже существует и просто существовать, существовать без высшего смысла было бы недостойно ее». Поучительные суждения! Как жаль, что мы — в массе своей — ни Владимира Соловьева, ни Николая Бердяева, ни Василия Розанова, ни Ивана Ильина, ни других отечественных мыслителей еще не прочитали.

Во всем мире теперь идут сложные национальные движения. Всякий народ хочет утвердиться в мире своими лучшими достижениями и чертами. Взгляните на японцев, на китайцев, на финнов... Какое достоинство в них и какая вера в себя, в свою работу, в свой национальный путь! Посмотрите в сторону и еврейского народа. Как упорно собирает он себя на земле предков! А у русского народа — заметьте — положение сейчас ничуть не лучше, чем у еврейского, хотя и живет, слава Богу, в своих пределах.

Я думаю, что любой народ — независимо от численности его — может быть великим, если сильна в нем национальная идея. И наоборот. Да, нам, русским, как свежий ветер жизни, необходима своя национальная идея. Именно в ней горит воля к жизнеустройству и копится энергия для самовозрождения. И только она, патриотическая идея, зорко и пристрастно распахивает взгляд на самих себя и на весь мир.

Наша трагедия еще и в том, что за советское время окончательно развалились и порушились наши семейные дела и домашние очаги. И ныне нету в мире народа более бессемейного, чем русский. Это и позор, и великое несчастье. Уже в трех поколениях катится эта грозная для нашего народа беда. В молодых семьях — по одному ребенку. Как вечное бедствие — жилищная теснота и неустроенность. И в семейных отношениях ширится безлюбие друг к другу.

Даже и не верится, что перед революцией Русь кипела краснощеким и крепким народом. В крестьянских семьях ребятишек копилось, как говорится, семеро по лавкам да пятеро на печи. В этой веселой прибаутке — нагольная правда. Я — из крестьянства, знаю. В каждой вологодской деревне — по звонкой туче ребятишек! А ведь многолюдство — верный признак надежного здоровья нации. Куда же все это многолюдство подевалось? Как сквозь землю провалилось... В набат бы надо бить о семейном вырождении русских, но молчат наши колокола...

Вот и выходит, что главный путь к вашему национальному возрождению пролегает через семью. Надо спасать себя в семье! Поворот к семье — поворот к будущему России. Неотложней и значительней дела в современной России нет. Семья! Восстановление ее, обустройство разнообразное, но прежде всего — трудовое воспитание, широкое обучение в свете родной истории и, конечно, в свете великой русской культуры. Вот что надо нам позарез!

А через семью — возврат многих людей к брошенной земле, к забытым просторам Родины. Такой путь, конечно, долг и труден, но он единственно верен для судеб России. И с выбором такого пути должна быть сопряжена вся государственная политика России. Необходима также помощь церкви и всех научных, культурных, медицинских, благотворительных и иных учреждений, обществ и предприятий. Надо возродить в России культ семьи! Только так и можем мы устоять в раздираемом распрями мире.

ИМЯ РОДИНЫ

Более семидесяти лет — в трех поколениях — мы директивно изживали из себя национальную самобытность — свою русскость, чтобы стать интернационалистами. Будто бы русские люди до большевиков не хаживали «за три моря» и не принимали у себя гостей со всего света.

Роберт Балакшин — писатель широких интересов — однажды показал мне подготовленную им рукопись небывалой еще книги. Он собрал о нашей Родине сотни отзывов и свидетельств иностранных путешественников, купцов, дипломатов, политиков, философов и писателей разных стран, начиная с XI века. Получился документальный свод знаний о России за девять веков! Из него я процитирую лишь три высказывания.

«Изобилие в хлебе и мясе так велико здесь, что говядину продают не на вес, а по глазомеру: за одну марку вы получите четыре фунта мяса, а семьдесят куриц стоят всего червонец».

Иосафат Барборо (1413—1494),
венецианский путешественник

«Россия — не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров».

Добраться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потрясения, которое проникало бы до самого сердца страны».

Карл Клаузевиц (1780—1831),
немецкий военный теоретик

Сказано это 164 года назад, а звучит и обжигает, как сказанное сегодня! Будто бы кем-то из нынешних наших политиков, которые Россию называют не по имени, а презрительно «этой страной»... А вот еще одно мудрое свидетельство.

«Совершенно очевидно, что история Европы неразрывно связана с историческим развитием России. Поэтому анализируя ту или иную проблему, связанную с Европой, я не могу не упомянуть о роли России, которая мне представляется целым континентом».

Непростительно сегодня квалифицировать Россию как «восточную» или «азиатскую» нацию. Она существует как бы внутри

себя, и ее эволюция всегда была независима от эволюций других цивилизаций».

Амори де Риенкур,
французский писатель, двадцатый век.

Вот, оказывается, чужие, но умные люди уже давным-давно поняли национальное своеобразие и историческое величие России. А наши нынешние «умники», живя в ней, поносят Россию злее и бездарнее самых отъявленных ее врагов. Они хотят отнять у нас или на худой конец унижить в глазах молодых поколений достоинства нашей Родины. Запомните же: мир без прошлого пуст, а без будущего страшен!

Да, более семидесяти лет мы директивно расшатывали, изживали и вырывали из себя национальный корень. А случись не стерпеть внедряемой унылой ординарности и выказать во весь размах свою природную силу, так не то что похвалят тебя за молодечество, а, прищурясь, зорко присмотрятся к тебе: да это же черносотенство!..

Так всякие доносчики стращали власти новым черносотенством, когда кто-нибудь из нас, русских поэтов, публично и жарко отстаивал честь обезличенной и униженной России.

И со мной были такие случаи. В 1985 году в издательстве «Молодая гвардия» готовилась к выпуску моя книга стихов и поэм «Дни прозрения». И редактор подсчитал — не поленился! — что в моей рукописи слова «Русь», «Россия» и «русский» употребляются около двадцати раз — ох, чрезмерно густо! — «А вот это стихотворение, — потыкал в него карандашиком, — еще и вызывающе дерзко. В нем, таком кратком, сильно прорывается ваша национальная озабоченность»...

*Меж взглядов и чуждых, и наглых
Распахнуто, весь на виду,
Иду, не печалюсь о благах,
С достоинством русским иду.
Мне трудно, мне больно — не скрою,
Но совестью не поступлюсь.
Не рвусь в показательные герои,
А горько тревожусь за Русь.*

Помню, выслушал я редактора и онемел от глухоты его. И кинулся в самозащиту. Мол, слова «Русь», «Россия» — не просто имена нашей Родины. Это сдвоенное и перекатистое эхо, летящее к нам сквозь целое тысячелетие. Эти два сокровенных слова — что заклинания от

беспамятства и утрат национальной чести. Они — духовные стражи и обереги от нашей нравственной порчи и близкого уже одичания... Редактор выслушал и сказал, что я, дескать, преувеличиваю эти опасения, но все-таки кое в чем пошел на уступки.

Затем в издательстве «Современник», в специальной серии «Библиотека поэзии» готовилась к печати следующая книга стихов и поэм. Ее назвал я сперва «Сторожевой луч».

*Спать не могу. Лежу, расстроясь.
Недвижна ночь над головой.
А в глубине сознания — совесть,
Как будто луч сторожевой...*

И название это в отделе поэзии приняли. Но позднее я почувствовал, что надо бы отыскать слова посуровей, позначительнее. Хлопотная это забота — найти верное название для книги! Мучился я среди множества вариантов и вдруг решил: вынесу в название книги целую строку «Русь уходит в нас». Она из стихотворения «Разговор с художником Корбаковым».

Редактор книги и все сотрудники отдела поэзии в один голос заявили: не пройдет, папахивает национализмом.

— Да какой же тут национализм? — изумился я. — Разве в имени своей Родины таится что-то опасное для других народов? Что за чушь! Ведь имя Родины любого народа живет в истории, в своеобразии и в делах всех его поколений. Вот и я хочу этим названием книги — «Русь уходит в нас» — внушить каждому из нас кровную причастность к своей Родине, к России...

— Нет, нет, нет! Такое название никак не пройдет! — твердили со всех сторон. — Иди к Фролову, директору издательства. За ним последнее слово.

Леонид Фролов!.. Вологда помнит его совсем молодым — редактором областной комсомольской газеты. Родом костромич, из мест, близких к никольским, Яшинским. Да и в самом Никольске после окончания института работал. Вышел он, что называется, из народных глубин.

Из Вологды его перевели в Москву, сперва в ЦК комсомола, а затем по ходатайству главного редактора Сергея Викулова — в руководство журналом «Наш современник». Хорошо помню те бурные творческие годы, когда

мы, молодые поэты и прозаики, почитали за честь напечататься в «Нашем современнике».

И долго никто не знал, что заместитель главного редактора журнала — тоже писатель. Свет Северной Руси, вынесенный в душе с костромской родины, тепло проливался на страницы неведомых никому рассказов и повестей. Он, имея все возможности, не торопился печататься. Редчайший случай! Давно понял: правда изображения жизни не терпит скорописи. Чтобы слово твое загустело правдой, необходима постоянная нравственная самопроверка на истину. Это свойство осмотрительного таланта — не рваться, сломя голову, во всякую злобу дня.

Вот так и возникали его рассказы и повести «Алевтиново гостевание», «Правда же», «Украденная невеста», «Во бору брусника», «Глухая изба», «Звезда упала»... В них слышится растревоженная Русь, полнится горькими думами и голосами. Не меняем ли мы правду на кривду? Не на последней ли черте стоим?..

Леонид Фролов выслушал тогда мою просьбу назвать книгу «Русь уходит в нас» и согласился. Я был счастлив: золотое имя Родины засияло на голубой обложке первого моего однотомника.

ВНЕЗАПНЫЙ ОКЛИК

Э тот дедовский полутулупчик из черных и серых овчинок, обшитых шинельным сукном, и с железными ржавыми крючками вместо пуговиц пребывает в нашем доме с 1937 года. Он вовсе поистерся, пооборвался, а еще в войну и после нее славно служил нам: то подкинем под себя или на себя, то мать прикроет им только что налаженную квашню. С годами я забыл о нем, а вот в нынешний приезд в Петряево вновь увидел его висевшим на перильцах веранды. И память моя, загроможденная всяким разномыслием, вдруг очистилась, и я не только увидел, а как бы въявь почувствовал горечь дедовского взгляда и ласковость его черной бороды, соприкоснувшейся с моей щекой.

Я был тогда на седьмом году жизни, а дедушка — на шестидесятом. Он прикрывает меня полой этого полутулупчика, прижимает к себе и тихо плачет. Мне так жалко его, что я лну к нему и тоже плачу. Слышал с вечера тихий разговор между тятьей и мамой, что дедушка надорвался, что у него от бревен случился какой-то заворот, и дедушку надо везти в Кадников, в больницу...

И вот перед расставанием он обнимает меня, щекочет бородой мою щеку. Мы сидим на приступчике крыльца, дверь распахнута, и видно, как тятя укладывает на дроги охапки сена, чтобы дедушке было помягче лежать. Потом отец, мама и бабушка усаживают дедушку на сено, поднимают серый воротник его полутулупчика. Лошадка трогается, и вижу, как дедушка, уезжая, крестит меня, что-то наказывает маме, но до меня доносится лишь имя мое: «Шура, Шуронька!..»

...Через несколько дней случилось первое в моей жизни страшное потрясение: скончался дедушка. Он лежал, привезенный из Кадникова, в белом гробу под теплившимися иконами, с лицом белым, и лишь черная борода веяла мраком. Я прижимался к стене поблизости от гроба. Бабушка, мать, отец и кое-кто из деревенской родни (родня-то была большая, да разбежалась перед колхозами) стояли и сидели у гроба в скорбной тишине. Бабушка нараспев читала молитвы...

Вдруг резко распахивается дверь, и в избу входят трое чужих мужиков. Мы все обмерли.

— Здесь живет Александр Никонорович...— начал было главный из них, в черной тужурке, но, увидев гроб, осекся.

— Да, жил здесь,— сухо поправил отец и шагнул к ним. Я испугался мужиков и сунулся, помню, под материнский передник. Она стояла ни жива ни мертва.

— А что вам нужно? — спросил отец.

— Арестовать! У нас ордер...

— Опоздали,— с горькой злостью ответил отец.— А за что?

Кожаный мужик в рыжей щетине злобно глянул в передний угол, на две серебристые иконы, которыми венчались отец с матерью, на мерцавшую лампадку и слезившиеся свечи.

— Вот за это самое! — ткнул он своей пятерней в иконный угол...— А еще учитель,— уколол отца укором.— Не ликвидируешь их, смотри...— и хлопнули они дверью. Бабушка, мама и соседки захлебнулись уже не причитаньем над покойным, а бессильным ревом. Этот разговор отца с тройкой оперуполномоченных мать пересказала уже много лет спустя. Я в ту пору был слишком мал, чтобы понимать весь ужас тех годов. Да, признаться, и поныне ужасаюсь при одной лишь мысли, что по всей России могилы тех лет бескrestны, безымянны, безвестны...

А полутулупчик дедовский вновь оказался на перильцах нашей веранды для просушки на солнышке. Я лишь глянул на него, и щемяще распахнулась даль более в полувека. И увидел я деда своего Александра Никоноровича, вспомнил тепло его рук, обнимавших меня, и въявь услышал внезапный оклик: «Шура! Шуронька!..» Я вздрогнул, заглядывался, но увидел лишь свое одиночество.

— Твой-то отец, еще в парнях, по три зимы ходил к нам в Большую деревню на посиделки. Метель не метель, а он закинет за плечо гармонию и летит в нашу сторону. Свои-то, петряевские девки обижаются, что такой гармонист обходит их. А он уже высмотрел меня, славницу. Была я — хвастать не стану — пригожая и рукодельная. В нашей Большой-то деревне девки росли завсегда ядрёные да голосистые, да на красу форсистые. Запоют — так широко слышно. Вот он, отец-то твой, и выбрал меня на двадцатом году...

Да и то надо сказать: весь наш род Богачёвых был почитаем в Корбанге. Отец-то мой, Иван Евгеньевич, твой дедушка, восемь годиков служил волостным старшиной. Выбирали его мужики. Видно, справедливым да толковым считали. И от царя была ему медаль. Мало только пожил тятя. Осиротели мы рано...

Так вот, стал тогда Шура, отец-то твой, звать меня замуж. Я вострепелась, не знаю, что молвить. По душе, по нраву он, а боюсь чего-то. Вдруг — смотрю — вынимает из кармана красивую коробочку, открывает, а в ней — я обомлела — золотое колечко! И он — хватить мою руку и ловко надел его.

— Это,— говорит,— свадебный подарок тебе!

— Что ты, Шура! — так растерялась я, вся пылаю, а сама рада-перерада. Любуюсь на его золотое колечко. Глаз не могу оторвать. Оно холодит маленько, а уж так ловко облегает, обнимает мой пальчик, уж так драгоценно сияет, что я вдруг зажмурилась и крепко прижалась к его груди.

Вскорости мы и обвенчались, и свадьбу хорошую справили. А пожить-то вольно, в единоличестве, привелось нам всего годика два. Тут накатилась беда: загонять стали в колхозы. Черные мужики с наганами топают на собраниях. Вот от этого лиходейства мой Олексан со своим отцом, твоим дедушкой, укатали в Питер как бы на заработки, а на самом-то деле во спасенье от колхоза. Свёкор-то был хорошим плотником, а отец-то твой заведывал и маслозаводом, и продавцом был — учительствовать-то начал потом. Всякая грамота ему открывалась. И в Питере дело нашлось.

Ну, а мы со свекровушкой Лизаветой Платоновной одни остались в хозяйстве. Я была уж с тобой на сносях. Шли последние сроки. Тяжелого делать мне нельзя. А у нас во дворе две коровы с телятами, мерин Карько, овец целая стая... В колхоз мы не записываемся. Говорим, что без своих мужиков невольны записаться. Хотим жить единолично.

И тут навалили на нас такие налоги — хоть помирай. Не заплатишь в срок, придут и опишут все, что есть в доме. Да и сам дом отнимут. Уже раскатали дом Кондаковых — эдакую-то великую хоромину о двенадцати окнах по переду — и свезли в лесопункт для бараков. Тем же грозят и нам со свекровушкой. И вот — хлесть нам новое обложение: сдать столько-то пудов зерна, столько-то фунтов шерсти, столько-то чесаного льна, столько-то мяса... Господи! Это же грабировка! Последнее отнимают...

Мы в Питер — письмо своим мужикам. Те высылают деньги. Кинули нам самые последние. Мы за головы схватились: и этих денег им, подлым начальникам, мало. Грозятся описанием имущества. А что у нас описывать? Одно дерево да железо. А как глянула себе на руку-то — золотое колечко! Так вся от испуга и заledenела. Свекровушка говорит: сымай колечко да спрячь понадежней. Эти дьяволы сорвут его с руки-то. Вон у Кондаковых, у девок-то, пальцы выламывали из-за таких колечек...

Я растерялась: куда спрятать? За божницу сразу лапищу сунут, из пуговичницы вытряхнут, из сундука выворотят... И опомнилась, что стою в подвале перед самой щелью в бревне. Долгая и такая кривая щель. «Ну,— подумала,— из щели-то им не выковырять!». Сняла я с руки золотое колечко, поцеловала его и сунула в эту щель... Ох!..

...А нашим мужикам пришлось-таки покинуть Питер и вернуться домой. Жить врозь было неважготу. Отец твой записался в колхоз, ну, и я с ним, а дедушко наотрез отказался от колхоза. Тут я и рассказала самому-то, ну, отцу-то твоему, как спасла я наше золотое колечко от описи. Спустились мы в подвал, а как глянула я на бревна со щелями и оцепенела: в какую из них спрятала-то я золотое колечко? Долго мы осматривали щели в стене, но так и не нашли его. Заревела я горючими слезами. И сам-то вроде бы подрастроился, да вида не оказал, обнял, успокоил меня...

Об этом горьком событии мать рассказала мне уже после войны, в голодном 1946 году. И мы с ней тогда вновь ощупывали в стенах каждое щелястое бревно в надежде все-таки отыскать золотой отцовский подарок, чтобы обменять на хлеб насущный, но подвальные стены осыпали нас одной горькой пылью забвения. Материнского золотого колечка будто бы и не бывало вовсе, как и самой жизни материнской, являвшейся подвигом русского терпения.

Мать моя Александра Ивановна была набожной. И не диво, что у нас стала появляться Аннушка. Блаженная скиталица. Стукнет батоном в подоконник и схоронится в угол. Мать, услышав условный стук, торопится открыть крылечко.

Я тогда, с восьми лет, и запомнил Аннушку. Низко надвинута на лобик темная фатка (что это знак Божьей невесты, узнал, конечно, потом). Глаза большие и печальные. В них голубело небушко.

Мама приносила на стол самовар, пироги и мед. (У нас долго держалась хорошая пасека). И вот, задернув занавеску, вставали они перед иконами. Гостья нараспев вела долгую молитву, а мама торопилась поспеть за ней чистым голосом.

Я приткнулся на печи и слушаю, как они молятся. Такими страстными, тревожными и жалобными были их слова, что мне хотелось, уткнувшись в подушку, тихо плакать. От мамы я уже слышал, что за Аннушкой гоняются милиционеры, не дают ей встречаться с набожными людьми. И был уже случай, когда доносчики высмотрели и навели на нее милиционеров.

Аннушка спаслась от них и на этот раз. Вышла из-под пуль невредима. Слух о таком чуде, подглядывая сам за собой, поплыл от деревни к деревне по всей нашей Корбанге. Старухи в закутках да уголках кинулись молиться еще жарче, а молодухи прежде чем перекреститься, стали заслоняться спиной. Мужики же в открытую мatoryали милиционеров за постыдную ловлю какой-то нищенки-побирушки. И с тех пор Аннушка не появлялась у нас. Мать втайне горевала, а я с годами забыл эту, может быть, великую подвижницу...

И вот, спустя более сорока лет, мать однажды вновь припомнила Аннушку. В своей одинокой доле она во всем полагалась теперь на меня, старшего из трех ее сыновей. И потому она перед смертью открыла мне одному эту свою тайну.

— Долго-долго не было тогда, перед войной, об Аннушке ни слуху ни духу, — полушепотом начала она (хотя и сидели мы вдвоем). — Я горевала, что ее, такую мудрую, поди-ко уже погубили на каторге. А с самим-то, с отцом-то

твоим, и заикнуться о ней боялась. Ни-ни! По деревне уже хватали самых рачительных мужиков да по тюрьмам совали. С колокольни нашей колокола скинули, а священника нашего отца Владимира расстреляли, и церковь испохабил. Бабы шептали, что церковное-то добро — а оно ведь золотое да серебряное — будто бы сами же сельсоветчики и расхватали...

Мать прикрылась рукой от накативших вдруг слез и замолчала.

— И вдруг в такую-то пору, — вновь, но еще тише заговорила мать, — слышу в сумерках: стук-стук. Я к окну. Аннушка! Жива, слава Богу!.. А как присели к столу, вижу, как она исхудала. Одни глаза и остались. Стала угощать, да мало что и поела Аннушка. Лишь чаю с медком попила в охотку...

«Пробираюсь к вам, — говорит она, — а над Петряевым-то — огненные мечики! Прорежутся из оболочек и красно замреют над крышами. Вон у вас сколько крыш-то! Черные...»

Я онемела, Ничего не понимаю.

«Да, — повторила Аннушка, — огненные мечики прорежутся из оболочек и будто выбирают, какую крышу явить, а какую минуть...»

«А что это, матушка? — похолодела я. — Не к пожару ли? Ведь Петряево уже гарывало. Не приведи Бог!..»

Глянула она на меня как-то из-под низа, из-под своей фатки, пошевелила губками и в слове своем будто бы запнулась. Знать, пообереглась выявить всю тайность. Долго молча крестилась, а потом прошептала мне:

«Огненные мечики, Олксанушка, они солдатиков ищут... Солдатушек ждут. Красно мреют, красно мреют».

Тут я омертвела: война будет?

Аннушка будто бы кивнула мне, а сказала совсем другое: «У тебя трое деток. Ими и спасешься». — «А как, матушка, мне-то с Олксаном жизнь свою ладить? С мужем-то моим богоданным?».

— «А с Олксаном-то живи потеплей. Не бранись. Потрафляй ему во всем, — наказала она и ручку положила мне на плечо. А ручка-то ласковая, голубиная... И тут же зашептала сызнова. Будто бы про себя: — Огненный мечик... Над крышей-то...».

Тут я почуяла страшное в ее словах, а что — в догадку взять не могу. Обмерла вся. Она, утешая, приобняла меня.

Я уж и переспрашивать боюсь. А решилась-таки загадать другое:

— «А как, матушка, мне-то пожить придется?»

Она приподняла голову, воткнулась мне в глаза и ответила так:

— «Олехсанушка, а Бог к сиротам милостив»,— и широко перекрестила меня. Ну, думаю, про детство сиротское мое намекает. Без родителей мы малолетками остались. Нахватались тогда горя да беды. А про свое-то уже близкое вдовство, про сиротство вас, моих детушек, в ту минуту и не подумала. И ни одному человеку, никому-никому не сказывала я о последней встрече с Аннушкой и об ее страшных намеках. Вот тебе первому говорю,— и обняла меня слабыми руками, уткнулась мне в грудь и облегченно, вся вздрагивая, заплакала.

Так мать открылась мне в своей мучительной тайне. Ведь знала уже, расставаясь с отцом, что не вернется он с войны. А когда в Петряево пришли первые извещения о гибели Никоноровых братанов, мать горько ревела, втайне ожидая такую же весть и себе.

Однако от отца с фронта изредка приходили письма. И мать как бы оттаивала от думы, постоянно леденившей ее сердце. Но вот узнали, что и братаны Сухаревы погибли. Мать уже и реветь не могла. Она будто окаменела...

Уже чуялось близкое окончание войны. И отец наш, командир пехотного взвода, уже прошел через два фронта — Волховский и Ленинградский, остался жив после двух ранений. И мама ночами на коленях простаивала перед иконами. Жаркими молитвами и горячими слезами своими порывалась защитить своего мужа-воина от третьей пули, от третьего осколка...

Однако слова и намеки блаженной Аннушки, сказанные за три года до войны, все же сбылись: в самый канун победы огненный мечик настиг отца. И похоронка молнией ударила в нашу крышу.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Всякий человек счастлив памятью детства. Вот я оглянусь назад, в утро своей жизни, и вновь увижу, как мы, петряевские ребята, летим ржаной дорогой за своим Учителем. Он высок ростом, и мы задираем головенки, чтобы заглянуть в его лицо и возрадоваться от его ответной улыбки; он стремителен в шаге, и мы подскакиваем, чтобы не отстать от него, и, пытаясь, смахиваем со своих рожниц росу счастливого старания. «Василий Васильевич!» — визгливо скажется сзади девичий голосок, и Учитель распахнет сильные руки, чтобы остановить ватагу. «Что случилось?» — нахмурится он, и в голосе слышится справедливая строгость. «Да Шурка Печугин толкается...» Учитель погрозит пальцем вспыхнувшему от стыда Шурке, и такого внушения достаточно, чтобы мирно добежать до Большого ручья под Ивановскими. А перед ручьем Учитель крикнет: «А ну забирайтесь на меня!». И мы с радостью виснем на нем, выглядывая из-за плеч и объятий на разгонистые и коварные внизу протоки...

Наша начальная школа розовела окнами посреди Больших Ивановских. В нее стекались ребята из шести деревень. В те годы народу в округе было густо. И всякий прохожий при встрече еще кланялся учителям. Тогда, до войны, в людях еще держалось высокое почитание местного учительства.

Вот сейчас, когда вспоминаю это, то дивлюсь, что нашему учителю Василию Васильевичу Зайцеву было тогда всего-навсего девятнадцать лет. А его уже и стар и мал величали по имени-отчеству. Может, он и смущался от такого приветов, но в смуглости лица, в отзывчивости взгляда, в сдвиге черных бровей и в осанке стройной и сильной, словом, во всем облике нашего Учителя смолodu проступало скромное благородство хорошего человека. И люди это чувствовали и ценили в житейской повседневности наших деревень.

Радость учения мне помнится, как весенняя свежесть распахнутых тетрадей. И впервые выведенные тобою буквы и слова, цифры и числа сладостны до обмирания сердца. А учительские отметки! О, эти красные снегири в твоих тетрадях! Они летят и летят за тобою из дет-

ства в юность, оповещая о каждодневном просветлении твоего ума, сердца и характера.

О озабоченный взгляд Учителя! Он совсем молод, но уже мудр, иным ему и быть нельзя, ибо перед ним доверчивые глаза и души новых поколений. Не затумань их ложью и корыстью, а проясни истиной и совестью!.. Вот именно таким и помнится наш первый учитель Василий Васильевич Зайцев, внушивший с 1939 года нам, ребятишкам, в Большеивановской школе первоначальные и главные заповеди разумной жизни. И мы так полюбили его, что в 1941 году в голос ревели, когда он уходил на войну.

Слава Богу, Василий Васильевич остался жив, чудом жив: война кидала в такие погибельные места, что и вспомнить страшно. Вернулся в Петряево, срубил дом, обзавелся семьей и вновь — за учительство. Теперь уже заодно с молодой женой Александрой Васильевной. Счастливая в любви и в трудах своих пара! Так и стали звать в округе Большеивановскую начальную школу школой Зайцевых. Это надо было заслужить! Здешний народ на похвалу скуп. Не сразу обогреет словом. Но справедлив: видит меру честного труда.

Я тогда учился и жил уже в Вологде, но родное Петряево всегда было в глазах. И случалось, еще не дойдя до материнского дома, я сворачивал отдохнуть в школу Зайцевых. Какая была в ней уютная радость! Звонкоголосие юного землячества, красота учительской четы и почти домашняя теплота взаимного общения. Да, школа эта славилась грамотностью учеников, их прилежанием в огородничестве, в садоводстве... Поэтому Василию Васильевичу Зайцеву и было присвоено редкое в наших местах звание «Заслуженного учителя школы России».

Ни один человек, родившийся здесь, не миновал его доброго участия. В тысячах людских судеб завязано его имя. Ведь учитель в деревне — не только наставник в ученье, но и заступник среди сирых, ходатай среди бедных, судья среди безумных, утешитель среди скорбящих, поводырь среди потерявших свой путь...

ОХ, МУЖИКИ, МУЖИКИ!..

Горькие заметки

— С приездом на родину! — возникает в дверях чуть навеселе деревенский давнишний сосед. Мужик уже в годах. Мое приятельство с его покойным отцом переместилось теперь на него, перенявшего отцовский говорок-юморок.

— Не надо ли дровишек? Березовых-розовых...

— Надо, надо! — отвечаю. — А почему?

— Подорожали ныне дровишки, — шурит он рыжеватый взгляд. — Да по-соседски уж не обидим. Пять кубов можем сейчас катнуть к бане.

От такой нечаянной радости я готов его обнять.

— Так сколько же, сколько с меня?..

Сосед — назовем его Андреевичем — на минуту поднахмурился, взыскующе глядя в себя, и сказал твердо:

— Четыре штуки!

Но четырех бутылок водки, как на грех, на этот момент у меня не оказалось. Его уже опередили другие гости.

— Четырех нету, — отвечаю Андреевичу. — Может, деньгами возьмешь?..

— С нынешними деньгами одна морока, — морщится Андреевич (ехать в магазин за пять верст), но, почмокав губами, снизошел-таки: — Ну давай двенадцать тысяч. Свой человек! Выручим!..

И к вечеру тележка с дровами разгрузилась у нашей бани. Дрова действительно были хорошие. Я возрадовался, жена рацвела, а внучек, глядя на нас, радостно прыгал с березовых кряжей. Вот удача — так удача! Ведь газовых баллонов теперь не возят по сокольским деревням, как бывало при социализме (вон у меня с весны приколоты к оконной занавеске квитанция за оплаченный, но так и не полученный баллон), а по радио еще грозятся и электричество от нас отключить...

«Добро, хоть дровишками запасаю, — думаю я, поглядывая в сторону березовой груды. — В случае чего лучины нащиплем. И дедовская печь не даст пропасть!». Но так радовались мы не более часа.

Смотрю: распахивается уличная калитка, и к нам в загороду не твердо, но сплоченно идут четыре мужика.

Самого Андреевича нет, а вот труженики его бригады движутся на меня целеустремленно. Все ясно: им «четыре штуки» мало!

— Ты нам недоплатил,— начинает первый. В голосе не укор, а натиск.

— Я отдал вашему бригадиру столько, сколько назначил он сам,— отвечаю как можно спокойнее.

— Э, нет! Плати еще столько же! — требует второй.

— Ставь еще четыре штуки! — наглеет третий.

— А не то дрова заберем,— угрожает четвертый.

...Боже мой! Гляжу оторопело на них: да мои ли это однодеревенцы? Такие еще молодые, моложе моих сыновей, а так по-собачьи лают на своих же ближних. И стало так отвратительно и гадко, что я взорвался.

— Вы четыре штуки уже залили в себя. Требуете еще четыре штуки. Это же наглость, ребята!

— Ну, тогда дрова мы забираем,— приподнимается первый. Злоба его возгорелась уже издевательством.

— А деньги? — спрашиваю.— Тогда возвратите деньги.

— Велики ли деньги-то твои! — огрызаются, оглядываясь.— Деньги его...— доносится из распахнутой калитки их пьяное похохатыванье...

...Через час какой-то, да, всего через час эти «березовые-розовые» в наказание мне перекочевывали от моей бани к соседней бане. Уже купленные дрова были тут же у меня отняты и перепроданы без возврата денег. Я был ошеломлен. Теперь, оказывается, и на родине не стыдятся никого и ничего: ни родителей, ни соседей, ни земляков, ни своих безобразий. Плюют ныне и на извечную щепетильность в деревенских взаимоотношениях. Вот до чего мы докатились.

Через неделю после этого мерзкого случая приходит ко мне другой мужик. Трезвый. Давний знакомец. И с порога — уважительно ко мне, прискорбно о себе:

— Олександрович! Спаси и помоги!..

— Что случилось? — Я и вправду встревожился.

Жму протянутую руку, зову к столу. Не видал его с прошлого лета. В бороде уже заснежилась седина. И ростом поутоптался. В Петряеве почитался он как мужик дельный и надежный. И с вином аккуратнo обнимался.

— Одолжи тринадцать тысяч! — не присаживаясь, с последней надеждой упирается в мои глаза.— Позарез надо. На три дня!

Заметив мое замешательство, горячо повторяет:

— Да-да, на три дня! Всего на три дня!..

И хватает мою руку, чтобы еще раз пожать. Такой натиск сразу оттолкнул от него, самоунижение его отозвалось во мне горькой неприязнью. Тринадцать тысяч, которые он просил, — это теперь не деньги. Это — постыдная нищета. И горько-то стало именно оттого, что в кошельке моем тощем, пенсионном, лежали именно эти последние тринадцать тысяч. Они предназначались только на хлеб. На один черный хлеб! Хватит примерно дней на десять — так рассчитали мы с женой.

— Поверь, — говорю земляку, — отдам тебе, сам без денег останусь. У меня в кошельке и есть-то только тринадцать тысяч.

Земляк удивленно таращит глаза. Не верит мне! И вроде бы про себя (заметно по сузившимся вдруг зрачкам) думает: «Ну какой же ты писатель, коли даже таких нищих денег у тебя нету...»

И тут на выручку выходит из кухни жена и подтверждает мои слова. Ей, кажется, он поверил. Не мог не поверить, глядя в ее большие печальные глаза. И мне уже показалось, что он сейчас извинится и уйдет от нас...

— Ну дай хоть десять тысяч, — вздрагиваю я от неотступного голоса. И уже во мне вскинулось изумление. Уже я таращу глаза на несгибаемого просителя.

— Поди-ко, на водку просишь? — повеселев, приглядываюсь к нему.

— Олександрович, пока не скажу, на что, а надо позарез! Всего на три дня! — подступает ближе и, видя, что колеблюсь, еще более истово морочит меня.

— Не сумлевайся! Через три дня хлопну деньги тебе на стол! — и тянется меня обнять, но я отстраняюсь.

Проходит три дня — должника не видать.

Проходит неделя — не слышать.

Проходит месяц — что в воду канул...

Ну как тут не споткнуться вновь о вопрос, измучивший Василия Макаровича Шукшина: «Что же с нами, русскими людьми, происходит?»

Можно, конечно, презрительно плюнуть на эти мерзкие случаи и встать в гордую позу. Но ведь эти мужики — одного со мной корня и одного поля. Можно даже сказать, мои младшие соотечественники. Им предстоит еще жить да жить, свои судьбы не только устраивать, но, воз-

можно, и отстаивать от нахлынувших ныне лиходеев. Но как отстаивать достоинство России, если многие из нас, очумев, сами становятся отъявленными лиходеями. Ни стыда, ни суда, ни Божьего креста!..

Невольно вспоминаю свои ранние годы в Петряеве, когда матери наши (отцы погибли на войне) учили нас, ребятишек, пуще всего оберегать доброе соседство.

«Не запинаясь за чужую копейку — смала наказывала мне мать, — не изворачивайся бесом, береги семейную честь. Убережешь честь матери и отца — и свою честь добудешь». Это были строгие, омытые вдовьими слезами слова.

А теперь? Сколько же теперь накопилось в наших людях злобы, мстительности, всякой гадости и подлости! Тешат лишь плоть свою, будто бы уже и нету в них ни разума, ни души, ни загляда вперед, в свое будущее. Уж так поднаторели в хитрости да изворотливости, что выгородят себя из всякого житейского переплета, а человека безвинного таким злым наговором оплетут, что он в дураках и окажется, коли с такими свяжется. Горько и стыдно с этой стороны глядеть теперь на свою Родину...

А кто виноват? Вот как ответил на этот вопрос замечательный русский поэт, давний друг-товарищ мой из Петербурга Глеб Горбовский:

...Кто виноват? Кто — гад?

Кто вор? Кто враль бесстыжий?

А ты и виноват —

Ответил некто выше.

А для еще большей убедительности такого, казалось бы, парадокса, обопрусь я на признания двух русских гениев. Л. Н. Толстой в статье «Путь жизни» писал: «Люди видят, что в их жизни что-то нехорошо и что-то надо улучшать. Улучшать же человек может только одно, что в его власти — самого себя». Эту же мысль растолковывает Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя»: «В неустанной дисциплине и непрерывной работе над собой и мог бы проявиться наш гражданин. С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо».

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

1. ПЛУТ УШИВАЛОВ

Он вразвалку подступает к пожилой толстой бабе, торгующей из корзины горячими пирожками.

— Мне бы какие порумяней да понажористей,— с хохотком втирается к ней поплотнее.

— У меня все аппетитные! Сколько?..— вскидывает жаркое лицо и видит рябого мужика, уже залезшего к ней под самый локоть. Левый глаз у него в кровавом подтеке и поэтому как бы дрёмен и полузряч, зато правый — что орлиное око.

— Давай клади, сколько войдет! — мужик растопыряет сдвинутые ладони, что полутемную яму. Торговка считает и укладывает в нее пирожок к пирожку.

— Десять! — стряхивает с вилки последний. Ушивалов, обжигаясь от них, трунит в свою палату и возвращается с пятидесятирублевой ассигнацией.

— Мельче у меня нету! — хорохорится.— Мельче мы и не живем!

Торговка берет эту зеленую бумажку, с опаской разглаживает в руках, щурится сквозь Ленина на свет в окошке.

— А ты не обманываешь меня, не старая эта деньга-то?

— Да ты что, милая! — громко, на весь больничный коридор, возмущается Ушивалов и выпрямляется перед круглой и корпусной бабой еще выше и наглее. Торговка, обжегшись об орлиное око, начинает отсчитывать рублями и трешниками большую сдачу. Ушивалов эту мятую кучу денег сгребает в ладонь и самодовольно уходит в палату.

Однако минут через десять, сотрясая коридор, вновь топочет торговка, бордовая от негодования, что испеченная репина.

— Ой, люди добрые! Прохвост-то какой,— кричит она, и встречные замирают по сторонам коридора, не понимая, что случилось. Торговка подлетает к палате, где Ушивалов уплетает теплые пирожки, и мощной грудью таранит палатную дверь.

Ушивалов сразу туманит глаз с кровоподтеком, а второй — наливает огнем-полымём.

— Пес! — бросается к нему торговка. — Ты же, подлец, надул меня. Подсунул старую деньгу!.. — И плюет ему в рожу.

Ушивалов вскакивает и, утершись рукавом, видимо, осознает, что ему уже не отвертеться от разоблачения, однако и признаться в плутовстве нету и сроду не было в нем такой чести. Он застывает в обиженной позе, будто бы недоумевая, как такое с ним, пожилым и солидным мужиком, могло стрястись-случиться.

— Да нешто деньга-то у меня оказалась старая? — начал было притворяться. — Никак подсунули при обмене...

— Гли-ко, он еще и дурака разыгрывает! — пуще прежнего вскипает торговка. — Ведь ты жизнь доживаешь, а совести-то и на пятак нету. Давай сдачу! — бросает она Ушивалову в рожу смятую пятидесятку. — Забирай ее и тащи в нужник. Больше она ни на что не годна.

— А за пирожки-то, — разворачивается она к нему, — заново давай рассчитывайся...

— Чего, чего трясешься-то? Вся сдача тут! — гневается он, будто зря обиженный праведник на злую и склочную торговку.

Ушивалов молча выгребает из ящика тумбочки много-рублевую кучу. Женщина хватает ее и пересчитывает. Тут уж Ушивалов вскипает.

Делать нечего. Ушивалов выворачивает карман пиджама и отсчитывает уже проеденные так быстро рубли. Женщина забирает их и презрительно хлопает дверью.

Ушивалов молча сидит на своей кровати и долго смотрит в окошко, в котором торчит огромная труба соседнего кирпичного завода. Из нее валит рыжий дым, и кажется, что он вьется и во всклоченной волосне этого бессовестного старика.

2. ПРОДАННАЯ КРАСОТА

Наутро из густой парковой зелени всплыли три огненно-красных цветка. Они так зазывно возвысились за ночь, что невозможно было, оказавшись рядом, не подойти к ним. Я подошел, и три пурпурных пламени овеяли и взгляд, и душу мою только что рожденной красотой. В пятилепестковых чашах, на золотых донышках, искрилась божья роса, в

благоуханной тишине уже слышалась летевшая к ним первая пчелка, и мир сиял еще непочатой радостью утра...

Я впервые видел эти цветы и не знал, как они называются. Проходивший мимо курортник сказал, что это — мальвы.

Но каково было мое потрясение, когда, возвращаясь через полчаса с купания, я увидел, что мальвы уже сорваны и унесены из парка. И утро враз осиротело, и тропинка под ногами застыла, и сам я потемнел духом. Встретил знакомого, погоревали с ним об украденной красоте.

— Какой-нибудь подонок утащил мальвы на цветочный базар,— кипел знакомец, да и я с ним.— Базар-то вон, рядом, кишит черным муравейником. Все тащат туда. Всю жизнь нашу продают с молотка... Ах, мальвы! За сколько же рублей они теперь там пылают? Ведь и цветения-то у них — всего три дня...

Я в тягостном молчании слушал товарища и думал: три дня цветения. Только три дня! Боже, какая краткость бытия живой красоты! И, значит, пока свежа она, пока пылает — в деньги ее обращают, в капитал, в этот костоломный круговорот людской жадности, грязи и корысти!..

Вернулся я с юга в родную Вологду. Зашел на базар и своим глазам не верю: кипит черный муравейник, неотличимый ничем от крымского, от того самого, в толчее которого угасли прекрасные мальвы. Только в Вологде пылали розы и гвоздики. Они обреченно манили к себе одичавших от нужды людей, но люди лихорадочно искали не красоту, а жалкое себе пропитание. И пробегали мимо цветов, за которыми шеренгами стояли черные молодцы-продавцы. Один к одному, как на подбор, в расцвете своей мужицкой силы и дородности, они возвышались хозяевами над полоненной розовой нежностью. И не стыдились они, что так густо и много теснятся их в цветочных рядах. Они, видимо, испытывали лишь сладость обладания своим живым товаром, а красота цветения уже давно затмилась в них неутолимой жаждой наживы.

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

У каждого свой шаг. Один закидывает крупно, другой — помельче. Один вырвется далеко, другой поотстанет. Один, слышишь, уже в генералах, а другой все там, откуда вышел. Ну и что? У каждого свое расстояние жизни. И все ладно, если бы не пустая гордыня друг перед другом. А гордыня эта прячется в нарочитом самоунижении, в котором, видимо, тоже есть своя жалкая радость, свое кичливое самостояние.

Волею обстоятельств оказался я в больнице. Захожу в палату и знаколюсь с товарищем по несчастью.

— Я — простой человек! — представляется один из них. — Звать Костюшкой...

Смотрю: мужику уже под шестьдесят. Седина погладила по голове. А он все Костюшка. Глаза то серомутные, то голубые. Да и вправду что-то мальчишеское загорается в них, когда кипятит на тумбочке чайник.

— Чаю крепкого напьемся, разговоры явятся, — напевает он, выгружая из тумбочки конфеты, сахар, колбасу, сыр, банки с вареньем... Я дивлюсь: откуда у «простого человека» такое щедрое снабжение? Оказывается, из лесного поселка. Там у него «свой человек» в рабкоопе. И в голосе хриповатом уже слышится некое превосходство перед скудостью остальных трех тумбочек. Напившись всласть чаю, Костюшка садится на край кровати и оторопело приглядывается, как я сую в свою тумбочку захваченные из дому книги и журналы.

— Я — простой человек... — вновь заговаривает он, и голос его почему-то раздражает меня.

— Так кто вы все-таки по ремеслу?

— Я — работяга.

— Да ремесло-то какое у вас?

— А я в любом ремесле работяга. Никто!

— Как так никто?

— А вот так. И всю жизнь так. Вот вы, смотрю я, — человек.

Мне уже смешно, раздражение пропадает и лишь жалость, чувствую, вновь заполняет меня.

— Конечно, я — человек, — отвечаю Костюшке, — а почему вы себя считаете только работягой? И никем?

— Да потому,— оживляется Костюшка, вытягивая забинтованную голень из полосатой портошины, чтобы, наверно утишить боль,— что век свой ломишь и ни за что не отвечаешь. Подпись моя требуется только в денежной ведомости. А человек — это тот, кто доберется до такого чина, что подписи его станут подчиняться многие люди. А моей подписи никто не подчиняется...

— О! — невольно вырывается у меня удивление столь неожиданным определением, что такое человек и его подпись. «Да ты, братец,— молча гляжу я на Костюшку,— не так-то прост. Ох, уж эти простые люди, работяги!...»

Наутро Костюшке предстояла операция. Он, молчаливый, сидел в коридоре и ждал своего часа. Его успокаивал Иван — любимец хирургического отделения за остроумие и душевность. Он перенес уже не одну операцию, выказал великое терпение и мужество. Да, Иван имел моральное право на утешение бледнеющего Костюшки.

— Сейчас наладят. Три минуты и успокоят. Только и успеешь сказать: ну-ну, а потом очнешься да за ногу схватишься, вот как я, а ноги-то уже и нету. Вот тут уж по-другому запоешь: ку-ку-курва!..

— Иван, не пугайте больного! — строго говорит молодая медсестра. — Пойдемте, дядя Костя. А золото снимите с руки,— указывает она на огромный перстень, обнявший мозолистый палец работяги.

— Изубы, золотыезубывытащи! — веселокричит вслед Иван.

Операция прошла благополучно. Ампутация не потребовалась. И Костюшка через пару дней на костылях уже заявляется в столовую.

— Кому добавки? — высунувшись из раздаточного окна окидывает взглядом больных молодая повариха. — Ешьте, ешьте досыта,— любитесь она веселым Иваном. — В запас ешьте! Не знаю, чем и кормить завтра буду. Накладную не подписывают, говорят, в складе пусто.

— А я так уж домой позвонил,— отзывается Иван. — Наказал, чтобы картошки побольше натушили. Стоско-вался.

— Тебе добро,— не усовывается повариха. — А каково будет вон Костюшке? Гли-ко, шея-то у него после операции как вытянулась.

— Да, Костюшке худо. Ему перекачали женскую

кровь,— оживился Иван.— Перепутали! Вот по ночам теперь сидит да глаза таращит, не чувствует сам, кто он теперь: мужик али баба? — Иван сочувственно поглаживает костистое Костюшкино плечо и задумчиво так продолжает: — Вот дожили! Влупят какой-нибудь укол, и сам забудешь, кто ты. Сколько таких уколотых тычутся по России-матушке! Вот теперь довели и нашего Костюшку... Рабочего человека!

Все улыбаются, глядя на них, а повариха крестится: ой, Господи! — и захлопывает свое окошко.

Костюшка поправлялся быстро. Передачи из лесного поселка были все увесистей. И я уже потерял было у нему интерес. Но вскоре повернулся он ко мне еще одной своей отталкивающей стороной.

Вышел я как-то на прогулку. Вокруг чудо жизни: кремовые соцветья рябин, сизая кипень сирени, белое благоуханье жасмина, зеленые подсвечники сосен, мокрый трепет берез. Врачующая радость природы! И вдруг с невидной мне скамейки, откуда-то из кустов, как вонь, как скверна, как оскорбление всей этой красоты несется отборный мужицкий мат. Русское слово, родное мне, униженное до скотства, вылетает из чьей-то поганой глотки. Шагнул туда и вижу: сидит Костюшка с очередным гонцом из своего поселка и матерится от избытка чувств.

— Ну как тебе не стыдно так ругаться? — говорю ему. А он даже не понимает, о чем речь. Таращится на меня то ли презрительно, то ли пугливо — не поймешь.

— А что такого? Я простой человек, работяга, говорю по-своему. Вот выздоровел, радуюсь...

— Так зачем матюгами-то поганить белый свет?

— А у нас всегда такой разговор,— оправдывается он, а в моих глазах темнеет день, и вновь тяжело сердцу. Путь вновь пропадает из вида.

ЗОРКИЙ ПАСЕЧНИК

— Уж пятнадцать годиков, как избавился я от колониального ига... — старик глянул на меня, недогадливого, и тут же пояснил: — Ну, как преставилась моя старушка. Похоронил ее и вижу такой сон. Подходит ко мне собака, а я — ни рукой, ни ногой. Собака кладет мохнатую лапу на мою грудь и сладко так зевает. Я шепчу ей: «К чему это?» А она, рыжая, как гавкнет: «К добру!» Тут и проснулся.

И вот живу один — ругаться не с кем. С весны до осени на пасеке. Любуюсь пчелиной жизнью. Она разумней, чем людская, бестолковая. Сперва молодые пчелки служат няньками, после — приемщицами, а уж потом станут и работницами... Звон вокруг меня, а мне и любо. Тянет липовым духом, березовым листом... Сморода бурдеет, земляника краснеет... Пчелки с поцелуями лезут, не брезгают, что бородой оброс. Ох, батюшки, какая радость жизни!..

Со вчерашнего дня толкую я с этим тороватым пасечником. Ночевал у него, и надо бы попадать на вологодский автобус, а все не могу расстаться. Он показывает пробный улей, который все лето простоит у малинника на весах.

— Вот слежу, каков медосбор. Семья в этом улейке средняя, а хлопотливая.

— И сколько же меда берет за день?

— Смотря по дню. Если погожий, то с бидончик... А пасека-то вон какая! Она и спасла меня. Я, Олександрович, на войне отемнел: глянул на солнце, а оно — что луна. Ну и списали меня. Медом спасся. Мед-от на шестьдесят процентов заменяет все лекарства, какие токо есть на свете. Вот и прозрел! Теперь курчавую да хорошенькую так за версту увижу!..

Ох, и ловок же на красное слово этот новый мой знакомец.

— Да, — размышляет он о великой пользе пасек. — Медок кормит вкусно и поит сладко. Да и бабы к медку-то льнут. Я, Олександрович, по-нашему, по местному, во младые годы свои примаком назывался, домовиком. До колхозов еще женился на богатенькой и вошел в ее дом.

А она, женушка-то, царство ей небесное, и сама-то себя любила два раза в году — на Рождество да в Пасху... Бывало, днями молчит да дуется, а потом подкинет себя что-нибудь да и ляжет на пол, дразнит меня. А во мне в ту пору весу было шесть пудов и пятнадцать фунтов. Ну и кинусь на нее, только половицы запотрескивают...

Я хохочу, хватаюсь за стенку, а он, краснойбай, только ухмыляется, довольный собой.

— А теперь-то как, без хозяйки-то, живешь?

— Этот вопрос я давно обкатал в голове. Ежели старую брать, то зачем она, ежели посвежее, лет сорока, то пока могу подействовать, а потом что?.. Потом нервная система выскочит у меня из рамок... — Он рассудительно помолчал и добавил: — Да я ведь покровительствую женщинам-то, не обижаю их, не отказываю... Я ведь по лицам читаю людей...

От такого признания вновь вспыхнуло во мне любопытство. И пасечник согласился разъяснить, как он «читает» людские лица.

— Те люди, у коих румянец на щеках, что алый шиповник, те сердиты и своенравны, но отходчивы. А ежели у кого лобная кость конусом — тот страшно настойчивый человек. Что взбредет ему в прихоть, пусть и неладное, все равно не остановится...

Я, видимо, распахнул рот, слушая его. Он усмешливо покосился на меня, и тут я догадался сомкнуть губы.

— А ежели у кого лицевая кожа счерна, с бордовыми пятнами, — те мстительные люди, всю жизнь с кем-нибудь грызутся. А ежели у кого брови срослись, те норовят присвоить себе что-нибудь чужое. А у кого глаза глубокие да масляные, в а них по две резкие точки — это ревнивцы... А ежели у кого зубы широкие, лопатками, тот человек обязательно добрый, мягкосердечный...

Он замолчал, а я оторопело глядел на него: впервые довелось мне встретиться с таким зорким человекознатцем. Ему показалось, что я не поверил его приметам, и он торопливо добавил: — Приходили ко мне бабы с фотокарточками. Они подивились, как верно я выглядел да угадал нравственность их родни...

Тут и я чуть было не спросил, что он может сказать обо мне, глядя в лицо? Но, признаюсь, поостерегся...

Иллюминатором резко очерчена матовая высота, словно круглое облако, и от неподвижности его проступает на моем лбу испарина. Хоть зацепиться бы взглядом за какой-нибудь ориентир в том мире, что свистит за бортами машины. Но кругом пустота, и тяжело это стальное затворничество. Вдруг во весь иллюминатор покраснело огромное лицо, и мне бы возрадоваться, а я вздрагиваю от щеток колючих бровей и пронзающих до лопаток зрачков. Вот оно, есенинское: «лицом к лицу — лица не увидать». И лишь когда отклоняется от стекла тот, кто следит за мной, я, наконец, вижу его улыбку. Это врач. Он ободряюще кивает мне, и огромный белый колпак его, кажется, вот-вот рухнет на иллюминатор белоснежным комом. Я ответно киваю доброму доктору, и склоняю голову на левое плечо. И шум памяти овладевает мною.

Я слышу будто бы шум воды, падающей с мельничного колеса. Да, да, это он, вольный и свежий, умиротворяющий душу мельничный шум, слышанный мною на родной Двинице, на старой мельнице, еще в детстве. И вот спустя полвека здесь, в больничной барокамере, вдруг всплывший из небытия и окутавший меня, ослабевшего, вновь радостью жизни. В густом этом шуме я различаю отдаленный, как бы поверху наплывающий звон кузнечиков, и в воображении моем колышется уже вся береговая излучина в синеглазых травах и росах. И такое счастье накатывается, что вовсе забываю, где нахожусь.

Но лишь склоню голову к правому плечу, как вздрогну от свистящей вьюги. Уши все глубже и нестерпимей сверлит боль, а сердце холодит страх беспомощности. Впервые чувствую, что инстинкт может оказаться сильнее разума. И мутный плафон, кажущийся изнизу полый луной, вот-вот грохнется на всю эту чертовщину.

Тогда вновь поворачиваюсь влево, стряхиваю наваждение, и шум памяти мало-помалу опять овладевает мною. И видится, как над речной мельницей и надо мной всплывает в небо вместо луны серебряный самовар с золотистым жаром в решетке. И знакомые мужики, приехавшие на мельницу за помолом, достают из кошелок для горячего чая солдатские кружки...

И два шума, как два потока жизни — минувшей и сиюминутной, — несутся во мне и надо мной. А когда я выбираюсь из барокамеры, то с изумлением осознаю, что никуда не летал, и барокамера целый час стояла на месте.

И горько подумалось, что и вся наша действительность очень похожа на эту замкнутую в себе, имитирующую поднебесный лёт громадину, а на самом деле дрожащую на месте и лишь вводящую нас в заблуждение о движении вперед.

«Вересинка — божья лесинка, под ней никакая молния не тронет», — помню, говаривала мне мать, касаясь ладонью вересковых кустов, зелено опустившихся за Петряевом на Большом бугре. Говаривала с намеком на простую истину: в бурях жизни есть верное спасение для человека — это его родина. В природе, в которой она сама была образом Божьего мира, мать искала и находила правду, необходимую для разумной жизни. И меня этому учила смала.

И вот я, пожилой человек, возвращаюсь по весенней поре к родному деревенскому дому. И пусть в нем уже нет матери — я обогрею печным теплом свои воспоминания о ней и о многих родных людях. Иду — и все кругом сияет и радуется долгожданному теплу: Двиница, выплеснувшаяся из берегов; зазеленевшие всего за ночь (словно ждали этого дня!) черемуховые почки; счастливые лягушки, белогрудо всплывающие и весело резвящиеся в пруду; розовый пар в бороздах загород; и соседка Марья, развешивающая на бечевке выстиранные круглые половики, словно домотканые солнца.

Утки летят со свистом, с гиком (го-го-го!), и вдруг — журавлиная пара! Огромные птицы, красиво вытянув длинные шеи и плавно взмахивая темными крылами, прокурлыкали надо мной, словно привет обронили, и замахали дальше, радуясь друг другу и скрываясь в дымчатой синеве ельника. Какой это восторг: увидеть так близко прекрасных птиц, воспетых Николаем Рубцовым!

А небо! Взгляните на него повнимательней — ведь оно всегда полно глубокого раздумья. Мы же, встав поутру, лишь скользнем по нему взглядом и на весь день забудем, что ходим и творим свои дела-делишки под бдительным оком Вселенной, вовсе нам неведомой. По себе же я чувствую: многие наши мысли и порывы исходят именно оттуда, только мы не осознаем этого веяния.

А цветы! Откуда в них такая красота, изумляющая сиянием разноцветья и бесконечного разнообразия? В Усть-Кубинском районе жил мудрый человек — цветовод Иван Алексеевич Ожерелков. Я знал его. Вокруг своего деревенского дома он творил чудеса: выращивал и

выводил цвета такой невиданной красоты, что даже знатоки цветоводства немели от восторга. Он знал тайны, внятные лишь ему одному. Выращиваемые цветы называл именами вологодских писателей: «Белов», «Фокина», «Викулов»... Был цветок и моего имени. Но он в одно лето что-то завял, и Иван Алексеевич Ожерелков, сообщив мне об этом огорчении, тут же приписал: «Буду жив, по весне снова сделаю «А. Романова», так что не беспокойтесь». Вот какое было утешение от этого редкостного человека! Я низко кланяюсь его могиле...

Есть в нашей поэзии одно удивительное стихотворение. Когда я оказываюсь в своей деревне, то, спускаясь с кральца и глядя в родные дали, всегда шепчу его, великое в своей простоте.

*...Вот и солнце встает,
Из-за пашен блестит —
За морями ночлег свой покинуло.
На поля, на луга, на макушки раки
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой,
Едет, песню поет —
По плечу молодцу все тяжелое.
Не боли ты, душа, отдохни от забот!
Здравствуй, утро и солнце веселое!*

Это — Никитин Иван Саввич. В его духоподъемных строках заговорила, задышала, засверкала сама природа. И как бы ни было мне тяжело, лишь гляну в родные дали да прочитаю их вслух, громко, чтобы травы и кусты услышали, и впрямь становится легче на душе.

Применительно к себе скажу, что вся моя поэзия — это скитальчество по родной земле. За столом стихи я никогда не писал и не пишу, складываю их на ходу, от кустика до кустика — как от строчки до строчки. В сотворении стихов участвует не одна моя душа, но и моя земля, молчаливая лишь для черствого прохожего, а для меня таящая в себе еще никем не выговоренную боль, радость и мудрость человеческой жизни.

Взять хотя бы поэтический образ. Это — не художественная выдумка, а своеобразная энергетическая субстанция, пребывающая в самой природе. Это очень интересное и во многом таинственное явление. Как возникает, откуда берется первый толчок — сказать трудно, лишь чувствуешь блуждающий пучок энергии, стремящийся самовоплотиться в слово, в строку, в строфу.

Вот под Петряевом протекает самый обыкновенный ручей, и он уже давно просится в стихи. Встанешь на лавинку и почувешь его укор. И делать было нечего, как тут же, на лавинке, сказать вслух хотя бы эти строчки, только что пришедшие на ум:

*Шумéчево, Шумéчево —
Болотный ручеек.
О нем и молвить нечего,
А вот шумит меж строк.*

И ручей как будто повеселел, просиял на желтых камешках, побежал к Двинице...

И так почти всегда. Поэзия — это оживающая в слове Природа. В ней отблеск божественной красоты, силы и тайны, явленной миру через поэта.

*...Как будто в зыбях хвой
рыдают серафимы,
И тяжки вздохи их,
и гул скорбящих крыл
О том, что Саваоф броней
неуязвимой
От хищности людской тебя
не оградил...*

Так прекрасно сказал о лесе Николай Клюев — наш гениальный земляк. У него слово светится, как заново умытое, полное мысли и своего достоинства. Да, в нашем Слове должен струиться густой сок жизни. Как и в самой Природе.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Это было летом 1949 года. По слезному письму нашей матери из Москвы в Петряево приехал ее старший брат Павел Иванович Богачев. Мать написала ему, что, мол, твой крестник (второго сына в 1934 году наши родители назвали в честь его Павлом) закончил семь классов, а где дальше учиться ему, она ума не приложит. Я в ту пору перешел лишь на второй курс в Вологодском пединституте, и мама еще не полагалась на мое мнение.

И вот мы сидим за начищенным самоваром: дядя Паша, мама и я с Павликом и третьим братишкой Левой. Ему всего десять лет. Он стеснительно пробует московские конфетки и прянички и не сводит глаз с необыкновенного гостя в золотых погонах.

Павел Иванович был подполковником и служил в учебной части Военной академии имени Фрунзе.

— Я думаю, сестра,— с доброй уверенностью говорит он маме,— Павлику надо пойти в суворовское училище. Он крепкий парень, хорошо учится, станет отличным офицером!

Мама, смотря, осветилась счастливой улыбкой. Да и я, не ожидавший такого предложения, тоже почему-то обрадовался. Может, потому что уже намаялся жить впроголодь на одной стипендии, а там, в суворовском училище,— полное государственное обеспечение. Но брат молчал. Опустил голову и молчал.

— Ну, так что скажешь, Павлуша? — Павел Иванович все еще улыбался.— Быть офицером почетно! Довольствие и оклад государством обеспечены...

Тут и мама встрепенулась: — И вправду, Паша. Ведь как пострадались да наголодовались мы за эти годы. Послушайся дядю...

И вдруг видим: в его крупных глазах накатываются слезы. И лицо как-то вдруг осунулось и побледнело.

— Нет,— говорит,— не пойду в суворовское...

Мы изумились от такого решительного мальчишеского отказа. Переглянулись, а маленький брат Лева, почуяв неладное, прижался к матери.

— А почему, Павлик, отказываешься? — спросил дядя Паша. И на его строгое лицо наплыла хмурость.

— Хочу учиться на врача! — Павлик вскинул голову и умоляюще поглядел на каждого из нас. Мама растерялась. Я оторопел. Но тут же вспомнил, что в Вологде есть медицинское училище.

— Вот и будем учиться в Вологде: я в пединституте, а Паша в медучилище... — в ту минуту я так развеял тягостное молчание. Мама прискорбно глянула на военного брата, а он, улыбнувшись ей, сказал:

— Вот, видишь, сестра, два твоих сына уже на своих ногах. Пусть будет так, как они хотят. И не горюй! Я тебя не оставляю.

— Да, Павел, уж не оставь моих сирот! — и мама со слезами перекрестилась перед иконами.

...И вот мы с Павлом приезжаем в Вологду, бодро идем в медицинское училище и горько спотыкаемся о неудачу. В тот год набор проводился на акушерское да еще на какое-то отделение, а на лечебное отделение, увы, набора не было. Я достучался до директора училища, он объяснил, что не хватает преподавателей для лечебного отделения, но с будущего года набор в него обязательно возобновится.

Мы, конечно, расстроились. И мне подумалось, что братишка теперь-то, может, и согласится на суворовское училище.

— Нет, батя! — ответил он с прежним мальчишеским упорством. Называть меня «батей» стал с лета 1944 года, когда получили мы похоронку о гибели отца. Тогда, убиваясь в слезах и причетах, мама обняла маленького Пашу и сказала, указывая на меня, подростка: — «Вот теперь слушайся его, как слушался отца. И называй его батей». С тех пор я и стал «батей» для него и для пятилетнего Левушки.

— Нет, батя! — повторил он еще тверже, и тут в мальчишеском упорстве я впервые уловил его обдуманную решимость. И удивился столь ранней в нем чуткости к своей судьбе.

— Я пойду в Биряково, в среднюю школу. Окончу десять классов, а потом поеду в Москву, в медицинский институт...

Слушал я его, тощего и скуластого подростка, с темно-русый вихром, похожим на кудри, с большими упорными

глазами и радовался, что вот какой у меня уже самостоятельный брат. Не пропадем!

Вернулись в Петряево, и мать заохала: да как будем кормиться, оба вы в ученье, а в колхозе трудодни пустые... Но потом поодумалась, выслушала нас и согласилась отпустить Пашу в Биряковскую среднюю школу.

— Да там у меня двоюродная сестра Зоя Харинская, — радостно всплеснула руками. — В продавщицах служит. Без куска уж тебя, Пашенька, не оставит. Да и я буду навещать, домашних припасов притащу...

На том и порешили. И брат отлично закончил среднюю школу. И вслед за другом своим Юрием Брагиным ринулся «штурмовать» Первый Московский медицинский институт (ныне Медицинская академия) имени И. М. Сеченова. И поступил в этот престижный московский вуз безо всякого «блата», удивив экзаменаторов своей вологодской самобытностью. Как ни задавали дополнительные вопросы, брат находил и на них не просто верные ответы, но еще и с неожиданными поворотами в своих размышлениях или догадках. И вот он — студент лечебного факультета!.. Но где жить? В общежитии устроиться сразу не удалось...

...И студент нажимает на кнопку звонка в подъезде старинного дома в Курсово переулке. Открывает дверь Лидия Васильевна Богачева — жена дяди Паши и добрая хозяйка.

— О, давно поджидаем тебя, — приветливо улыбается она. — Вижу, что экзамены сдал...

— Да, сдал, тетя Лида. И зачислен в институт. Но, — тут смутился, — нету места в общежитии.

И как не смутиться: Богачевы занимали в этом доме лишь одну большую — в два окна — комнату на пятерых. А тут еще вот он, бездомный...

— Молодец! — радуется Лидия Васильевна. — Что ж, поживешь у нас. На полу места хватит... — улыбается приветливо. — Потом и в общежитии место найдется... — И у брата с души свалилась тоска...

Дом этот старинный, в самом центре Москвы, там, где возвышался величественный храм Христа Спасителя, а теперь это место исходило жалким и стыдливым паром плавательного бассейна.

Поднялись по лестнице с черными перилами дивной выточки и резьбы. А зашли в комнату — в окне золотится купол Ивана Великого. Комната замечательная,

да и люди в ней родные — им не привыкать тесниться: без приезжих гостей, поди-ко, ни одной недели не жилали.

Дядя Паша обнял племянника, поздравил с поступлением в институт.

— Ну и упорный же ты! Не послушался тогда меня. А добился своего. Молодец! — Лицо его в эти минуты сияло радостью за столь способное и упорное наше корбангское родство. Вот и этот племянник без чьей-либо поддержки и при огромном конкурсе на одно место пробился-таки в московский институт!

— Девочки, накрывайте на стол, — сказала Лидия Васильевна, и двоюродные сестрички — Ира, Нина и Рита — одна красивее другой — аккуратно собрали застолье. Дядя усадил племянника рядом с собой перед винным графинчиком, и обычной хмурости как не бывало. Ведь эта хмурость возникала в нем из озабоченности будущим жизнеустройством своих трех дочерей и от необходимости помогать еще и сестрам-вдовам, а вот теперь еще и племяннику. Опорой и отрадой ему была Лидия Васильевна. Рассудительная, пригожая лицом и приветливая говором, она задушевно утепляла жизнь своей семье. И привечала-величала в Москве всю прежнюю деревенскую родню.

Вот и Паша на первых порах жил у Богачевых. А потом нашлось место и в институтском общежитии. Учился он хорошо. В нем с первого курса проявилась склонность к анатомическим исследованиям и научным разработкам в оперативной хирургии. Институт он закончил в 1959 году по специальности лечебное дело и два года работал в Туве главным врачом районной больницы. Затем вернулся в Москву, в аспирантуру своего института. В 1967 году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. А через два года брата командировуют за границу, в Гвинею, как опытного хирурга.

Вот его «Африканский дневник», сокращенный и подготовленный мной для публикации.

АФРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

1. ПЕРЕЛЕТ

Итак, 15 октября 1969 года в 4 часа утра на аэродроме Внуково заполнили мы выездные листы и подошли к пропускному пункту с ручным багажом. Нас трое: я, жена Валя и дочка Лена. Солдат-пограничник окинул нас зорким и холодным взглядом (будто мы уже чужие), просмотрел наши листы и резко отодвинул засов прохода. И вот мы — еще в России, но уже и не в ней. Ознобно передернулись плечи, натужно сказались слова, растерянно застыли улыбки...

Теперь мы в распоряжении экипажа гвинейской фирмы «Аэр Гине». Встречают нас две стюардессы — черные женщины в национальных костюмах. Одна симпатичная даже. Летим на Париж! Уже светло, уже позади родная земля, и под нами простирается западная Европа. Но тут команда объявляет (на французском языке, и я, закончивший на трехмесячных курсах его постижение, с трудом разбираю слова), что Париж не принимает нас из-за плохой погоды. Летим в Лион, а выходим в Марселе. Оказывается, и Лион не принял нас из-за погоды.

К самолету подошел полуоткрытый автобус с двумя француженками в белой форме. И Валя подарила им московские гвоздики. Француженки весело поклонились ей. Едем на вокзал марсельского аэропорта. Он двухэтажный, много стекла. На витринах бара пузатые бутылки с винами и прочими напитками. Он еще закрыт. Худая и бедно одетая женщина прибирает зал. Как и у нас... Вскоре приглашают нас на завтрак, поднимаемся на второй этаж — кофе, шоколад или молоко — на выбор — с булочками.

И возвращаемся в Париж. Аэропорт Бурже. Вокзал так мал, что в нем ужасно тесно от многолюдства. Самолеты поминутно поднимаются и садятся. Дикторы каждый раз объявляют на французском, агнийском и русском языках. В ювелирных, парфюмерных, тканевых и газетных киосках все блестит и сияет, но цены нам недоступны. Есть мы не хотим, пить тоже (московские запасы). Одно тяготит — надо в туалет, а платить нечем. Проходишь мимо служащего, а он поглядывает. «Пардон!» — говоришь...

Снова летим! Любо взору — под нами ухоженная Франция. А вот уже Испания. Горная и местами голая земля Дон-Кихота. А за ней Средиземное море — вытянулся далеко в синеву его город Гибралтар. Тридцать минут перелета, и под нами уже Африка! Как быстро и странно! Самолет идет на посадку. Все ниже и ниже. Под нами огромные квадраты садов. Говорят, это апельсиновые сады. Это большой белый город Рабат...

Посадка. Вечереет. Тихо, тепло, сухо. Дышится легко. Вокзал одноэтажный. Заходим в него. На полу сидит араб и продает сувениры: дамские сумки, кинжалы, куклы, статуэтки... Но у нас нет долларов...

Вновь взлет. Теперь, говорят, уже близко до Конакри — столицы Гвинеи, где нам предстоит жить и работать два года. Но летим что-то долго — около шести часов. И вот в самолете объявляют: Конакри! И вдруг самолет закидало из стороны в сторону. Мы ужаснулись: за окном бушевал ливень и взрывались молнии. Нас стало рвать, мотать, трясти... Наконец-то самолет вырвался из тропической бури. Рвота прекратилась, но мы ужимались в сиденья ни живы, ни мертвы. И только через полтора часа самолет, слава Богу, пошел на посадку. Мы облегченно вздохнули: наконец-то!

Но что это? Слышим: посадка произведена в Дакаре — столице Сенегала, на берегу Атлантического океана. Оказывается, гвинейский радист перепутал сводки погоды в Конакри и передал нашим пилотам вместо вечерних утренние показания. И мы чуть не погибли в грозовом аду. Хорошо, что в лётном экипаже оказался русский штурман: он заставил-таки гвинейских летчиков повернуть на Дакар и там переждать грозу. Вынужденный крюк во Францию, такой же крюк в Африке для компании «Аэр Гине» разорителен. Она, говорят, кругом в долгах.

Что ж, глянем попутно и на Сенегал. Выходим в Дакаре из самолета — о, Боже! — что в парилку. Дышать нечем. Воздух влажен и горяч, с уксусным привкусом. Моя рубашка моментально промокла. Первые полчаса я боялся, что упаду в обморок: весь в поту, сердце колотится (свыше ста ударов), руки-ноги дрожат. И как на грех, московская вода кончилась, а Лена просит пить. Она видит, как другие пассажиры покупают и пьют кока-колу и всякие иные напитки, но рубли наши здесь ничто. Какое унижение России! Валя заняла у одного попутчика четыре франка и купила бутылку воды. Чуть-

чуть глотнули сами и передали бутылку Лене. Надо терпеть и сидеть здесь до утра.

Все возмущаемся, требуем руководителя полетами. Но вместо него появляются два сенегальца в длинных белых рубашках, в широченных синих шароварах, в белых башмаках с острозагнутыми и длинными носками, без каблук и задников. Они привезли на тележке воду и раздают каждому по бутылке. Раздают не торопясь, с достоинством. У нас в руках три бутылки воды! Жить можно. Лена уже бежит по залу, нашла подружек... Перед утром дали малый завтрак — кофе с молоком и булочкой.

И вот рано утром полетели в Гвинею. Внизу поплыло океанское побережье. И через час слышим — Конакри! Глянули в круглое окошечко — под нами кудрявится зеленый город. Возвышаются пальмы, а среди них сереют и желтеют крышами гвинейские жилища... Приземлились! Невзрачный вокзал и множество встречающего люда. Все черные. Очень много женщин, обмотанных яркими тканями.

Появляются и русские. «Пришли наши!» — кричим. Пусть еще незнакомы, а кидаемся навстречу им и жарко обнимаемся. А затем таможня с формальностями. Нам выдают по пять тысяч гвинейских франков, а мы просто-душно радуемся: как много! А соотечественники сочувственно улыбаются — таких денег хватит лишь на два дня...

2. КОНАКРИ

Когда-то этот город — рассказывают нам — был на острове, который отделился от материка проливом в несколько сот метров. Французы — хозяева тогдашней Гвинеи — сделали дамбу, и получился полуостров, прикрытый от Атлантического океана четырьмя островами. Поэтому Конакри и разделяется на две части — островную и материковую. На материке располагаются негритянские кварталы, а на островной части — официальная столица с государственными учреждениями, иностранными посольствами, банками, акционерными и торговыми компаниями. Там же, ближе к берегу, белеет в парке президентский дворец. Он небольшой, в два этажа. В нем президент устраивает официальные приемы, а живет где-то в другом месте.

Мы едем в отель через негритянские кварталы. Дома в них одноэтажные и длинные, как наши бараки. Двери квартир распахиваются прямо из улицы. Они узкие, тесные и грязные. Поэтому наш автобус идет медленно и осторожно. На улицах многолюдно. Смуглые женщины обнажены по пояс, груди у них привольно покачиваются. Для нас — это вызывающе и бесстыдно, для них, молодых негритянок, привычно и красиво. На головах — национальные уборы. Это куски разноцветных материй, уложенные в определенном порядке, жестко и прочно чем-то скрепленные в виде обширных шляп. Они придают женщинам высокий рост, заставляют прямо держать осанку и голову, будто бы добавляют им достоинства. Главное же — они позволяют женщинам носить на голове разные тяжести, порой невероятные. Например, ведро воды, таз, полный фруктов, всякие корзинки с припасами, даже вязанки дров из красного дерева. Да-да, здесь топят печи ценнейшими — в узорах — красными поленьями!.. Мужчин на улицах мало. Они обычно не работают. Еще бы — почти у каждого по три жены!..

Дальше едем по центральным улицам с приличными домами, магазинами, кафе, барами... Миновали огромный — в несколько кварталов — рынок. Издали видно — он завален горами фруктов, плодов и овощей. Заставлен ящиками во всевозможной рыбой — свежей, жареной и копченой. Торговцев больше, чем покупателей. Сидят прямо на земле, машут руками, кричат, зазывают к своим товарам... Едем, а к автобусным окнам тянутся пальмовые листья, что зеленые лапы. Уличные газоны красно пылают. Это цветут китайские розы. В октябре месяце!..

Вот и отель Камайен. Это современная гостиница, возведенная советскими строителями для приезжающих сюда наших специалистов. Она стоит на взгорье, обезопасенная от океанских приливов бетонным барьером. В ней постоянно живут русские люди, но есть болгары и арабы. Номера одноместные и двухместные, заставленные мебелью из красного дерева.

Нам предоставили двухкомнатный номер. В нем вентиляторы, а над кроватями в виде шатров (от потолка до пола) из сетчатого материала висят москитеры. Под ними не жарко спать, и не попадают ни комары, ни москиты. Спим без одежды. А поутру дивимся: здесь горячая вода бодрит лучше, чем холодная. Отчего это? Вода очень мягкая, подобна прозрачному щелоку.

Наружная стена нашего номера стеклянная, причем, стекло не сплошное, а из полос длиной 70 см и шириной 15. Эти полосы вставлены в пазы, поэтому их можно поднимать и опускать. Тут же дверь на балкон.

Выйдешь на него — Атлантический океан катит к нам волны. Шум прибоя то налетит, то отхлынет. А ночами небо над нами черное. На нем висят гроздьяслепительных созвездий. Такие мы видим впервые. Вот выплывает полумесяц. И мы вновь изумлены: над Москвой он всплывает вертикально — острым серпом, а над Конакри плывет горизонтально — золотистой ладьей. Небесное чудо!..

3. КАФЕДРА

И вот передо мной гвинейские студенты. Волнуюсь и с трудом по-французски связываю фразы, но они — дивлюсь — все-таки понимают меня. Их двадцать. Вот список имен и фамилий — все разные, а гляну на них — все одинаково темнолицы и кудрявы. Не вижу никаких разных примет и особенностей. Вновь и вновь четко называю их имена (чтобы самому запомнить!), прошу ответить на мои вопросы, и лишь в глазах, сверкающих белками, вроде бы улавливаю разные отсветы понимания и сообразительности. Это личные ответы их самобытностей.

Итак, я начинаю вести самостоятельно курс хирургической патологии. Это основной курс в цепи хирургических дисциплин. Из Москвы был направлен как ассистент кафедры общей хирургии, а стал заведующим кафедрой хирургической патологии. Мне крупно повезло! Этот курс лекций я должен бы делить с доктором Аккором, здешним хирургом. «Меня,— говорит он,— знает вся Африка!» и самодовольно выпячивает толстые губы. Но он, выражаясь по-нашему, привирает. В прошлом году ему поручали вести курс общей хирургии, но он проболтал его и ничему не научил студентов. И само руководство госпиталя Донка, в котором нам надлежало преподавать и одновременно оперировать, отказало Аккору в претензии на заведывание кафедрой. Он груб и криклив, небрежен как хирург и невежлив как человек. А нам, русским специалистам, предстоит превратить этот госпиталь Донка (за два года!) в основную базу будущего медицинского факультета в Гвинее. Таковую задачу попробуй-ка решить!..

Госпиталь Донка на 450 коек — это шестизэтажное здание, связанное крытыми переходами со множеством пристроек. В сезон дождей иначе не попасть в него. Наше хирургическое отделение расположено на третьем и четвертом этажах главного здания. В палатах тесно от больных.

Врачи: доктор Аккар (гвинеец), Куртис (тоже гвинеец), Абдулай (нигериец), окончил первый Ленинградский институт имени Павлова, хорошо говорит по-русски), Трифон (болгарин) и вот теперь я. Заведовать кафедрой, читать лекции и одновременно делать операции, приучая студентов к сложнейшему хирургическому навыку — как это трудно!..

4. КАРЭМ

В Гвинее день равен ночи круглый год. В 7 часов утра уже светло и в 19 — темно. Всего полчаса длится переход ото дня к ночи. И столько же длится переход от ночи к дню. В 18 часов 30 минут начинает темнеть, а в 19 — уже ночь. И в 6 часов 30 минут начинает светать, а в 7 — уже день. Поначалу мы дивились, а потом привыкли к такому могуществу африканского неба.

У гвинейцев со второй половины ноября начинается Карэм (по-нашему — Великий пост). В это время по магометанской вере (она является здесь государственной) запрещается принимать пищу, пока светит солнце, т. е. с восхода до заката — Магомет обидится. Днем в пору Карэма гвинейцы пьют только воду. Едят, и то помалу, лишь после захода солнца. За время Карэма гвинейцы настолько ослабевают, что их уже «ветром шатает».

Вот случай. Зашел я в библиотеку Министерства здравоохранения Гвинеи. Стал просматривать и подбирать для себя литературу на французском языке. Рылся долго. Увы, ничего путного нет. Все старье. Нашел лишь подходящую монографию по перитонитам. Решил взять на дом.

В библиотеке сидел дежурный служащий. Я говорю ему, что беру эту книгу, запишите. И вижу — он сидя спит. Второй раз обращаюсь, третий — еще слаще храпит. В соседней комнате услышали. Заходит мужчина и говорит: «Извините, доктор, — Карэм!» И растолкал библиотечкаря.

И так живут до 10 декабря. В эти дни все обсерватории, которые есть в Саудовской Аравии и по всем магометанским странам, наблюдают за небом. Если ночью Венера всплывет равностояще над Луной, словно звезда над серединой небесной лодки, то Карэм закончился. Так объясняется несведущим и толкуется этот символ мусульманской веры — звезда над полумесяцем.

И произошел в нашем институте такой случай. За несколько дней до завершения Карэма объявилась группа американских студентов по линии гуманитарной помощи. Были отменены занятия и устроена им пышная встреча. Американцы тоже постарались — захватили с собой молоденьких женщин, в основном блондинок, которые, как известно, более податливы. Негритянские студенты во время жарких танцев жались к стенам и после огорчались: «Надо же было им приехать в дни Карэма. Ах, белые женщины!..» — качали они черными головами. Да, в дни Карэма в Гвинее запрещается половая близость. А может, и не до нее уже верующим: попробуй-ка месяц прожить впроголодь да на одной воде!..

5. РОМОДАН

Это общегосударственный праздник — завершение Карэма. В Конакри его отмечают на стадионе. Людские потоки стекаются с утра со всех сторон столицы. Каждый мусульманин старается придти пораньше и занять место получше. Все несут подстилку себе: кто циновку, кто звериную шкуру, кто клеенку, словом, у кого что есть. Ведь Аллаху молятся сидя.

На мужчинах поверх рубашек и брюк надеты широкие национальные платья, вроде наших плащ-накидок, но значительно шире и длиннее. Они из белых тканей. Но есть и светло-синие, и желтые, и другие, но черного цвета нет нигде. На головах — и и ничего, или национальная белая шапочка, вроде нашей пилотки. Такую шапочку постоянно носит президент страны.

Женщины тоже в национальном одеянии. Ленты дорогой ткани искусно обернуты вокруг тела и спущены до земли. На головах уже известные шляпы-гнезда, с них свешиваются шарфы из гипюра или капрона, которые затеняют лица и шеи стройных негритянок. На них мно-

жество всевозможных украшений: серебряных серёг в ушах (в носах здесь не бывает), золотых браслетов на руках и цепочек на грудях.

Мы с Валей пришли полюбоваться на этот праздничный обряд. Устроились на западной трибуне в тени пальмы. Здесь много русских и немцев с фотоаппаратами. А на зеленом поле стадиона расселись мужчины и мальчики. У многих в руках книги священного Корана. Они монотонно читают их и периодически замирают в поклонах. Женщины и девочки сидят отдельно, позади мужского верховенства. В проходах множество нищих. Перед ними жалкие кучки монет и бумажных франков. Тут же с протянутыми руками ютятся и калеки.

Ровно в половине одиннадцатого из директорской логи на западной трибуне проворно выбежали солдаты национальной охраны — на этот раз в белой форме — с пистолетами на ремнях и выстроились по стойке «смирно» вдоль прохода до зеленого поля стадиона. Радиодиктор прекращает чтение Корана. Над стадионом плывет торжественная тишина.

И вот появляется президент Гвинейской республики Ахмед Секу Туре со своей свитой. Он медленно спускается на зеленое поле и усаживается в первом ряду. По сторонам его располагается свита и охрана. И никаких оваций при появлении главы государства. Диво дивное. У нас в России буря бы всплеснулась!.. А тут, в черной Африке, все тихо, скромно и разумно.

Затем на помост поднимается мулла и с ним двое певцов-мужчин. Началось моление. Все — до последнего калеки — встали. Мулла читает Коран. Голос пронизывающий! Я вслушиваюсь — читает не на французском, а на своем языке. И тут мы различаем, как из-под голоса муллы протяжно, а затем все охватней слышится «Аллах, Аллах, Аллах!» Это певцы Земли шлют Небу тройное славословие. И все людское поле в этот момент склоняет головы. Затем опять читает мулла, а за ним вновь певцы трижды обращаются к аллаху, но теперь все людское поле склоняется уже в пояс. И одновременно выпрямляется. Вновь две минуты читает мулла, а за ним певцы подхватывают и распевают божественное имя Аллаха. Теперь уже все многолюдство враз опускается на колени и касается лбами земли. На мгновение это огромное зеленое поле враз чернеет от тысяч склонённых голов. Незабываемое зрелище!..

После такого моления на стадионе можно наесться вволю. И вот прямо на улицах, в тени пальм, рассаживаются кружками и с таким аппетитом, запивая, уплетают всякую еду, что не обращают никакого внимания на проходящих рядом людей. Те тоже торопятся в свои дома и комнаты, где ждут их обильные яства...

На другой день я не узнаю своих студентов: сидят — спят, встанут — качаются. «Ромодан! — весело оправдываются передо мной. — Не спали всю ночь». Да и понятно: у студентов по две жены. Надо приласкать обеих. А некоторые живут в провинции — надо съездить домой и уважить своих жен — они приготовили для своего хозяина много еды и питья. И я верю: тяжела была эта ночь для мужиков!..

6. ГВИНЕЙЦЫ

Все забываю записать. Это было в первые дни нашего приезда. Терапевт Тамара Д. лучше всех говорит по-французски. Пришли мы первый раз в наш клуб, заглянули в буфет. Там стоит гвинеец. Тамара изъясняется с ним по-французски как можно вежливей, что надо нам по бутылке пива. А он слушал, слушал да и ответил ей кратко: «Пива нет!» Мы так и покатались со смеху.

И еще случай. В нашем отеле уборкой номеров занимаются мужчины. Их называют боями. Прибирают они лениво, кое-как и ничего «не понимают по-русски». Однажды моя Валя вышла на балкон, а на соседнем балконе — наш бой Камара, и он Вале: «Привет, мадам!» Вот тебе и не понимают нашего языка... Нас об этом предупреждали...

Появился у меня местный знакомый — вроде бы старик, кривой на один глаз, постоянно лежит в раскладном кресле у своего домика. Перед ним на крошечном дворике вечно заняты своими заботами три женщины: одна постарше и две помоложе. Не знаю, его ли это жены или кого другого, но иных мужчин около домика я не замечал. А ребятшек во дворике куча. Черненькие, бело-зубые, курчавые, как увидят меня, так и обступят. Но старик не позволяет им кланяться чего-нибудь вкусенького. И они слушаются его. Он всегда, когда я иду в госпиталь, любезно приветствует меня, вскидывает руку и

широко улыбается беззубым ртом: «Бонжур, монсьер!» Накануне Ромодана я подошел к нему и поздравил с наступающим праздником. Он был доволен, приподнялся и обнял меня.

7. РУССКАЯ ЧЕСТЬ

В хирургическом отделении лежал мальчик лет десяти с якобы вывихами в правой стопе и с открытым разрывом сухожилия. Лежал около трех недель. Каждый раз делали уколы, смазывали, перевязывали... И вот гвинейский доктор Куртис признается мне: «Рана не срастается».

Я пошел к мальчику. Куртис размотал бинты. Смотрим. «Да у него же гангрена! — встревожился я. — Неужели вы не видели?» Куртис моргает и хмурится. А потом спрашивает: «Придется ампутировать?» и растерянно глядит на меня.

«На всякий случай вызовите отца мальчика, — сказал я. — Надо с ним поговорить». Вызвали отца. Куртис, видимо, признался, что проведенное лечение сыну не помогло и намекнул на возможную ампутацию голени. Он сказал это по-своему, не по-французски, но я сразу понял, что сказал он именно это. Отец пошатнулся и заревел.

«Вы согласитесь, если за лечение вашего сына возьмусь я?» — тронул его за плечо. Бедный отец хотел кинуться мне в ноги, но я удержал его. И начал заново обследование травмы. Оказалось, что у мальчика еще и закрытые переломы правого бедра и голени. Это помимо разрыва сухожилия в стопе, что безрезультатно лечил Куртис. Еще бы чуть подзадержаться с операцией, ногу пришлось бы ампутировать. И взялся я за спешное лечение мальчика. Произвел вскрытие бедра и голени, изъяс костные обломки, вправил сухожилие в стопе. Показывал студентам, как и что надо делать при таких травмах.

Операцию мальчик перенес терпеливо. Нога была за-гипсована. Я окончательно уверился: организм молодой, должен справиться, обойдемся без ампутации. Студенты следили за состоянием мальчика, я назначал дополнительные лекарства и меры. И вот больной стал поправляться. Подойду к нему, он улыбнется мне, а на длинных ресничках сверкнут слезки радости.

Как-то под вечер в мой кабинет стучит и заходит отец мальчика. От стеснения сутулится, а от радости сияет. И протягивает мне пятьсот франков, благодарит за сына. Деньги я отстранил и сказал, что не нуждаюсь. Негр, вижу, опешил от моего отказа, замаялся в растерянности и, низко кланяясь, попятился к выходу.

Среди многих и разных операций, которые приходилось делать в госпитале Донка, впервые выпала мне операция по удалению всей поперечно-ободочной и нисходящей кишки. Это сложное и рискованное дело. Подобные операции у Перидона, Аккара и Абдулая — гвинейских врачей — обернулись смертями. Теперь отказываются наотрез: разuverились в себе, а авторитет свой надо-таки беречь. И они переложили эту операцию на меня — русского хирурга.

И вот я склоняюсь над страдающим человеком. Вскрываю живот и вижу, какая в нем сложная и разная патология... Оперировал четыре часа! Выдержал-таки напряжение, какого еще, кажется не знал. Закончил операцию, сел, а руки и ноги дрожат от усталости. Пить хочу! Курить хочу! Хотя в операционной и стоят два кондиционера, но все равно жарко. Оперировал без халата и майки, а капли пота катились по спине за брючный ремень... Очень устал, но человек-то спасен!

С этого дня гвинейские врачи стали первыми здороваться со мной. Я был польщен.

8. РОЖДЕСТВО

25 декабря. В России трещит зима, а здесь и в тени более двадцати градусов тепла! Но гвинейцы уже надевают пиджаки: «холодно!» Для нас же — теплынь. Последний дождь пролился 11 ноября, и с тех пор не выпало ни капли. Длится сухой сезон. А трава зеленая, листья на деревьях не желтеют и не опадают. Солнце круглый день. А в фойе нашего отеля и во дворе установлены рождественские сосенки, словно наши елочки. Украшений мало. И очень грустно: как далеко родина!..

В десять часов утра к нам пришел прибираться бой, а мы уже с вечера прибрались — Рождество! Я налил две рюмки водки. Валя поставила закуску. Бой отпил

глоток. — «Очень хорошо». — сказал по-французски. Но больше пить не хотел. Мы упросили выпить полрюмки. Сглотнул и, поблагодарив, сложил крестом руки на груди: грех совершил. По их религии — пить грешно.

9. ПОЮЩИЙ ПЕСОК

В Атлантическом океане у побережья Гвинеи славится своими пляжами и красотами остров Рум. И вот в день моего рождения — 28 декабря — коллеги по госпиталю подготовили для меня неожиданный презент — поездку на этот знаменитый остров. Я был вне себя от благодарности. И мы большой компанией на судне «Вихрь», прибывшем из Архангельска, вышли в океанское плавание.

Обогнув большой остров Касса, на котором французы добывали бокситы (весь остров — сплошной гигантский минерал, а ныне разработки почему-то заброшены), и миновав несколько лесистых островков с хижинами из пальмовых ветвей — это негритянские поселения — мы увидели сказочный Рум, сверкавший золотыми пляжами. Не доходя до него трех километров, бросили якорь. Затем на двухмоторных баркасах добирались до берега — по 20 человек в каждом. До самой кромки острова баркасы не доходили, и мы раздевались, нагружались и прыгали в волны, как десантники, только вместо оружия у нас были увесистые сумки с едой и питьем.

Прибыли мы на Рум со стороны африканского материка, а не со стороны Атлантики. Поэтому волны здесь ласковые и золотистые. Пляж огромный. На песке множество фанз, похожих на наши шалаши, сооружаемые из елового лапника. А здесь они из слоновой травы. Нам сказали, что слоновая трава растет под пальмами. Но мы не стали ничего сооружать, а разместились кучно, как во времена студенческих вылазок на природу, и кинулись купаться.

Океанское побережье! Боже мой, как далека моя родная Двина, казавшаяся мне большой рекой. И посреди нее зеленый мысок с теплым песочком. И белые кувшинки с золотистыми тычинками в прибрежной тине, где пасутся хитрые язи... Как далека родина! И как близка, если ее любишь!..

Мы бежим по островному песку туда, где на волнах качается ликование всякого народа: черные гвинейцы

(больше всего ребяташки), а поодаль от них белые чужеземцы. Везде слышится французская речь, иногда пробьется английская с немецкой. А с приездом нас отважно зазвенел здесь и русский язык.

В океане приливы вскипают и в безветрие. Волны совсем малые — в метр высотой, а большие — более двух метров. И все ждут этих в белых загравках бешеных волн. И бросаются в них. И мы бросались. И не вылезали из океана долго-долго. Вода в нем прохладная, но необычайно приятная. И дивились мы, что не чувствовали ни озноба, ни судороги.

Островной берег со стороны моря выглядел сказочно: по самому краю его — гладкие камни, что отшлифованные глыбы вечности. Между ними чистый рыжий песок. Выше — зеленые пальмы, а над пальмами — голубое небо. И в нем сияние солнца! А на огромных камнях среди волн сидели гвинейцы, словно ожидали чего-то. И вправду — из океанской качки вдруг возник красный парус. И сразу вспомнился нам роман Грина «Алые паруса». Это шла к берегу рыбацкая шхуна. И гвинейцы, сидевшие на камнях, стали предлагать купавшимся свежую рыбу, но никто не купил. И шхуна с красным парусом скрылась за поворотом острова Рум.

Рядом с нами на песке в фанзе из пальмовых листьев устроилась семья американца. Он высокий, толстый, с брюшком, но не отвислым, а обкатистым, придающим американцу вид солидного человека. У него борода под Хемингуэя, и волосы седоватые, что ежик. Жена брюнетка, с толстыми, красивыми ногами, энергичная и сноровистая. У них две девочки. То купаются у камней, то листают книжку, рассматривая картинки и разговаривая на чистейшем французском языке. Можно позавидовать американской склонности познавать другие языки. А мы, русские, чрезмерно замыкаемся в себе... Уже который раз я с грустью думаю об этом. Мы же способны быстро осваивать иностранные языки. Вот мне хватило трех месяцев на французский. Но мы не хотим, ленимся...

У соседа-американца возле фанзы в затенении лежали крупные рыбыны. По метру и длинней. Заметив, что мы с любопытством посматриваем на рыбу, он вдруг заговорил по-русски: «Вам нравятся? Если да, то могу продать или обменять на красную икру». Мы, конечно, удивились тому, что он умеет и по-русски изъясняться, и тому, что он думает, будто бы русские люди ложками хле-

бают красную икру. Мы любезно поговорили с ним, но покупать рыбу не стали. Она нам и вправду была не нужна.

Вскоре мы услышали, что наши перебираются на ту сторону острова, говорят, там лучше. Идем поперек острова тропой, которая петляет сперва среди высоченной (выше двух метров) желтой слоновой травы, уже пересохшей и очень жесткой. Из нее местные жители делают веники и плетут циновки, кроют крыши. Остров Рум горист, сверху — в стройных пальмах, внизу — в непролазных кустарниках, чем-то напоминающих киты нашего гороха. Много и всякого орешника.

И вдруг замечаем — выглядывают из кустов четыре гвинейки с привязанными на спине младенцами. Выглядывают пугливо, зорко и опасливо, Мы приветливо помахали им, и они, робко улыбаясь, привстали над орешником...

Остров Рум шириной около километра. Спускаемся на другую его сторону. Вот она, неоглядная, синяя, захватывающая дух океанская даль! Вышли на песок. Он горячий, чистый и рыхлый. Нога вязнет в нем, и слышится под пятой скрип, похожий на скрип нашего сухого снега под ботинком или валенком. Удивительно! Я нарочно втапываюсь в эту рыжую россыпь тепла, и она скрипит с веселым и гулким перезвоном. Мне сразу вспомнились наши пивные корчаги — когда они пустые и сухие, то в них всякий звук отзывается распевным эхом. Вот и здесь — бродим по песку, а он под ступнями поет. Чудо да и только!

Мы вновь кидаемся в океан, а, выплывая из него, фотографируемся на память. Наводим объективы и на гвинейцев. Мальчишки позируют охотно, а взрослые, особенно женщины, — и близко не подходят. Мусульманская вера запрещает фотографироваться — отдавать Сатане свое изображение, свой лик...

Но вот пора уезжать. Баркасы ждут, чтоб возвращаться на архангельский «Вихрь». Коля Жуков, наш приятель, проходя мимо американцев, услышал их разговор. Один спрашивает у другого: «Кто это отправляется таким скопом?» А тот отвечает: «Русские». И оба посмеялись над нами, мол, они привыкли сбиваться в «колхозы».

Мы успокоили раздосадованного земляка. Американцы еще не поняли, чем силен русский народ.

В Конакри, в госпитале, Павел оперировал постоянно и за два года накопил не только хирургический опыт, но и огромное количество исследовательских материалов (историй болезней, рентгенологических и фотографических снимков и т. п.). И в Москву вернулся с научным богатством. — «В Москве, — сказал он, — такого операционного опыта не приобрести. Здесь тесно от специалистов, а в Гвинее их мало». И вот на основе привезенных материалов написал обстоятельную диссертацию и блестяще защитил ее, став доктором медицинских наук.

Вскоре в Москве в издательстве «Медицина» он выпустил свою монографию «Клиническая анатомия вариантов и аномалий толстой кишки». В ней представлены результаты 458 анатомических и 164 клинических случаев аномалий и вариантов толстой кишки человека. И подробно изложена из своего опыта хирургическая анатомия каждого варианта. Ни в отечественной, ни в зарубежной медицинской литературе таких разработок еще не бывало.

Кроме этой книги, брат подготовил для медицинских вузов учебник «Оперативная хирургия» и создал уникальный атлас «Топографическая анатомия». За эти труды ему (совместно с академиком В. Ковановым, доктором медицинских наук Т. Аникиной и кандидатом медицинских наук И. Андреевым) была присуждена Государственная премия СССР. И присвоено профессорские звание.

...В те годы в Москву мне приходилось ездить чуть ли не каждый месяц — я был членом Приемной коллегии Союза писателей России. Дело это хлопотное, нервное и ответственное. Ведь мы прикасались не просто к творчеству молодых авторов, а к их судьбам. Талант писательский не поймешь сразу — то ли счастье, то несчастье. Попробуй-ка выяви его сразу и безошибочно. Обнадежишь молодого автора, а в нем, глядишь, и тяги нету. Вытащишь на свет одну две книжки и тут же ослаб. И писательский билет, увы, душой не согрет...

Но в Москву тянули меня не только обязанности перед Приемной коллегией, но и встречи с братом Павлом. Иной раз и от гостиницы откажусь — приеду к нему на квартиру. Его очень любил маленький внук Дениска.

Заберется к нему на колени и зоркими глазенками поглядывает на нас. И не уснет, пока дедушка не приляжет с ним и не прочтает ему какую-нибудь сказку или не расскажет забавную историю...

О чем только и ни рассуждали мы тогда в ночной тишине московской кухни! Жена его Валентина Николаевна и дочка Лена порой не раз напоминали нам о позднем времени.

Запомнился мне один из таких разговоров в 1990 году, удививший неожиданным поворотом в его рассуждениях. Говорили о земле. О той, что обнимает полями наше Петряево.

— Время настает грабительское, — говорил он. — Мы и не заметим, как наши родовые земли будут скуплены неизвестно кем. А у нас с тобой лишь мамины грядки.

— А сколько, думаешь, надо бы иметь?

— Не менее гектара! А лучше бы пять гектаров...

Я изумился: — Не осилить нам, Паша...

Однако той же весной с разрешения местных властей к маминим грядкам добавил земельную полосу в десять соток...

И, конечно, незабываема последняя встреча с братом на его кафедре оперативной хирургии. Я представлял кафедру как ряд рабочих кабинетов и какой-нибудь зал для заседаний. Но когда разыскал ее, то увидел огромное здание в три или четыре этажа, по соседству с посольством Вьетнама. Сколько же ученых и разных специалистов, сотрудников и рабочих в нем занято.

Павел обрадовался, увидев меня. Кабинет заведующего этой огромной кафедры, заставленный длинным столом, креслами, шкафами и стеллажами, был на удивление светел и уютен от цветов на подоконниках. Мы крепко обнялись. Брат распахнул холодильник с вином и закусками, но я — даже подивился сам себе — решительно отказался от угощения. Не та обстановка!

Присмотрелся я к брату за таким важным столом и увидел в совершенно ином, чем прежде, как бы укрупняющем его свете. Сам по себе он был все тот же, каким знал я его всегда — незаносчивым и добродушным. И в этом престижном кабинете он чувствовал себя свободно. Его ученые заслуги и многозначая его одаренность были как раз впору этому новому его положению.

Однако прежней петряевской простоватости ни в нем, ни во мне уже не чувствовалось. И эту почти незаметную

перемену в нас я впервые ощутил тогда в кабинете брата-профессора. Мы пили с ним кофе с пирожным и разговаривали с прежней откровенностью. Он любопытствовал о моих писательских делах, а я спрашивал, не трудно ли ему на новом месте. Нет, не трудно, только очень хлопотно. И возле глаз его появились уже первые морщинки. Но держался он молодцом.

Он проводил меня до улицы. И стало как-то грустно обоим, будто мы еще не досказали друг другу что-то очень важное. Мы обнялись и расцеловались. Вечером я возвращался в Вологду.

...А осенью того же 1990 года брат мой скончался от повторного инфаркта. Было ему 56 лет... И горе это я до сих пор не могу ни объяснить, ни превозмочь...

МЫСЛИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Философия, как богатство научной премудрости, с годами заменяется для меня философией самой будничности. То есть текущей людской житийностью, в которой оказывается столь много необходимой нам мудрости, но еще не явленной ни в чем письменном слове, не выраженной еще никем ни в поэзии, ни в прозе. Это незапечатленная философия, витающая в нашей повседневности, куда важнее для людей той, что заключена во многотомных трудах ученых, слишком редко открываемых «простыми» людьми.

Да что там редко — вообще не открывавшихся ими никогда! Истинная же поэзия и проза, рождаемая ныне в годы страшных разрух, является ныне и явится в будущем как единственная самозащита русского достоинства. И как осмысленная по-народному Правда российской трагедии.

* * *

Русского житья человек! О многих ли теперь можно так сказать? И что такое в конце двадцатого века русское житье?..

* * *

В поучениях Сергия Радонежского, как и в беседах Серафима Саровского, всякий период речения, всякое умозаключение и наставление обязательно оканчивается глаголом, то есть побуждением к действию. Глагольное завершение каждого предложения — это сила их речи!.. Вчитывался я, вглядывался в их книжность и увидел-услышал вот эту великую тайну влияния святых людей на нас, грешных,— на огненные их глаголы в конце своих бесед, писем и наставлений.

* * *

Любой взгляд на русскую жизнь, если он честен, важен для раздумья. Пусть даже самый нелицеприятный.

Любое слово о нашей жизни, если оно умно и прозорливо, необходимо самой нашей жизни. Пусть слово это окажется даже сокрушительным для привычных нам устоев... Но его надо знать!

* * *

В нынешних правителях России нет ни мудрости, ни энергии государственного творчества — в них лишь торопливая страсть угодничания перед Америкой и Западом. Большого позора, чем теперь, Россия не знала и при татаро-монгольском нашествии.

* * *

Бог вразумляет поэтов для того, чтобы они в своих строках сберегали свет, зажженный Им. Свет мудрости и нравственного подвига!

* * *

Николай Рубцов в одном из своих высказываний о поэтах разных стран отметил Артура Рембо. Сказал, что он написал 18 стихотворений и все — гениальные...

Недавно я снял с книжной полки томик Артура Рембо, чтобы освежить свою память, а заодно и сопоставить свое нынешнее мнение с впечатлением Николая Рубцова от поэзии Рембо. Из давних институтских лет я что-то знал о нем. А теперь, перечитав его стихи, ужаснулся: он — страшный антихрист! Так вот почему его возносят люди иной веры...

* * *

Время и жизнь...

Жизнь отстает от Времени. Что это?.. Давно об этом думаю, но Чувство оказывается пронительнее Мысли — томит тревогой, а ответа не дает...

* * *

Что случается с другими людьми, то не минет и нас. Да, ничто не обойдет и нас, кроме, конечно, денежного богатства. Спасаться надо нам своим путем, не кляня жизнь, не греша на Бога, не завидуя чужому богатству. Спасение наше — в мудрой самостоятельности. И только в ней!..

* * *

Трагедии и беды потрясают Россию, но, увы, не предостерегают и ничему не учат нас.

Для самолюбия — обидно, а для судьбы — несущественно...

* * *

Вышедшие из крестьянства поэты: Сергей Есенин, Николай Клюев, Сергей Клычков, Алексей Ганин, Петр Орешин, близкий к ним Павел Васильев... — все погублены в расцвете своих талантов злодеями, захватившими в 1917 году власть в России... А ведь и кое-кто из нас, нынешних, — случись родиться на двадцать-тридцать лет пораньше — так же были бы беспощадно расстреляны за свою поэзию, за ту, в которой слышится Русь-матушка... Где и когда — назовите! — был еще такой смертельный подход к истинным дарованиям в своей же стране? Где еще расстреливали поэтов за любовь к Родине? За свое национальное самовыражение?..

* * *

Образ души, состояние души, ее вселенская отзывчивость — вот в чем светоносность Поэзии. Современность в ней — не столько внешние реалии жизни, сколько драматизм человеческих взаимоотношений в потоке времени. В прошлом — очарование, в настоящем — страдание, в будущем — искупление. И всегда в поэзии терпят крах социология и политика.

* * *

Для кого-то Иисус Христос не только не был распят, но Он еще и не родился, ибо эти люди, погибшие в атеизме, были изначально и навек обездуховлены...

Евангельские заповеди!.. Многие из нынешних русских людей никогда не соприкасались с этим Божественным светом и поныне не знают даже о его существовании, а не то что — о его благодати. Вот темень большевизма, еще висящая над нами.

* * *

Теперь в моде разные хоры и ансамбли, которые пытаются окунуться в глубину русского фольклора — в эту певучую, игровую, былую страсть русского народа. Нужда в фольклоре — это стыд за так называемую «советскую культуру», устранившую культуру народную — певческую, обрядовую, хороводно-плясовую и т. д. Это стыд запоздалый и все же благотворный.

Однако не свяжется что-то смысл прежних обрядов — сама радость бытия — с жизнью сегодняшней. Наша жизнь, выпеваемая сквозь прежний фольклор, — всего лишь дальний отголосок правды. Бывшая жизнь, ставшая, увы, лишь сценическим действием...

* * *

Открыл я книгу Василия Розанова «Опавшие листья» и страницы зашевелились, встали на ребро, запokaчивались, словно бы задышали... Я оторопел: что же это? Иль впрямь мистическая сила, спрятанная в «Опавших листьях», только и ждала этого мига, чтобы напомнить о себе...

А ведь такая сила существует вокруг нас, только мы ее не видим, а чувствуем, как тоску или страх... И ангельское веяние крыл существует — такое ласково-теплое, радостно-вейное касание висков и лба. Я это испытывал и изумленно замирал...

* * *

Утрата нами родовой памяти...

Ведь тем сильна и крепка была Россия, что истинный россиянин чаще всего определялся не национальностью и социальным своим положением, а той широкой отзывчивостью и отважностью, которая издавна называлась «русской душой». Вот самый близкий для меня пример — моя мать Александра Ивановна. Крестьянка, колхозница, вдова... Она никогда не кричала: «Я — русская!», а жила воистину по-русски, т. е. держась обычаев старинного и широкого родства, гостеприимства и христианского поминовения.

Отняв у России церковность, вырубили ее духовные и генеалогические корни, ее историческую память, ее национальную самобытность. Десятилетиями глумились марксистские оккупанты над самым сокровенным в жизни народа — над его родовой памятью.

Если в родословных оказывались герои, заслуженные деятели, подвижники труда и веры, то их советским наследникам приходилось отвечать (нередко самой жизнью) за такие патриотические деяния своих предков.

Вырубили и в крови утопили на Руси родовую память...

* * *

«Глупость осуждения менее заметна, чем глупость похвалы», — заметил Пушкин.

* * *

Совесьть — Божий глас в человеке.

* * *

Через Ольгу Фокину великодушно, многопечально и красно высказывалось все крестьянское вдовство на Руси. Она — самая сокровенная выразительница наших деревень. В ней отзывалось заветное и долгопамятное Слово родины ее — северной Руси.

Я тоже оттуда и тоже иду по дорогам народных событий. Но во мне болит еще и материнская молитва. Не дают душе покоя ее шепоты, ее всеошсные поклоны перед иконами в нашей петряевской избе...

Если Ольга Фокина идет от бытового случая, то я — от живого разговора. Она — от притчи, я — от думы. От красоты и горя России, от ее вышитых полотенец...

* * *

Вот минуты счастья: румяное весеннее утро, за тесовой заборкой, на кухне, обряжается мать. Слышу, как жарко потрескивает печь и как мама вскидывает в деревянной чаше тесто, а затем вываливает на противень и, постукивая пальчиками, творит боковины пирогов...

А я сижу за старым отцовским столом и тоже творю: тороплюсь записать и тут же зачеркнуть возникшие строки. Не то, все не то на бумаге, что горит в душе! Но вот вышепталась первая настоящая строка! Значит, где-то близко и остальные верные строки. Так и есть! Строфа уже готова: слова обнимаются друг с другом.

А за окном на черемушке запokaчивался, засверкал и залился победным свистом скворушка. Первый скворец!

* * *

Уже третью неделю пишу воспоминания о Николае Рубцове. До этого писал воспоминания о Яшине. Зачем это делаю? Что мною движет? А движет тревога за наше равнодушие и беспамятство. Ведь если я не вспомню и не запишу то, что случилось у нас или с нами, или что думалось мне об этих случаях, вообще о минувшем времени, о тех дорогих людях и делах, характерах и судьбах, то кто же за меня все это может сделать? Если кто-то другой возьмется, то он и напишет по-другому, то есть по-своему: ведь письменные воспоминания — это всегда пристрастные свидетельства минувшего.

И тут же подумалось: а кто о тебе самом вот так же расскажет хотя бы для твоих внуков? И сверкнула догадка: оставляя воспоминания о близких нам, мы оставляем воспоминания и о себе. Да, да — в других судьбах,

близких нам, отсвечиваются и наши судьбы, в их старых письмах слышатся отзвуки и наших давних речей и мыслей.

Что такое сохраненная нами дружеская переписка или наши воспоминания, как не документальные вести в будущее! Пишем о настоящем, а выходит — пишем для предстоящего...

* * *

Мы (Яшин и другие) жили и дышали Россией двадцатого века. Редко удавалось нам своей строкой заглянуть в Русь изначальную или хотя бы в Русь московско-новгородскую...

А вот Николай Клюев в ту историческую даль заглядывал, как в свою прародину.

* * *

Современники редко замечают истинные художественные шедевры, создаваемые при их жизни. Как и чем эту странность объяснить? Видимо, необходимо время, чтобы эти шедевры осветились всей глубиной и новизной своих истин. Чтобы в них сквозь современность проглянула вечность.

* * *

Духовная мудрость требуется не только от священнослужителей, но и от писателей — от них требуется, может, даже в большей степени, потому что нынешнее русское общество в массе своей безбожное, одьяволенное марксизмом.

Поэтому в нашем писательстве должно быть духовное пастырство.

* * *

Многое вместе пережито и прожито, и, казалось бы, легко сказать о своем друге-товарище, да вот поди ж ты:

на что прежде смотрел я безоглядно, ныне на это гляжу уже с прищуром. И сам себя уже сторожу: не поступиться бы истиной! И слово верное дается все труднее. Оно таится во мне, я чувствую его, а достать все еще не могу...

* * *

«Долетайте до самого Солнца
И домой возвращайтесь скорей!»

Эти строки из песни Роберта Рождественского. Прислушал ее по радио и ужаснулся ее бахвальству и нелепости самого содержания. Что за чертовщина!..

* * *

Ася спрашивает: — Зачем с утра пристегиваешь к руке часы?

— Чтоб чують струю времени! — отвечаю я. — А нету часов на руке, вот и болтайся в вечности!..

* * *

«В чужую судьбу не вкupiшьcя, на свою не осердишьcя,— говаривала моя мать.— У каждого своя доля». Да, так оно и есть.

* * *

«Выйдем, не будем мешать маме!» — вместо того, чтобы сказать: «Давай поможем маме. Ты отдохни, мама, а мы пол помоем». Нет, так не сказали. А сказали: «Выйдем, не будем мешать», то есть пусть она гнет старую спину, а мы побегаем, поскачем во дворе...

* * *

Наш петряевский дом любят ласточки. Три гнезда под окнами с трех сторон. А с четвертой стороны —

гнездо воробышек. Слышны птенчики даже в избе. Все лето живем с птенцами. И я люблю их правильной жизнью: главный труд — вывести в небо (!) свое потомство. Какая озабоченность птичек-родителей, какая непрерывная их работа! И с песнями все, с посвистыванием! Ох, люди так не умеют жить, не хотят...

* * *

...А кто с болью любви после нас глянет на эти старые фотографии: на прадедов и прабабушек, на дедов и бабушек, на всех нас, радовавшихся и страдавших на этой доброй, но вдовьей земле, в этом родном, но обезлюдевшем Петряеве?..

Да, кто же с болью любви глянет на все это сокровенное наследство? И понадобится ли оно нашим потомкам — это последнее свидетельство житейской правды о нас, не уронивших чести родины своей — России ни в тяжких трудах, ни в смертельных боях?..

* * *

Я постоянно возвращаюсь к тревожному вопросу: что есть Человек? Советская эпоха не подтвердила красивую фразу Максима Горького: «Человек — это звучит гордо!»

Человек ныне — это больной и безвольный дух, угнетенный чуть ли не с детства еще и телесными недугами. Наше общество треплет социальная, экономическая и нравственная лихорадка. Это наказание за то, что мы шли и до сих пор идем вопреки разумным законам жизни. На наших небесах огненными знаками было начертано: «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики!» И брали, не щадя ни ближнего, ни дальнего своего. Вот и надорвались в трех поколениях, а жизни, достойной таких усилий, не построили. Мы сами — с сатанинской помощью — уготовили отмщение себе страшными болезнями и трагедиями XX века.

* * *

Россия вновь разъединена на алчущих и плачущих,
на взыскующих и тоскующих, на вопящих и молчащих.
У одних — золото, у других... горе слезами полито.

* * *

Камни все — до единого! — старые.

* * *

Поэзия — это еще и половая энергия. Не распутство,
не разврат, а сильный и щемящий инстинкт самоутверж-
дения в роду человеческом посредством яркого и обнажен-
ного слова.

* * *

Журналистика — это подлый кусок для текущей жиз-
ни. Литература — это горький кусок для возможного буду-
щего.

* * *

Мера таланта — это мера выраженной им правды
жизни.

* * *

Вдохновение гаснет от соприкосновения с пошлостью.

* * *

В народ бы ринуться, но где народ?..

* * *

Самое страшное заключается в том, что в обыденности своей мы не замечаем горьких последствий нашей жизни. Для нас только война — страшное явление. А то, что нынешняя жизнь еще страшнее чем война с немецким фашизмом, не осознаем. Война на разгром, на развал родины нашей — измученной России идет каждодневно, на наших глазах. И как ни чудовищно это выговорить — с невольным участием нас самих. Но мы такого бедствия как бы и не замечаем — привыкли уже к терпению и самообману — вот что страшно. Самое страшное это!

* * *

В мой петряевский дом, в левое боковое окно, смотрят два вечерних солнышка: одно — с неба, другое с пруда. Оба одинаково веселые. И совсем близкие друг к другу: блики из пруда покачиваются на простенке, а лучи с неба сияют на циферблате настенных часов. Я сижу на лавке и отдыхаю меж двух солнышков. Это и есть счастье родины.

* * *

Она вся налита слезами. От прежних обид так налита. И теперь лишь задень ее неаккуратно словом — и покажется боль в ее огромных, беззащитных глазах...

* * *

Автомашины на ночь столпились во дворе кружком, чтоб теплее было спать...

* * *

Поэзия — это мгновенные прозрения истин, которые, кажется, недоступны для осмысляющего ума. Это редкие соприкосновения одной души с потайными вздохами всего

человечества. Это попытки уловить словом проблески Божественного в сиюминутном...

* * *

Время считается только с талантливостью. А гениальность — это Оно самое? Может, так и есть, а?..

* * *

Русский народ бесстрашен перед чужим нашествием, но беззащитен (по своей необъяснимой доверчивости) перед нашествием всякой так называемой социально-политической новизны, лицемерно прикрывающейся «заботой о народе» и о «новых путях к грядущему его счастью» и т. п.

Боже, более простодушного и неоглядчивого народа, как русский народ, нету на белом свете! И что же это такое — знак величия или знак жертвы?.. Тайна сия ох горька прежде всего для нас самих...

* * *

Когда думаешь «обо всем» нецеленаправленно, то впадаешь в некую прострацию мысли — она зыблется, рвется на множество «подмыслей», «околомыслей»... И вся эта поначалу интересная и кажущаяся значительной вольность твоего мышления в конце концов ничего значительного и свежего не рождает, а оставляет в тебе лишь грустную утомленность. Да, необходима и в мыслях дисциплина — цель, а не бесцелие!

* * *

Словом Господь мир создал.
Словом Иуда Господа предал.

* * *

Взять бы эпиграфом к нынешнему подлому времени
вот эти строки Николая Клюева:

*...И мужик бездомный и безбожный
В пустополье матом голосит...*

Строки эти из стихотворения «Старикам донашивать
кафтаны», 1930 год.

* * *

А-фа-на-сий Фет — как глубокий вдох и выдох!

* * *

Лгать нельзя —
Вот стезя!..

* * *

Поэзия — дна из таинственных форм проявления са-
мой жизни, а проза — одна из сложных форм отражения
этой жизни.

Поэтический ритм — возгоратель жизни, прозаический
ритм — светоулавливатель жизни.

Поэзия — от Божьей воли, а проза — от человеческой.

В поэзии — наитие, а в прозе — осмысление.

В поэзии — свет, а в прозе — ответ.

Поэзия — сокровение, а проза — откровение...

Таковы мои наблюдения.

* * *

Александр Яшин в 1945 году только что вернулся
с войны (было ему тридцать два года) в статье «Мысли
о русской поэзии» высказал глубокие и отважные на-
блюдения. Его очень беспокоило, что Союз писателей плохо
поддерживает «поэтов с ярко выраженной национальной

самобытностью». Вот что он отмечает: «В русской поэзии работает очень много поэтов нерусской национальности, которые зачастую клянутся русским народом, его историей, культурой, но не чувствуют духа русской национальной поэзии. Мы их поднимаем, возвеличиваем, а народ наш не знает ни одной строчки из их стихов и знай себе поет:

*И кто его знает,
Чего он моргает,
На что намекает...*

Пишущий по-русски в этом смысле еще не значит русский поэт.

Сельвинский — крупнейший советский поэт, честнейший человек в отношении оценки всего хорошего, владеющий всеми жанрами от романа в стихах и трагедии до частушки. Но как он иногда не чувствует национального зерна в русском стихе и как тщетно старается сам добыть его.

Прекрасный поэт Пастернак очень далек от той русской поэтической самобытности, о которой я говорю. Честно работает в русской поэзии и Антокольский, но разве в его стихах хранится традиция нашего национального искусства? Разве у него могут прорваться строки, так любимые нашим народом: «Во поле березонька стояла»...

Народ наш не сделает своим кумиром поэтов, не чувствующих его духа, его поэтической традиции, как бы их ни популяризовали газеты. Примеров много. Он будет ждать своего поэта, чтобы поднять его. Газеты не популяризовали Исаковского, его поднял сам народ.

Русский дух — Пушкин, Грибоедов (пословицы), Крылов, Некрасов, Кольцов, Ал. К. Толстой, Лермонтов с его «Песней о купце Калашникове», Есенин...

Эту национальную традицию, эту исконную любовь русского народа к определенным поэтическим интонациям и к своему родному словарю никому не искоренить в нашем народе».

* * *

Говорят: случайная встреча, случайный выбор, случайный порыв... Неправда! Во всякой случайности есть своя предопределенность. В тебе самом копится некая

тяга или некая сила, и требуется лишь подходящий момент или обстоятельство, чтобы вдруг эта тяга или сила разрядилась и поразила своей якобы непредвиденной неожиданностью... Во всякой человеческой судьбе складывается своя предопределенность с рождения. И это — не мистика...

* * *

Нет ничего ошибочнее, беспомощнее и печальней, чем вера в политических вождей. Они никогда не занимаются вопросами людского счастья, хотя и охотно красноречивствуют о нем на трибунах. Есть в мире силы — тайные и явные — для которых не только счастье — куда там! — а даже малое благополучие русского народа уже страшно.

* * *

На одной отрицательной энергии долго жить нельзя: она сжигает человека «до черноты». А поэзия — это деяние защитительного духа, это доброе человекоустройство. Я с давней тревогой думаю о поэте, близком мне: сожжет свое дарование и сам сгорит...

* * *

Наше время — это спохватившийся самосуд без судей и прокуроров. Все голые...

* * *

Маяковский учил, как надо делать стихи. Делать! И делали. Выполняли партийный заказ, называвшийся благопристойно социальным. Будущее, конечно, стряхнет в небытие такую советскую поэзию. Останется жить из нее только то, что покоится на таланте и на родной почве.

* * *

Береза. Вот старинная о ней загадка:

*Стоит дерево, цветом зелено,
В этом дереве — четыре угодья:
Первое — больным на здоровье,
Второе — от теми свет,
Третье — дряхлых, вялых пеленанье,
А четвертое — людям колодец.*

А отгадка такова: первое угодье — банный веник, второе — лучина для освещения изб, третье — береста на туеса, четвертое — березовый сок.

* * *

Внутренняя стройность раздумья всегда дисциплинирует и углубляет мысль. Не позволяет ей «перескакивать» от одного — тяжелого к другому — легкому. Требуется некое насилие над собой.

* * *

Я потерял его потому, что он потерял меня. Может, случилось это из-за того, что я заглядываю в жизнь чуть глубже его, а он рассчитывает умом чуть дальше меня. И мы невольно расходимся. У каждого свое понимание жизни и благополучия...

* * *

Поразили меня глубиной и краткостью вот эти слова Фридриха Ницше (1844—1900 гг.) о христианстве: «Практика христианства не имеет в себе никаких фантазматических элементов; она есть средство быть счастливым».

* * *

Вот строка, всего одна строка из третьей части романа Василия Белова «Год великого перелома» (март 1930 г.):

«Секретарь Воробьевской ячейки Кузичев явился раскулачивать семью учителя с огромным ножом в руке»... Господи, что творилось!..

* * *

Сергей Николаевич Марков, прекрасный русский поэт и прозаик, в детстве жил в Вологде, в том самом доме, в котором пребывал и Сталин в годы своей вологодской ссылки (1911—1913 гг.). В тридцатые годы С. Н. Марков застал еще живой хозяйку того дома на улице Екатерининской (ныне Марии Ульяновой), помнившей Сталина. Сергей Николаевич пытался выяснить у хозяйки что-нибудь о Сталине, и она сказала ему так: «Кто когда-то был в ничтожестве, тому не понравится, чтобы об этом вспоминали»...

* * *

По народному преданию, красная рябина отводит от дома беду. Поэтому у нас в Петряеве и рябины под окнами, как помню, красовались всегда. И на зиму за двойные рамы клали рябиновые гроздья. И ныне кладут...

* * *

В петряевском доме вторые сутки молчало радио. Шел дождь, все мы сидели в избе, тяготились вынужденным заточением. Проклинали радиосвязь, словно бы издевавшуюся над нами: как наладится погода, так и заговорит, а лишь задождит — сразу смолкнет... Вот и в этот раз не выходили из дома, хлестал по окнам ливень. И так хотелось что-нибудь услышать по радио, но оно было мертвым. И только под вечер, когда дождь стих, вдруг прорвался в избу радиоголос, сказавший: «Благодарим вас за внимание!» И мы все дико расхохотались...

* * *

Михаил Сопин талантлив, но он, пройдя сквозь ад лагерей, донес до русской поэзии лишь кричащие окалины

строк. Прозу писать он не может (мог бы, но не может). А в поэзии мог бы развернуться значительно как трагик человеческого бытия (вообще человеческого, а не только подконвойного, советского). Но для такой судьбы необходима мудрость, а не только злость-обида. И строки Михаила Сопина с каждым выходом в свет все короче. Огня уже в строке не хватает... А может, он копится в душе?..

* * *

В молодости счастье ходит рядом с тобой. Но осознаешь это лишь в старости. И радуешься, ежели в ту пору хоть бочком, да прикоснулся к нему.

* * *

Я пишу свои «искры памяти» не из тщеславия (слава Богу, нету на мне этого греха), а только ради правды о том, что случалось с нами в жизни, какими мы были в ней, о чём мы думали и чем жили в свои единственные годы. И еще для того пишу свои «искры памяти», чтобы после нас поменьше оказалось вранья о нас.

* * *

Георгий Васильевич Свиридов, великий русский композитор, недавно сказал, что наша классическая музыка (Глинка, Мусоргский, Чайковский и другие гении и таланты) вдохновляет людей на великие порывы, объединяя их в народ, в историческую общность, а современная музыка в России, так называемая массовая, рок-музыка собирает вокруг себя людей ради ничтожных целей, ради одурманивающих удовольствий и т. п.

* * *

Великое искусство — великие цели. Ничтожное искусство — ничтожные цели.

* * *

Кто-то стал требовать от Ликурга, чтобы он ввел в своем государстве демократию. Спартанский законодатель ответил требователю: «Введи сперва демократию у себя дома»...

* * *

«На святых всегда клеветают» — эту крылатую фразу произнес русский император-мученик — Николай II.

Кличку «Николай Кровавый», насквозь лживую и подлую, пустил по миру не кто иной, как истинно кровавый диктатор Ульянов-Ленин. Вот его призыв к европейским правительствам: «Идти вперед и стрелять. Собирайте австрийские и немецкие войска против русских. Мы за разрастание борьбы. Мы за мировую революцию!»...

* * *

Вот как собственноручно прописывает основоположник геноцида В. И. Ленин «рецепт» приведения русских крестьян в коммунистическую веру:

«1. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь.

2. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.

3. Опубликовать имена.

4. Отнять у них весь хлеб.

5. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграммы.

Телеграфируйте получение и исполнение.

Пост скр.: Найдите людей потверже.

Ленин. 11.08.1918»

* * *

Среди нас есть множество таких людей, к торые никогда не придут к Христу. В них уже вытравлена потребность религиозно-нравственной жизни — потребительство стало в них единственным инстинктом так называемой «красивой жизни».

* * *

Дивная певица Татьяна Петрова рассказывает: «Меня сейчас увлекает работа над песнями, которые были напеты Пушкину на его свадьбе. После того, как цыганка спела ему «Матушка, что во поле пыльно», он заплакал и сказал: «Вот в этой-то песне я вижу всю свою судьбу. Изумительная песня!»..

Об этом прочитал я в «Литературной России» (18.03.94). Это беседа с истинной русской певицей Татьяной Петровой. И я сразу представил то сокровенное и далекое, но вдруг так близко вспыхнувшее — молодого Пушкина со слезами на глазах от песни и от радости, что рядом с ним красавица-жена...

* * *

Однажды Юрий Поликарпович Кузнецов на Приемной Коллегии Союза писателей России высказал мысль, поразившую меня своей образностью и силой правды. Разбирая творчество очередного молодого автора, в стихах которого бесы, черти и сам дьявол полностью реабилитируются, то есть из силы злой и черной превращаются в силу добрую и светлую, знаменитый поэт гневно заявил, что это не поэзия, что это по своей нравственной сути — подлог и обман, что это — игра в «новизну».

«В народном творчестве,— сказал он,— заключена многовековая энергия слова и выражаемой им истины. И чтобы современному поэту подключиться к этому великому источнику энергии, надо подходить к нему не с карманным фонариком, как этот наивный в своей бездарности поэт. Он со своими стишками, как со слабым карманным фонариком, полез подключаться к многовековым сетям народного творчества, в которых заключена гигантская сила истины и красоты, и тут же сгорел, едва к ним прикоснувшись...»

Вот поучительный опыт из поэтической практики, как надо чувствовать верные соразмерности соизмеряемого и никогда не посягать на нравственные законы народа.

* * *

Случается так, что лишь один волосок разделяет истину от лжи. Да-да, гляди в оба!..

* * *

Все чаще слышишь горькое недоумение: «Жизнь сошла с ума!» А надо бы говорить: «Жизнь свели с ума!» И обязательно думать и выискивать: а кто же нашу жизнь единственную и неповторимую «свел с ума», а заодно и нас толкнул в сумасшествие?.. Но люди бедны на мысли и слепы на прозрение, и несчастны в своем терпении... О горько любимая Родина, страдающая весь XX век так, как не страдала еще ни одна страна на свете...

* * *

Из Красноярска от Виктора Петровича Астафьева получили добрый подарок — новую книгу «Тихая птица», изданную в Москве. Фотография потрясает: горький взгляд, скошенный вбок и озаренный толчком какой-то глубокой тайны. Книга одета в черно-белые тона. Словно бы это разверзлась глубина земли с узкими просверками рассвета...

Вот что написано под портретом: «Романовым! Дорогие Ася и Саша! Всегда вы в моем сердце, как светлый образ Вологды, воплощение ее доброты и света. Дай вам Бог здоровья! Январь 1992 год. Виктор Астафьев. Красноярск».

* * *

— Всех жалко,— говорит Ася и вот-вот заплачет. Так всегда с ней бывает, когда нездоровится.

— Всех жалко потому,— отвечаю я,— что у людей отобраны скопленные сбережения. Правительство ограбило нас!..

— Да я не об этом,— хмурится жена, и на глазах ее крупно выступают слезы... И вновь кажется мне,

что это я виноват во всем: и в болезни жены, и страданиях людей, и во всех грехах сумасшедшего мира... И всю жизнь — вот так...

* * *

«Писатель без судьбы», «поэт без судьбы»... — самое горькое, что можно услышать о нашем брате, пишущем, может, и в самом деле напрасно.

Да, припоминаю: сколько добрых имен и своеобразных дарований возникало только в Вологде и в других наших городах за последние тридцать лет. Вот некоторые из них.

Игорь Тихонов, погибший совсем недавно — автор четырех книг стихов, Валентин Сорокин их Красавина — с двумя сборниками стихов, Николай Матвеев из Бабаева — автор трех звонких книжек для детей. Валентин Амосов из Великого Устюга — с книгой прозы Борис Ромодин — с пьесами и прозой, Николай Задумкин — с двумя сборниками рассказов, Герман Крутов — тоже с двумя поэтическими сборниками, Федор Голубев из Шексны — самобытный стихотворец, возивший свои сочинения в мешке, Владимир Пашов и Нина Груздева из Вологды, Маша Бурцева из Тарноги, Иван Пепеонков и Сергей Копничев из Кадуя, Василий Некрасов из Красавина, Антонина Каютина и Валентин Федотов из Череповца... В каждом этом имени с молодости разгорался свет творчества, но писательское дело не стало их судьбой. И некого за это винить...

* * *

Всю жизнь он страдал от своих бескорыстных порывов: возникал с желанием помочь там, где его вовсе не ждали, тянулся туда, где над бескорыстием лишь потешались, совался с разумным советом, а натякался на матюги и насмешки... В одиночестве тосковал и плакал от такой людской черствости, увы, не осознавая, что и у Добра должны быть глаза...

* * *

Добро словами не объясняется, а только поступками.

* * *

Смерть — это жизнь уже твоего имени. Коротка ли, долга ли окажется эта жизнь твоего имени, зависит от тебя самого, от твоих дел и поступков... В смерти страха нет, а есть горькая и глубокая правда твоей судьбы. Обдумай как следует эту мысль, постоянно ускользающую от твоего внимания, и живи с Богом в постоянных трудах. Еще раз повторяю: в смерти страха нет, а есть или забвение, или память о тебе.

* * *

Русский народ до сих пор не осознал себя как народ. И в этом состоянии — его трагедия. Он еще не стал единым целым, как еврейский народ.

* * *

Когда смотришь в красный угол, где иконы, так очнись и подумай, насколько близко ты можешь подступить к ним. Честно подумай! Есть ли в душе твоей сила порыва к нравственному, молитвенному очищению?

* * *

Мысли — что бесы. Редко — что ангелы. Все мы, русские, такие: не можем сами на себя найти управу...

* * *

Проснулся от мысли, правда — это оборона, а ложь — это наступление. Почему так?..

* * *

Наука рвется в тайны мироздания. Поэзия — в тайны человековедения.

* * *

Обтерпишься, так и в аду вертишься.

* * *

Без веревки двух слов не связать.

* * *

У кого-то Блудново да Тимониха, а у кого-то Никольское да Артемьевская, а у меня вот Петряево. Главные точки Земли!

* * *

В деревне обретаю не радость жизни, а покой Бытия.

* * *

Цитата из древнего китайского трактата времен империи Цинь (III век до нашей эры!): «Если хочешь избежать бедности и стать богатым, занимайся не земледелием, а ремеслом. А еще лучше — не ремеслом, а торговлей...»

* * *

Не начинай свое утро с претензий к другим людям, не начинай с вопроса «почему». Удержи свою душу, сколько возможно, в свежести пробуждения. Если же твой вопрос «почему?» серьезен, то ответ на него найдешь в конце дня. Это испытано мною тысячу раз.

* * *

Старая учительница видит сон: «Заходит она в класс, а в нем — ни одного ученика. Никто не пришел на ее урок!» И просыпается она от горя. И плачет ночью...

* * *

Нет ничего вреднее и глупее, чем утверждение: «все народы сольются в одну нацию», или — «родилась новая общность людей — советский народ». Скотство какое-то!

* * *

Чудовищно звучит литературоведческий термин: «поэзия гражданской войны». Иными словами: поэзия братоубийственной войны. Разве можно светлое слово «поэзия» применять к страшному слову «война»? Каким же ледяным умом надо обладать, чтобы выдумать такой зловещий термин!..

* * *

В человеческом существе заложено три вида энергии: созидательная, разрушительная и потребительская. И людские массы соответственно расслаиваются на созидателей, разрушителей и потребителей. Созидать трудно, разрушать легко, потреблять приятно... Я нарочно огрубляю такую классификацию, чтобы зримее представить, как беспощадно угнетались и поныне угнетаются у нас силы созидющие — крестьянство, низовые рабочие, творческая интеллигенция; как торжествовали и поныне торжествуют силы разрушительные — вненациональные политики, подкупленные идеологи, коррумпированная новая буржуазия; как процветают, обжираются и растаптывают нравственность и честь России нахлынувшие со всех сторон так называемые «криминальные хозяева» новой русской жизни.

* * *

Александр Пшеничников, учитель из Никольского района, писавший рассказы (и неплохие), но недолго поживший, оставил воспоминание о А. Я. Яшине. Дело было в 1960 году в Вологде.

За год до создания Вологодской писательской организации, на четвертом совещании молодых авторов, Яшин,

держа в руках очередной альманах «Литературная Вологда», сказал: «Вас здесь с полсотни человек со всей области, и если бы из вас всех оказался хоть один хороший прозаик или поэт, знаете, как много бы это значило для Вологды и для всей русской литературы!

И такие среди вас есть!..»

И слова Яшина, как всегда, сбылись.

* * *

Поэтом прежде чем стать, надо им быть.

* * *

Теплом окатит душу, как вспомню своих деда да бабушку, отца да мать, дядей и теток, всех двоюродных и троюродных братьев и сестер... Ведь я жил с ними, набирался от них тепла. И оказывается — тепло это на всю жизнь...

* * *

Может, Россия и существует только в неистовой нашей любви к ней? Может, наша верность и любовь ко всему родному и есть сама Русь, Россия? Ведь нельзя же не признать, если взглянуть строго, что той Руси, которая существовала исторически, ныне уже, как ни желай и как ни жалея, нету... А, может, она все же есть и ныне такая, какой была, только нами пока не увиденная: устали наши глаза, оглохли наши уши, очерствели сердца. Потому и не зрим ее...

* * *

Пришел в гости внук Ваня. Первоклассник! Спрашиваю: Как, Ваня, живешь? Он вздохнул и отвечает: У меня, дедушка, жизнь тяжелая...

— А отчего, Ванюша?

— А начну слова писать и буквы пропускаю. Учительница ставит двойку. Мама ругает. Я расстраиваюсь...

— Так ты будь повнимательней. Когда пишешь, то всякое слово про себя произноси. Вот и не будешь пропускать буквы.

— Да я шепчу, шепчу, а буквы все равно пропускаются...

— Да, Ваня, и вправду живется тебе нелегко.

— Один папа меня понимает. Да вот еще ты, дедушка...— и Ваня прислоняется ко мне темно-русой головкой. О, Боже!..

* * *

Как растолковать библейское выражение «блаженны нищие духом»? Это те, которые освободились от порочных страстей, от всякого тщеславия, от жажды накопительства. То есть сделался («сделай сам себя!») великодушным и свободным для того, чтобы творить только добро. Такой человек всегда возвышается над унынием повседневности. И ощущает в своих бескорыстных деяниях блаженство. Да, это нравственный, физический, житейский подвиг, для многих из нас кающийся невозможным. Но я помню (с материнской стороны) бабу Катерину, которая ради шестерых сирот, не выходя замуж, прожила именно так. И радовалась, что прожила так...

* * *

Я думаю, что сила русской жизни — в отчаянной вере лишь в себя и в веселой усмешке над собой.

* * *

Когда пишешь, и слова остывают уже под пером, то брось писать! Дождись огня в душе своей...

* * *

Вот что такое Русь: сколько деревень в ширь земли — столько родов в глубь времен.

* * *

В Армении при землетрясении в 1989 году погибло 50 селений, и весь мир был в шоке. В России с середины шестидесятых годов исчезло с лица земли (от социальной политики) около 460 тысяч деревень и сел... Значит, российская социальная политика куда страшнее армянского землетрясения.

И нету никакой надежды, что это число почти в полумиллион деревень не возрастет у нас на глазах, если только в одной Вологодской области в 1990 году уже в 1099 деревнях оставалось доживать свой век от одного до пяти человек... На спрашивай, по ком звонит колокол...

* * *

«От трудов праведных не наживешь палат каменных» — уж не лукавый ли ленивец иль не простодушный ли неумелец выразился вот так, оправдывая себя и подобных себе, неумевших творить богатство жизни? Неужели и вправду труды праведные не приносят человеку высокого житейского достатка? Неужели «палаты каменные» зиждутся лишь несправедными делами? Нет ли в этой ходовой на Руси поговорке самооправдания бездеятельности, лени и работы «спустя рукава»? А?..

Вот я чуть-чуть захватил памятью настоящее русское крестьянство. Вот и посейчас, как мой дед Олексан Никонорович сидит на стене, оседлав верхнее бревно, и рубит избяной угол. А я, маленький, домик себе строю из щепок. Дед сверху подмигнет да улыбнется и, видя мою ответную радость, еще веселей и жарче машет топором...

Думаю теперь, что он в тех давних строительных делах уже имел в виду и мою долю в его избяном наследстве. Прожил он всего шестьдесят лет, а срубил четыре дома — для двух сыновей и двух дочерей. Конечно, помогали ему и сами сыновья, и родственники. На дровнях с подсанками возили зимами каждодневно бревна из-за Молю-реки, Дед выкупил в Крестьянском банке на деньги, заработанные им в Питере, лесную делянку за Молой-рекой. Тогда, при Столыпине, русский мужик мог широко развернуться. И дед мой развернулся:

из четырех им срубленных домов три и поныне стоят в Петряеве. Взгляну на них, проходя по улице, и будто бы вижу: вон мой дедушко машет на избяном углу своим счастливым топором... Но уже не окликает меня...

* * *

Дважды за лето приезжал в Петряево Александр Сушинов проведать меня. Было хорошо вначале, а потом бестолково. Я надписал ему на память вот эти строки.

*Приглашаю — я приму —
В милую сторонушку
К самовару моему —
Золотому солнышку.
И под звон-перезвон
Стопок,
мнений
и времен
Вновь мы вскружимся
В небо дружества.*

* * *

Что еще и осталось у нас святого, так это родина и поэзия. Да, на глубины поэзии набредаешь только на родине.

* * *

Сколько у нас бездомашних людей? Миллионы! Великими кочевьями — то на Дальний восток, то на казахстанскую целину, то на тюменскую нефть, то на якутские алмазы...

Едем мы, друзья,
В дальние края.
Станем новоселами
И ты, и я...

Эта пустая, провокационная песенка охмелила миллионы голов и головенков, и ринулись люди со своих родин искать счастья в чужих далях...

Но строили мы не гнездовое, не родовое счастье — с домами своими, с трудом, милым сердцу, ах, вот оно такое — только протяни руки и обнимешь своих наследников и домочадцев, а строили мы кумачовое счастье, заключенное в метровые слова на лозунгах и транспарантах.

И везли мы это кумачовое счастье через всю страну. Хорошо еще, если по своей близорукой воле. Но еще больше людей везли это кумачовое счастье не по своей воле... Вот о чем рыдает гармонь Василия Васильевича Невзорова, безвинно заброшенного «в дальние края» в ту пору...

* * *

Вот что сказал Виктор Астафьев: «Люди явились на свет ради жизни и добра, так пора возвращать человека «к себе», искать пути спасения его через проповедь созидания, милосердия и братства. Тут для литературы много работы»...

* * *

Ныне русские слова, что береста, сгорают в надрывных криках, сваливаются, что камни, с раскаленных трибун и тощат от извращенного в них исконного смысла. Слушаешь и оторопь берет: да русские ли это слова? Да в них ли когда-то пылала проповедническая мудрость и страсть? Ведь ныне русская речь уронена до такого похабного базара, что над ней уже властвуют чужие слова-насильники: «спонсоры», «менеджеры», «дивиденды»...

Вот почему возникает тоска по художественности. Художественность — это зорко выявленная вечность будничности. Это заново умытая красота жизни и заново рожденная сила русского слова.

* * *

Привязанность к родине — что это? Твоя точка опоры на метельной земле?.. Привязанность к родине — это выст-

раданная радость жизни в домашней стороне. А домашняя сторона, где она? Четыре стороны света, а которая для тебя домашняя? Много русских людей, увы, уже не помнят, то есть не знают, которая из четырех сторон света для них родная, домашняя.

Да, счастлив тот, кто не потерял своей исконной родины. В ней и придорожная березка веет здоровьем и радостью.

* * *

В нашей загороде по осени я видел маленькую птичку с иссиня-пепельной спинкой и рыжеватой грудкой. Прягала вблизи меня на липе, потом, словно взбрызнула крылышками, перепорхнула на молодую яблоньку, совсем рядом со мной. Я замер и залюбовался такой красивой птичкой. Как она зовется я, увы, не знал.

Какой я бедный, что мало знаю птиц! Вороны, сороки, воробьи, ласточки, грачи, скворцы, дрозды, кукушки, жаворонки, журавли, снегири, утки, тетерева, глухари, совы, филины, ястребы... Ну, кого-то пропустил...

Мао знаю. Птиц на моей родине, в петряевских лугах и лесах, куда больше. Увижу, замру в радостном изумлении, а как назвать, не знаю... Вот и эту птичку, что красуется передо мной на яблонево́й ветке.

* * *

Рассказывали мне: на голой вырубке осталось всего одно посохшее дерево. То ли старая липа, то ли верба... Заблудившиеся ягодники захотели свалить ее для костра. А как ударили топором, из подруба брызнул мед. В дереве жила пчелиная семья! Пчелы взвились рассерженным роем. Но мужики отбились от них... Около пуда меду вытащили из последнего на делянке дерева. А кругом пни, пни, пни...

* * *

Однажды на расширенном заседании Правления Российского союза писателей довелось участвовать и мне.

И вот что сказал тогда (восстанавливаю свою запись) Сергей Владимирович Михалков: «Литература, которая создается в Вологде, поднимала и поднимает нравственные и социальные проблемы очень явственно. На примере вологодской литературы можно говорить обо всей современной русской литературе. Писательская организация в Вологде областная, но не провинциальная. Можно жить в Москве и одичать до интересов лестничной площадки, а можно жить в Тотемском районе Вологодской области и быть на передовых позициях современности. Вологжане подтверждают тот факт, что писатели — это общественные деятели».

Затем выступил московский критик Владимир Гусев. Его суждения тоже значительны и ценны своей конкретностью. Он начал с того, что заявил прямо: «А все-таки есть вологодская и проза, и поэзия! Она поставила и разработала в 20 веке вопрос, в чем прочность человека? Вологодский характер — это драматическая цельность русской натуры. Вспомним творческий подвиг Василия Белова».

Владимир Иванович отметил, что вологодская проза сместилась в сторону города. Роберт Балакшин — жесткость правды и музыкальность стиля, Василий Елесин — мир детства и судеб интеллигенции, Александр Цыганов — плотные и яркие страницы психоанализа, Владимир Шириков — драмы городской окраины...

Вологодских писателей притягивает к себе слово «дом». Знак очистительной тяги сквозь горе, беды и сиротство бездомных. В конце своего страстного выступления Владимир Гусев заявил: «Вологодская глубина правды и чистоты вологодского самовыражения оказались своевременны и крайне необходимы для всероссийской перестройки жизни».

Наш земляк Феликс Феодосьевич Кузнецов сказал так: «В вологжанях нет цинизма, а есть соучастие. Они обсуждают не то, что кому-то недодано, кем-то недополучено или кому-то что-либо надо ухватить... В Вологде такого торго нет. В вологодских писателях крепок патриотизм — это основа их социальной и творческой активности»...

Николай Шундик размышлял о творчестве двух вологодских писателей. «Сергей Багров, — начал он, — если оказался бы чуть пробивней, то быть бы ему в совре-

менной «обойме» рассказчиков. Книга «Портреты» прекрасна. Он новеллист высокого класса.

Роберт Балакшин (продолжал Николай Елисеевич) вошел в свою истинную творческую силу. Он разнообразно талантлив. Меня радует его светящееся слово и отвага браться за самые трагические темы. А что касается упреков из Москвы в патриархальщине писателей Вологды, то это похоже на отвод глаз от побегов за границу всяких диссидентов и недоброжелателей России»...

Михаил Алексеев, завершая собрание, заявил: «Вологодская школа» в нашей литературе существует. Она своим существованием как бы подчеркивает наличие других стилей»...

Сергей Владимирович Михалков тут же заметил: «А вот московской школы нет!»... И все заулыбались...

* * *

Талант предчувствует, а мудрость предвидит.

* * *

Дивлюсь огромными для творчества возможностями, предоставляемых Жизнью каждому нормально рожденному человеку, и жалкой малостью их практического осуществления большинством людей...

* * *

В старости не излечиваются, а поправляются. И то благо...

* * *

Я житель двадцатого века,
Из классовой битвы калека.

* * *

— Какой у него грязный взгляд! — сказала с неприязнью пожилая мойщица ванн в водолечебнице. — Пока шел раздеваться, всю меня ощупал. Тьфу, какая гадость!..

* * *

Вороны устраиваются на ночь в березняке — значит, мороза не будет. Если бы ожидалась стужа, то вороны устроились бы на ночь в сосняке. Сунут головы под крылья и спят. Есть у них и свои сторожа. Бдят!..

* * *

Пользоваться приветливым уважением земляков и добрыми знаками их внимания — вот мое счастье.

* * *

Никогда не забыть мне, как в Овсянке, на родине Виктора Петровича Астафьева, в доме тетки Нюры пели сибирские песни. Собрались все его родичи и знакомые по случаю нашего приезда из Вологды. Нет, не услышать уже нигде такого пения, когда песни, закипев на губах, широкими и протяжными волнами прокатывались над застольем, и душа моя замирала на их взъёмах и спадах, и до слез радостно было жить и страдать этой народной долей. А какой удалью, печалью и радостью сияли тогда лица родственников Виктора Петровича! Красота пения отражалась и в них самих: в разворотах плеч, в движениях рук, в обнимании друг друга... Они любовались не собой, а великими песнями, похожими на их судьбы.

* * *

«...Желаю здоровья отличного, неба чистого, хлеба душистого, святой воды, ни капли беды... У Рачкова

выступали на щеках-то ямочки, вот теперь заржавели у тальянки планочки...» — вот так пишет мне на Новый год Поздеева Нина Дмитриевна из Тарногского Городка, плясавшая под гармошку Александра Николаевича Рачкова, ныне уже покойного...

* * *

Если поэзия не нужна обществу, значит, общество живет жизнью, недостойной человечества.

* * *

Трудно понять, что в нас собственно нажитое, а что — «прихваченное от других».

* * *

Конечно, встречаются люди провидческого ума и государственного взгляда, но их не видно в наших правительственных верхах. Верхи страшатся пророков!

* * *

Какая бы обстановка ни сложилась, слепнуть от безумия нам нельзя. Надо каждому без газетных подсказок сделать свой вывод, на какую сторону стать и что делать дальше. Надо повыше вскинуть голову, чтобы самому понять, что маячит там, впереди...

Ведь всякое наше действие сегодня скажется равнозначным отзвуком в будущем. Это закон — как бы определить? — энергии добра и зла, нравственного одобрения или отщечения во времени и на расстоянии, подобный обязательному эху. Разве нам не слышно сегодня спустя более семидесяти лет столпотворение 1917 года? Не только слышно — сквозь три людских поколения! — но до боли почти физически ощущимо. Слово этот 1917 год по сию пору грохочет и безумствует на площадях, улицах, проселках — рядом с нами...

* * *

Продавщица водки была так бледна и костлява, что и взаправду померещилась, как смерть. И чем ближе к ней подвигалась очередь, тем жутче становилось мне. Белый халат, отсвечивая во впадинах глаз и щек ее, и в длинных пальцах, механически схватывавших и подававших оголтелым очередникам бутылки, еще более страшно усугублял в ней этот живой образ Смерти, стоявшей от нас по другую сторону прилавка.

Когда жадная, обезумевшая очередь подтолкнула меня к ней вплотную, она неожиданно вскинула на меня белые, будто замороженные глаза, и я от страха чуть не уронил свои бутылки. Да, это была смерть...

А помощница ее молодая в полуме румянца все подтаскивала ящики к прилавку, и когда наклонялась, то на виду у всех обнажались и выкатывались из кофточки ее налитые смуглые груди... Она могла бы застегнуть кофточку, но нарочно не застегивала, и мужики невольно тарасились на ее соблазнительные шары в искрах задорного пота. И больше всего меня поразила мысль о дьявольском сочетании, казалось бы, несочетаемых внешне образов — продавщицы бледной, как сама смерть, и помощницы ее румяной, как сам соблазн жизни.

* * *

В запальчивом слове нет истины, а в газетном — правды.

* * *

Одиночество — вот преобладающее состояние русской души, которая и при радости как бы тоскует, неостребованная ни для творчества, ни для семейного счастья, ни для жизни.

* * *

Слезы злобы и ненависти не облегчают душу и не умиротворяют ее, а еще более ожесточают жизнь. Лишь слезы прощения и раскаяния — это слезы добра и мира.

* * *

Смерть лишь на время похорон укрупняет дела и образ усопшего. Над гробом возносятся высокие слова, но опадают они легковесней, чем надмогильные цветы. А вскоре и заслуги усопшего, и его облик заслоняются в нас уже иной повседневностью. На горе-то мы отзывчивы, да на верность забывчивы...

Все свои тайны умерший уносит в могилу. Так надо. Так легче оставшимся на земле продолжать жить.

* * *

Ведь кто только и ни перебивал у нас на руководящих постах! Но кого мы помним? Кто из нас, даже долго проживших, может назвать хотя бы несколько значительных имен партийных и советских деятелей, оставивших свидетельства своего личного подвижничества? Увы, стелется во времени лишь безымянность... Некого прославить и некого проклясть!..

А везде, куда ни глянь, следы давней — с тридцатых годов — разрушительной деятельности: заброшенные деревни, одичавшие земли, изуродованные храмы, погубленные леса и реки... И повсюду и надо всем этим национальным бедствием — порука глухой анонимности...

Пожалуй, одного Анатолия Семеновича Дрыгина — крутого, но действительно крупного в своей деятельности человека и вспомним мы, вологжане. Он был коммунистом (на фронте — командиром полка!) твердой веры. И свою партийность считал не правом на обретение благ, а обязанностью на обретение авторитета в народе. Череповецкие домны и мартены, канал Волго-Балт, а в Вологде подшипниковый завод, огромное домостроение, драмтеатр... И сильные творческие организации: писательская и журналистская, Союзы художников и театральных деятелей. Ну, кто бросит камень в память об этом человеке!

* * *

Ни одна дорога не обходится без терпения.

* * *

Соседка Маня в Петряеве выпустила со двора коровушку — свою отраду черно-белую с просторным выменем, и, тихо разговаривая с ней, тронула ласковым прутиком по спине и повела к пастуху. А за хозяйкой кинулись со двора подросшие три курочки и пять петушков. Красивые и бойкие, бегут за Маней, не отстают. А из-за леса ей в лицо плещется красное солнышко. Любо глянуть на такое деревенское утро!..

* * *

7 октября 1991 года. Утро в Петряеве. По радио сообщают, что выстрелом из пистолета в упор на театральной сцене убит талантливый певец, композитор и поэт Игорь Тальков. Это случилось в Санкт-Петербурге 6 ноября. Стреляли в него как в русского патриота. Ему было всего 35 лет. В самом расцвете своего таланта и творческого возмужания. Это страшный знак: если расстреливают на сцене певца, поющего о России, значит расстреливают и самую Россию... Кто убийца? Ничего не сказано. Значит, убийство заказное. Политическое. И можно угадать, кто схоронил от суда этого гада...

Вот несколько выписок из статьи Игоря Талькова «Бог — это истина», опубликованной 20 сентября 1991 года в «Литературной России» (№ 38).

«...Страна Советов, в которой мы вынуждены жить, почти век развивается вопреки законам природы и логики; все события, происходящие в ней, перевернуты с ног на голову, а сознание большинства людей вывернуто наизнанку...»

«...Богатство духовное, как правило, привилегия людей, лишенных материального благополучия. Отдавая все силы творчеству, они далеки от мысли об устройстве своего быта. Истинные лекари человеческих душ не думают о своих болезнях. Их путь тернист, опасен, а зачастую неблагоприятен. Их Бог — истина!»

«...Песни гражданского содержания — мой метод борьбы с несправедливостью, ложью, злом, и, несмотря ни на какие препятствия, я буду бороться до конца. Я знаю: люди слушают меня. Я вижу реакцию на праведный гнев за русскую землю в их глазах и чувствую поддержку миллионов рук...»

«...Русский народ — самый несчастный в истории человечества, но и самый выносливый, терпеливый, мужественный; история Русской земли тому подтверждение, как и то, что мы до сих пор еще живы. Пора вырваться из замкнутого красного круга, из черных цепей, сковавших страну в Октябре семнадцатого:

*Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый вождь — великий гений,
Россия!..*

«...Великий русский народ еще силен, и пусть не надеются слуги дьявола, что на исходе XX века он сам сунет голову в петлю, даже если его голова — на сломанной шее.

*Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя, едва живую,
И на твое иссохшее чело
Господь слезу уронит дождевую,
Ты выпрямишь свой перебитый стан,
Как прежде, ощутишь себя мессией
И расцветешь на зависть всем врагам,
Несчастливая Великая Россия».*

«...Прожив с повязкой на глазах без малого век, наш народ прозревает!.. Впечатление, что советское искусство — русское, а русское искусство — советское, наконец-то рухнуло».

Вот какого человека убили враги России!

* * *

Умение жить внутренним миром своей души, не кидаясь на гремучие приманки вскипающей новизны жизни, не лгая на ее посулы, а зорко видя ее подноготную — опять с новым обманом и грехом, и все с той же ложью в словах, что уже мучила нас, — вот такое умение жить, на мой взгляд, и есть Мудрость.

* * *

Старухи русские, как моя мать Александра Ивановна, так и ее подруги Мария Николаевна, Павла Ивановна, Павла Никоноровна, Манефа Николаевна — много их было в нашей Корбанге! — не отдали Иисуса Христа на второе распятие большевиками, а спасли Его в своей уединенной и неостывающей десятилетиями молитве, в слезах своих вдовьих, в поклонах честных, в песнопеньях ночных посреди жизни грешной, бесовской, арестантской... Вот эти бедные русские бабы, измотанные нуждой и терпением, не отступились от Христа и Богородицы, несли Их в себе через страхи и гонения в будущую жизнь, куда им самим уже не суждено было переступить. Вот подвиг, еще невиданный человечеством со времен тоталитарного язычества в Риме 1—3 веков. Вот духовное величие русских старух-колхозниц!..

* * *

Поэзия, как и математика, любит точность выведения истины из сложных человеческих отношений и не менее сложных словесных вариантов.

Для чего же наворачивать длинную городьбу из рифм, если сами гряды строф заросли лебедой и мокрецом — не видно на них ни одного живого злака мысли...

Хлесткость слов без свежей мысли — все равно, что большой разбег для малого прыжка.

Бездарные или слабые стихотворения, что ольховые кусты осенью: лишь грязнят своей пожухлостью синезолотой горизонт Поэзии.

* * *

Много всего и нет ничего... Много, например, молодух-пустоцветов, которые не рожают детей, значит, не обновляют мир. Они живут «против» своей изначальной предначертанности, предназначенности, следовательно, против самое жизни.

Как бы жестоко это ни звучало, но в сущности оно так и есть. Много их, молодух, а после них нет ничего... Кроме, может, одного греха да горя.

* * *

Черная порча молодежи — это нетрудовое ее воспитание. Так называемая советская «детская литература» (с Гайдаром и прочими «корифеями») в скором времени покажется людям чудовищно безнравственной и вредной.

* * *

Иконы современного письма светятся, а иконы старинные мерцают.

* * *

Надо уже с младенческих и отроческих лет показывать и внушать нашим детям, что они — семейные люди. Рассказывать, что у них были прадеды и прабабушки и есть у них деды и бабушки. Вот двоюродные братья и сестры и т. д. Надо, чтобы дети, лишь из пеленок встав, сразу окунались в тепло большого родства. Только тогда они вырастут заботливыми людьми...

* * *

Мы бьем молотом по пустой наковальне — вот что значит жить по ложной теории! За 75 лет сковали себе лишь наручники...

* * *

Вот японская мудрость: «Ты сказал — я тебе поверил, ты повторил — я задумался, ты сказал третий раз — я понял, что лжешь».

Поневоле вспомнишь героев из драмы Островского, которые верили, что «за морями-то живут люди о семи головах». Столько лжи вокруг нас — да и в нас самих! — а мы эту ложь как будто и не замечаем вовсе. Наши политики по сотне раз кричат, сулят, толкуют об одном и том же. Значит, врут...

* * *

Интересный человек тот, в ком светится новость жизни.

* * *

Вологда потому почитается в просвещенном мире, что чутка она к памяти минувшего, и потому значительна она во всероссийской жизни, что в ней чаще, чем в других городах, возникали и возникают такие общественные деятели и движения, в трудах и заботах которых сказывается сокровенная новизна и суть самого времени. Вологдой спасется Россия от чумы, обступившей ее со всех сторон.

* * *

«Человек измеряется не с ног до головы, а от головы до неба», — сказал Конфуций, основатель одной из китайских религий.

* * *

Смотрю на фотографию в книге «Души волнующие струны» — на ней Сережа Чухин, Саша Рачков и я. Стоим на вологодской улице, веселые, здоровые, в радостном всплеске своей дружбы... Смотрю на фотографию и вдруг, оторопев, осознаю, что ни Сережи Чухина, ни Саши Рачкова в живых уже нет. Живой стою и улыбаюсь я один. Один из трех!..

* * *

Пройдет много лет. Сотрутся в памяти иные события, позабудутся многие люди. Но долго-долго в народе нашем будет жить сердечное почитание лучших своих учителей.

* * *

Михаил Копьев — истинный художник. Потрясает его полотно, на котором босой Христос, сидящий на камне, а вблизи от него римский легионер и, видимо, мытарь иудейский. Какое духовное противостояние и напряжение!.. Двигаюсь дальше по его выставке — в живом, ярком, почти феерическом мире его вдохновенной и отважной кисти. Поражают глубиной света и сочностью психологизма портрет Велимира Хлебникова и полотна «Эхо веков», «Колыбельная», «Гости», «Скрипка перед казнью» и цыганские таборы, русские равнины и палестинские пустыни... Все это произвело на меня сперва восторженное, а потом философское впечатление...

* * *

Материнское благословение!

Как памятно оно, какая сила любви горела в материнском взгляде, когда крестила она меня святым троеперстьем! Перед дальней ли дорогой, перед трудным ли делом, перед опасным ли помыслом...

А нынешние матери благословить своих детей не умеют. Не знают этого святого обычая да и знать, к стыду нашему, не хотят... Дети вырастают без благословения. Вот до чего дожили...

Любой взгляд на русскую жизнь,
если он глубок и озабочен, важен
для раздумья и деятельного порыва.

Любое суждение о русской жизни,
если оно правдиво и сострадательно,
необходимо нашему будущему.

А. Романов

Содержание

I

Дионисий в Ферапонтове	7
Безлюбие. Лермонтов и мы	13
«В минуте грозы — на столетье беды...» Поэт Алексей Ганин и его лучшее творение «Былинное поле»	18
«К тебе пришел я, край родимый...»	24
Александр Яшин в наших судьбах	
На Лаврушинском	27
Молодые годы	28
На высших курсах	30
Неосторожная «разгадка»	33
Очарованный Яшин	34
«Воспоминаньями буду глядеть...»	36
По Шексне-реке	38
Верность Вологде	39
«Спешите делать добрые дела!»	40
Дума о Сергее Орлове	44
Вдовый поклон	50
Откровения Федора Абрамова	53
1. В Тотье	54
2. В Нюксенице	55
3. В Великом Устюге	57
4. В Вологде	60
«Журавли, застигнутые вьюгой». Неизвестное стихотворение Николая Клюева	63
Встречи с Николаем Рубцовым	
Первое изумление	66
«Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон...»	67

Соперничество	69
Ярость и восторг	72
Старые валенки	73
Автографы	74
«И было все полно печали...»	76
Рубцов и власть	77
Рыжее пламя	81
Два портрета	82
Дума об Ухсае	84
И свет животворили!.. <i>Наставник юношества Н. И. Янусов</i>	92
Путем царя Берендея. <i>Мастер сцены Л. С. Державин</i>	101
Свет — слева, а жизнь — справа	104

2

Великая доля. <i>Труды Василия Белова</i>	109
«А там, за дымом...» <i>Прощание с русским крестьянством</i>	116
«С ним не советесь с пути правды»	122
Бессонница двоих	127
Идет Твардовский	129
Святое провидение	131
Родовое древо. <i>О поэзии Сергея Видулова</i>	134
«Дионисий» Валерия Дементьева	136
Радуга Виктора Бокова	138
«Всякого злата дороже...» <i>Виктор Коротаев в русской поэзии</i>	142
«У чужих костров не буду греться...» <i>Встречи с Василием Журавлевым-Печорским</i>	146
На молодых высотах. <i>Раздумье о Викторе Гуре</i>	152
Зоревая даль. <i>Поэт Александр Швецов</i>	157
Правда Джанны Тутунджан	159

В какой стороне счастье?	164
Таланты и судьбы. От Василия Сиротина до наших дней	167
Сергей Чухин	168
Олег Кванин	170
Николай Дружининский	171
К тайнам поэзии	173
«Меня кто-то ждет?..»	173
«Здесь любовь моя»	175
Ариаднина нить	176
«Пуля на излете»	178
А вот и эротика	179
«Такие пироги»	180
«Дурацкой жизни книга»	181
Опасный возраст	183
Некоторые выводы	183
«Собрание ослов»	185
Первые книги земляков	
1. «Крик в ночи»	187
2. «Заколдованный снег»	188
3. «Плутает эхо в тишине»	190
Со своей молитвой	192

3

Где же русский путь?	199
Имя Родины	204
Внезапный оклик	208
Золотое колечко	210
Огненные мечики	213
Первый учитель	216

Ох, мужики, мужики!.. Горькие заметки	218
Люди и деньги	
1. Плут Ушивалов	222
2. Проданная красота	223
Простой человек	225
Зоркий пасечник	228
В барокамере	230
Утро и солнце веселое	232
Решительный поворот судьбы	235
Африканский дневник	
1. Перелет	239
2. Конакри	241
3. Кафедра	243
4. Карэм	244
5. Ромодан	245
6. Гвинейцы	247
7. Русская честь	248
8. Рождество	249
9. Поющий песок	250
Мой брат — профессор	253
Мысли и наблюдения	256